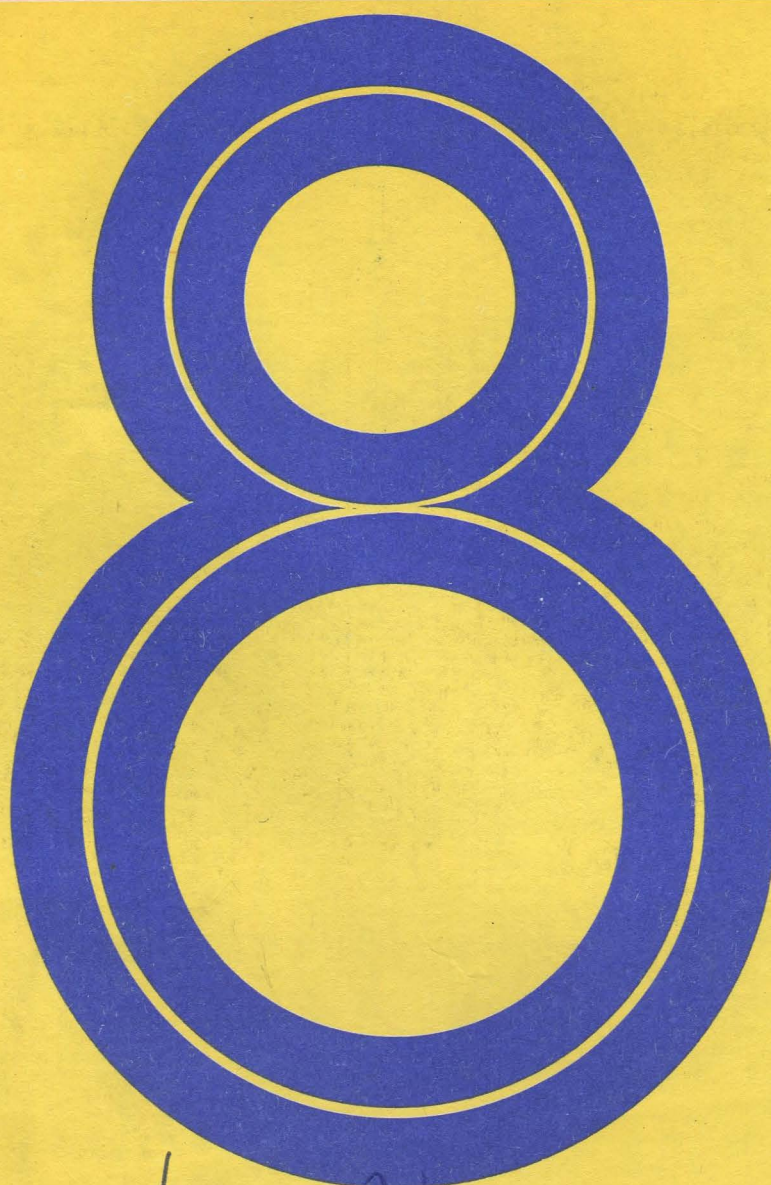


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1982



h1-91



М. АКМАМЕДОВ. Хлопкоробки.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1982
август
(327)



ЮНОСТЬ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ



Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ: ДОРОЖИТЕ КАЖДЫМ ДНЕМ



Фото Н. Боброва.

«МОЛОДОСТЬ — ЭТО УТРО ЖИЗНИ. ЭТО ПОРА, КОГДА ЧЕЛОВЕК ФОРМИРУЕТСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ, КАК ГРАЖДАНИН. ВОТ ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ. И НЕ ТОЛЬКО ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИЯМИ. УЧИТЬСЯ ЧЕСТНОМУ ТРУДУ, УМЕНИЮ ВИДЕТЬ ЖИЗНЬ СО ВСЕМИ ЕЕ СЛОЖНОСТЯМИ С ПОЗИЦИЙ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ УБЕЖДЕННОСТИ. УЧИТЬСЯ НЕПРИМИРИМОСТИ К МАЛЕЙШИМ ОТСТУПЛЕНИЯМ ОТ НАШИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ НОРМ... НАКОНЕЦ, СМОЛОДУ НАДО УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЛЮДЬМИ КУЛЬТУРНЫМИ, ОРГАНИЗОВАННЫМИ, УМЕЮЩИМИ ЦЕНИТЬ СВОЕ И ЧУЖОЕ ВРЕМЯ, УВАЖАЮЩИМИ СТАРШИХ, — СЛОВОМ, ЛЮДЬМИ ВОСПИТАННЫМИ, ДОБРЫМИ, ПОРЯДОЧНЫМИ, НАСТОЯЩИМИ ГРАЖДДАНАМИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА».

Из речи Л. И. БРЕЖНЕВА
на XIX съезде ВЛКСМ.

**ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР,
ЛАУРЕАТОМ ЛЕНИНСКОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
ПИСАТЕЛЕМ ЮРИЕМ БОНДАРЕВЫМ
ВЕДЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ «ЮНОСТИ»
ВИКТОР БУХАНОВ.**

Нет особой нужды представлять автора «Горячего снега», «Батальоны просят огня», «Последних залпов», «Тишины», «Берега», «Выбора» и «Мгновений» молодому читателю, даже самому юному. Книжки Бондарева на библиотечных полках не застаиваются: они переходят из рук в руки, как эстафета, а залатанная их потрепанность почетна, как раны ветеранов. На прилавках магазинов вы их тоже не увидите. Между тем — не могу удержаться от искушения привести фантастические эти цифры — книги Бондарева в нашей стране издавались 99 раз, а суммарный тираж их достиг 25 миллионов экземпляров.

И еще одно уместно, на мой взгляд, напомнить. Рожденный в 1924 году, Юрий Бондарев принадлежит к поколению, из каждых ста человек которого, ушедших на фронт, девяносто семь погибли на полях вой-

— Юрий Васильевич, в самой краткой экспозиции: что вы думаете о юности, как о возрастном отрезке жизненного пути и, в частности, о ее временной форе перед старшими поколениями, которую так часто определяют обиходной фразой: «У вас еще все впереди»?

Ю. Б. У юности, неповторимой поры человеческой жизни, множество привилегий. Среди них — острота и свежесть восприятия мира, отсутствие нажитых дурных привычек, подчас регламентирующих жизнь зрелого человека, бьющая фонтаном энергия и то радостное и чуть тревожное ощущение неизведанных путей, когда голову кружит возможность выбрать любой из них. Но главное ее преимущество, перед которым отступают все другие, — в обилии ответного для жизни времени: загадочная книга бытия, которую предстоит прочесть каждому, и бесконечная свобода от какой бы то ни было фатальности и конечности отпущенного всем нам земного срока.

Через это проходят все. Было время, когда я верил в бесконечность своей юности. Это ощущение не надо умышленно разрушать, просто нужно быть готовым к тому, что однажды, спустя годы, вы испытаете странное ощущение убыстренного колеса времени, роковое вращение которого невозможно остановить, и вы на миг почувствуете себя чем-то вроде песчинки, затерянной в безмерной скорости всеенной и обреченной раствориться в ее черном пространстве... Это миг, когда открываются ворота в новое состояние неизбежной старости. Есть, однако, в этом осознании своя разумная и организующая сила: она помогает корректировать собственную

СВОЕГО ЗЕМНОГО СРОКА

ны. Артиллерист Бондарев прошел в боях от Сталинграда до Чехословакии и вернулся к мирному труду в числе трех — всего трех! — процентов своих сверстников, оставшихся в живых. Именно поэтому писатель не раз устно и печатно говорил о своей неутихающей боли, о некоем чувстве вины и долга перед павшими («золотыми ребятами, цветом народа»), о том, что годы, прожитые после войны, даны ему как некий драгоценнейший и исключительный подарок... Отсюда и его оголенноострое ощущение быстротечности времени.

С разговора о времени я и решил начать монтаж нашей несколько хаотичной и растянутой на месяцы беседы, которая началась в аудитории МГУ, а затем продолжалась урывками то в Союзе писателей и мировом клубе, то в лифте, автомашине, по телефону, пока не закончилась почти лишенной всякой лихорадочной спешки встречей у письменного стола. Я написал «почти», потому что и тут необговоренный, но от этого не менее реальный лимит отведенного времени тяжелил уходящие минуты и придавал им особенно весомую и ощутимую необратимость. Итак:

жизнь и высвечивает всю ее неповторимость, однообразие — о чем мы постоянно забываем в суете и сутолоке будней.

Можно было бы предостеречь юность в ее естественно оправданном и ликующем ожидании всех успехов, всех удач и всех благ. Нет, не надо жить только ожиданием, не надо убивать время в промежутке от одного намеченного события до другого, от одного достигнутого рубежа до другого. Сам процесс движения к цели не менее значителен, чем результат. И должен приносить в процессе работы, преодоления и поисков свое наслаждение и особое удовлетворение.

— На эту тему у вас, Юрий Васильевич, есть поразительная по точности и пронзительная по остроте сожаления миниатюра, названная «Ожидание». С вашего позволения, я приведу из нее несколько абзацев, оправданием же столь долгой цитаты пусть послужит то, что тираж сборника, из которого я ее беру, несмотря на его массовость, в двадцать два раза меньше тиража этой публикации. Итак, вы писали:

«...Как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоразумно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утратяющего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела только отдельные вехи радости, все же остальное представлялось нестоящими промежуточными, бесполезными расстояниями, прогнами от станции к станции...

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною...

До радостной точки успеха, до знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы сразу приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И только сейчас, прожив свои лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю никакой остроты радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал? Пресытился?

Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознал: такая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подзор.

Ю. Б. Как говорили древние: dixi, — я сказал. Вы хотите, чтобы я к этому добавил что-либо еще?

— Лишь небольшое пояснение: чем следует заполнить юности эти свои дни, не вычеркнутые из жизни ожиданием цели?

Ю. Б. Главные качества — любовь к жизни, доброты к людям, чувство справедливости, совесть, товарищество и честность — все эти основополагающие качества личности прочно закладываются в детстве, отрочестве и юности, а позже лишь шлифуются.

— Прежде чем заговорить о роли литературы в воспитании фундаментальных основ высокой нравственности, я хотел бы спросить, не приходилось ли вам сталкиваться с неким демонстративным самолюбованием юности — не сущностью своей, а именно возрастом, изначальностью пути и временной форой, что ли? Вот такая, например, картинка: шумная и смешливая толпа акселератов врывается в вагон метро и сыплет направо и налево: «На ногу наступил? Извини, отец» (человеку лет тридцати); «Садитесь, мамаша, я постою» (даме далеко не балзаковского возраста); «Дед, как доехать до Курской?» (гражданину средних лет). И такое кичливое, торжествующее упоение своей семнадцатилетностью во всем этом, такое неприкрытое и жестокое превосходство над седой, даже едва пробившейся...

Ю. Б. Юношеский эгоизм, как болезнь роста, наблюдался во все времена. Но молодость, как отрезок жизненного пути, сама по себе ценности не представляет. Впрочем, как и пора зрелости. Согласитесь, что ценность человека в любом возрасте определяют наполненность его жизни осмысленным содержанием, нравственная направленность духовного мира, острота и своеобразия мышления, серьезность и чистота чувств. А та фамильярная кичливость, которую вы сейчас живописали, — у одних от недомыслия, отсутствия элементарной культуры, душевной бедности, и это скверно, у других же просто наносное.

— Когда я выносил в заголовок вапли слова, у меня возникло минутное колебание, какое из в общем-то синонимичных слов предпочесть: «ценить» или «дорожить». Я заглянул в словари. Если первое ограничивается понятием «дорогой», «стоящий», то у второго есть существенный для нашего разговора оттенок — «беречь», «не желать терять попусту» и даже — «скупиться».

Ю. Б. Дни жизни, конечно, уходят вне зависимости от того, чем и как мы их заполняем. Но сама жизнь теряет что-либо или приобретает в прямой зависимости от нашего отношения к быстро текущему времени. Оно, время, должно быть разумно и осмысленно заполнено, ибо невозвратно, в нем ежедневно происходит нечто существенное, оно длится, радуется, смеется и плачет, оно вынашивает мысли и чувства и рождает перемены...

— Или попросту исчезает в никуда самым безжалостным образом. Когда дни повторяются в незаполненной своей пустоте, вереница их, даже долгая, как бы превращается в один и тот же день. И чем бездейтельнее человек, тем, как ни парадоксально, быстрее проносится для него...

Ю. Б. Мимо него...

— Мимо него время. Ведь оно к тому же двойственно по своей природе: вовне — объективное, внутри нас — субъективное. Для одних оно летит, для других — тянется. В зависимости от наполненности содержанием оно может в нашем восприятии расширяться или сжиматься.

Ю. Б. Бесспорно лишь, что жизнь не благоволит к тем, кто транжирит время, и жизнь отмечает тех, кто им дорожит.

— Вы как-то говорили, Юрий Васильевич, что никогда не думаете о прошедшем и минувшем, как об утраченном времени...

Ю. Б. Я говорил: то, что было с нами в прошлом, происходит с кем-то в настоящем и будет происходить в будущем с некоторыми допущениями. Стало быть, время никогда не утрачивается; к сожалению, утрачиваемся мы.

Иначе говоря, духовную сущность человека составляют два огромных мира, один из которых понятие «было», а другой понятие «есть», обе эти галактики живут в нем до последней минуты.

— Мне кажется, Юрий Васильевич, что понятие «было» если и не предопределяет, то в значительной мере определяет то, что будет. В прямой зависимости от степени, в какой мы остаемся самими собою. Я говорю о нашей психоневрологической сути, интеллектуальном складе, о характере, темпераменте, подходе к жизни, миропонимании. Как часто можно прозреть свое будущее, экстраполируя в него свое же прошлое!

Ю. Б. С неизбежными поправками на диалектику ума и чувств, на неизбежную в развитии каждого переоценку ценностей. Я уж не говорю о переломных моментах истории, когда все летит к черту и никакое самое насыщенное прошлое не может приоткрыть завесу над завтрашним днем.

— Так кто же мы — рабы времени или его господа?

Ю. Б. И то и другое. Рабы — потому что жизненный путь каждого отмерен и ограничен. Господа — потому что своим сроком каждый волен распоряжаться по своему усмотрению. Более того, человек в силах наверстать упущенное и даже продлить время за счет экономого расходования дней, за счет интенсивности своего бытия и наполненности его содержанием сильных чувств и мыслей.

Не первый раз думая об этом, я хочу повторить: искусство, близкая мне литература, вне которой я себя не мыслю, продлевает человеку жизнь, добав-

ляя к его душевному опыту чужой опыт, другое восприятие жизни,— возможно, более концентрированное и более углубленное воображением писателя.

Мы живем не только в очень сложное время, отмеченное, как никакое другое, особо напряженным, как часто повторяют, стрессовым темпом...

— Время стрессов и страстей...

Ю. Б. К страстям мы еще вернемся... Я хочу сказать, что быт человека, веками длившийся как нечто устоявшееся и стабильное, ныне буквально перевернут разразившейся повсеместно научно-технической революцией, придавшей этому быту невиданную мобильность и своего рода калейдоскопичность. При этом та же НТР, подменяя и облегчая труд рабочих трудом автоматов, расчеты инженеров и конструкторов — «мозгом» электронно-счетных устройств, а древний труд пахаря и животновода — механизмами и конвейерной техникой, высвобождает драгоценное время человека. Куда, на что и во имя чего он будет его использовать: на домино, выпивку, «домашний ящик для глаз» — я имею в виду бессодержательные порой телепрограммы? Или же — на театры, вернисажи, серьезные книги? Эта проблема растущего свободного времени рано или поздно возникнет, и социалистическое общество вынуждено будет решать ее.

— На мой взгляд, эта проблема возникает уже сегодня. Окна моего дома выходят в парк, и в летнее время я вижу, как изо дня в день молодежь с удручающей монотонностью убивает время по треугольнику: танцы — вино — бездумные хождения по аллеям. А в качестве самодеятельных «аттракционов» — стычки, перевернутые скамейки и нудная, самым опостылевшая брань. И разговоры, нагоняющие тоску узнатостью интересов, скудостью мыслей и дистрофичностью чувств.

Ю. Б. Грустно, что они убивают не только свое свободное время, но — сознательно или неосознанно — занимаются самоубийством ума и души.

Итак, человеку нужно множество вещей простой, видимой, осязаемой пользы. Ему нужен дом, чтобы в нем жить; хлеб, чтобы питать себя; одежда, по возможности удобная и красивая; ему нужно еще множество вещей от пылесоса, фена и стиральной машины до автомобиля. Но все перечисленное, очевидно, необходимое человеку, является, как и свободное время, не целью, а средством, необходимым условием для полноценной жизни. В очищенном виде она предстает как самосознание и радость человеческого духа, пиришество ума, свободный полет мысли, цветение и богатство чувств.

Это и есть искомое совершенство человека. В лице своих вершинных творческих достижений оно являло себя в лучшей части человечества, начиная со светочей эллинской культуры и гигантов эпохи Возрождения до гениев наших дней. Преодолевая оковы времени и пространства, торжествовал прежде всего дух и ум человека, будь то Сократ или Эсхил, Леонардо, Шекспир или Сервантес, Пушкин, Толстой или Шолохов. Будь это Аристотель, Томас Мор, Карл Маркс или Ленин. Великая задача нового общества, к построению которого люди практически приступили в октябре 17-го года, в том и состоит, чтобы сделать удел немногих доступным в меру заложенных в нем возможностей каждому, родившемуся на Земле. Обращаясь к словам и мысли Маркса, мы строим то истинное царство свободы, где «начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью» (Подчеркнуто мною. — Ю. Б.).

— К сожалению, как показывает практика истории, сознание человека явно отстает от его бытия. Это видно и из глобальной угрозы самоистребления

человечества и из такого сравнительно мелкого явления (хотя «мелочей» на этом пути не бывает), как развившийся у нас в последние годы «вещизм».

Ю. Б. Ничего катастрофического в масштабах общества, конечно же, не происходит. Мы не живем в изоляции и мизантропии буржуазной идеологии не могут не проникать к нам в век массовых коммуникаций. Нельзя лишь ни останавливаться, ни уставать в борьбе за преимущества такого общественного устройства, при котором, как писал еще в «Городе Солнца» Томмазо Кампанелла, не люди «служат вещам, а вещи служат им».

— У роста благосостояния есть оборотная сторона: растущая трудность удовлетворения всевозрастающих запросов. Известно, как трудно накормить уже сытого и еще труднее одеть одетого...

Ю. Б. Все дело в том, что рост потребления не есть конечная цель человека, не есть самоцель. Это лишь средство полного и свободного раскрытия всех его творческих сил, — я только что цитировал в этой связи слова Маркса. Достоин сожаления, что в житейской суете люди сплошь и рядом об этом забывают.

Мы видим, куда ведет общество «всеобщего благоденствия» по американскому образцу. США по-прежнему занимают ведущее место в мире по количеству автомобилей, холодильников, телевизоров и телефонов, находящихся в личном пользовании граждан. И столь же ведущее место по преступности, наркомании, самоубийствам, растлению и разобщению душ. Но лишь 11-е место по числу учителей и 20-е — по числу врачей на каждые сто тысяч населения. В стране господствуют (при высоком, в общем и целом, уровне жизни) духовное опустошение, равнодушие, массовое поклонение царице по имени Пошлость и всеильному среднеполю магу по имени Развлечение; великое множество свободных часов отдается Кичу — массовой, расхожей поделке под искусство; разгул псевдолитературы наркотического свойства с пластмассовыми чувствами. А конечный результат всего этого — одичание души, разъедающее в человеке все человеческое: сострадание, сочувствие и соучастие, естественную радость и естественное наслаждение... А доллар — что ж, он доллар и есть. Это еще не эквивалент счастья.

— «Богатство не делает человека лучше, чем он есть. И к тому же существует иное богатство — внутри себя». Это недавнее высказывание, Юрий Васильевич, принадлежит одному из самых приближенных к американскому президенту лиц — первому шефу протокола госдепартамента США и Белого дома, более чем состоятельной даме, личный дворец которой построен лучшим архитектором Америки. «Мы — простой народец и очень ценим простоту», — говорят люди ее окружения. Да и сам, кстати сказать, Рональд Рейган, столь склонный к морализированию и высоконравственным сентенциям об ответственности перед богом и людьми, щеголяет на верховых прогулках в сапожках, стоимостью в тысячу долларов пара — цена небольшого автомобиля.

Ю. Б. Ну что ж, обычное фарисейство тех, о ком еще Генрих Гейне писал: «проповедуют воду, а сами дуют коньяк». Ведь неловко же на таком высоком уровне откровенно исповедовать имморализм и всепопирающую силу золотого тельца. Мало знать, каков ты «сам по себе», «в себе и для себя» (Гегель), — надо знать, каков ты среди людей, кто ты и что — для окружающих тебя, для общества в целом. Слова и дела — не только вещи разные; в сегодняшнем мире они так часто вступают в непримиримое противоречие!.. Великая лож питает великую безнравственность, а она, в свою очередь, ведет к великому цинизму и омертвлению.

— Какую же роль вы отводите книге в воспитании человеческого в человеке, в утверждении и торжестве на нашей земле «гомо моралис» (пользуясь вашим выражением)?

Ю. Б. Огромную роль. Хорошая, выстрадавшая книга способна задеть чувства и разум, заставить человека задуматься, очиститься смехом и слезами, изменить не в сторону тьмы, а света наше отношение к существу.

— Мне хорошо знакомы, Юрий Васильевич, ваши мысли о книге, как о душеприказчике, безупречном хранителе духовных ценностей всех веков и всех народов, негаснущем источнике света. Вы отдаете книге должное (хотя и чувствуется, что должное отдает писатель, а не геолог или хлебороб). Но ведь есть книги и к н и г и. Еще у Бернарда Шоу, в начале века, одна из героинь говорит, что, придя после утомительного рабочего дня, ей хочется выпить немного виски и завалиться в гамак с детективом в руках.

Ю. Б. Я не вижу ничего криминального в том, что рабочий, вернувшийся с завода, выпьет пива и приляжет на диван с романом Сименона. У искусства множество функций, в том числе и развлекательная. Много хуже, если этот рабочий ни разу в жизни не возьмет в руки книги Толстого, Чехова, Диккенса или Шолохова, не испытает потребности общения с великими знатоками человеческих сердец.

— Однажды на мой вопрос о роли классической литературы в жизни и воспитании молодежи вы с раздражением заметили: «Ни черта не читает современная молодежь классиков»...

Ю. Б. Возможно, я преувеличил, но мотивы тревоги легко понять. Именно в юности узнать о жизни из книг можно гораздо больше, чем из самой жизни. Это чуткая пора, когда оформляется и расправляет крылья сознание, когда мысль ищет ответа на извечные гамлетовские вопросы, — так где же, как не в литературе, искать в эту пору молодому человеку ответа, как жить ему в обществе, как обрести счастье, как научиться любить. Ведь и любовь доступна не каждому. Это чувство требует духовной тождности, психологической гибкости и, если хотите, определенной эмоциональной культуры. Когда всеведущий обыватель бубнит, что «дурацкое дело нехитрое», то, как вы сами понимаете, речь идет не о любви, а совсем о другом. Любовь — прекраснейшее состояние в нашей жизни, помогающее понять себя и других, природу в движении, красоту добра и самоотверженности, — целый мир. А прекрасному надо учиться и ценить его, подобно тому, как надо научиться чувствовать высокую музыку, философскую или лирическую глубину художественного полотна, врвущуюся в небо стрелчатую готику соборов или причудливые раковины архитектуры рококо, пластический язык скульптуры.

Наверное, раз в год в Москве исполняют «Реквием» Моцарта. Совершенно незнакомые между собой, но объединенные единым чувством люди откровенно плачут в том эпизоде, где оборвалась жизнь великого композитора, эта часть так и называется — «слезная». Но есть среди слушателей и такие, что пришли сюда из побуждений суетных, либо престижных, и с душевной мукой скуки ждут не дожждутся окончания вещи, искусственно выдерживая на лице подобающее моменту выражение сосредоточенной скорби. Дело не в том, что они лгут себе и окружающим, дело в их драматичной эмоциональной необразованности. Бойтесь, панически бойтесь этой духовной пустоты, ибо она страшно обедняет вас, отнимает у жизни половину красок, половину красоты, как, впрочем, порождает и равнодушные к литературе.

— Позвольте, Юрий Васильевич, на этом музыкальном повороте беседы привести два высказывания.

Чайковский: «Симфония — исповедь души, в которой многое накоплено». Ленин: «Ничего не знаю лучше «Аппassionаты», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!»

Ю. Б. И Лев Толстой говорил о музыке, после которой «необходимо совершать необыкновенные поступки». Здесь обнажается причинно-следственная связь между нашими действиями и нашим сознанием. Красота и культура формируют и лепят душу, чистое и здоровое миропонимание, не могут вести к дурным поступкам, и никогда не смирятся с серой и бездейственной жизнью. Но поступки — это следствие. Поэтому с молодых лет надо самому заботиться о строительстве своего духовного «я», и среди других «строительных материалов», создающих одухотворенный континент мысли и чувства (формы, линии, цвета, музыкальной фразы) полноцветное и животрепещущее Слово стоит, безусловно, на первом месте. Именно оно как проводник, готовый всегда прийти на помощь, осуществляет связь времен, пространств и поколений.

И пониманию прекрасного надо учиться. Еще Сократ сказал: «Прекрасное — трудно».

— Легко представить, Юрий Васильевич, какую реакцию недовольства и несогласия вызовет у некоторых молодых людей упрек в их эстетическом невежестве. Ведь сейчас они с колыбели живут в окружении радиомызыки, эстрады, дискотек, телевидения, газет и журналов...

Ю. Б. Куча кирпичи еще не дом. Это уже знали и так говорили три тысячи лет назад в древней Ассирии. Информационный оглушающий шквал или же «осколочные» сведения о том, о сем могут лишь подменить, но не заменить подлинные знания, которые приходят все-таки тогда, когда человек сам хочет познать бессмертный шедевр, будь то эпопея Толстого, полотно Рембрандта, или концерт Скрябина. В отсутствии эстетической подготовки ничего постыдного нет. Постыдна презрительная самонадеянность, высокомерное нежелание преодолеть свое непонимание музыки, живописи, поэтического слова. Тут возникает парадоксальнейшее положение: совершенно наивное невежество себя таковым не ощущает и не страдает от своей бездуховности. Это горькая беда. И, напротив, чем больше знает человек, чем больше развито его «шестое чувство» — чувство прекрасного, тем больше томит его духовная жажда. Но тем наполненнее, содержательнее его жизнь во всех ипостасях: от призвания до увлечения, от любви до высочайшего понимания, кто он и что он на этой земле.

— Еще раз о любви. Мне кажется, по нынешним образованным временам, несколько нелепой и достойной сожаления молодая девушка, стоящая на пороге большого чувства, и совершенно незнакомая с озарениями Джульетты, метаниями Наташи Ростовской, судьбой Эммы Бовари, трагедией Анны Карениной. Обогащенная жизнью этих героинь, она не то чтобы избежала каких-то ошибок (каждый узнает на собственном опыте, что огонь жжется): просто чувство ее выросло бы на чужом душевном опыте, оно дало бы больше побегов... Но вместо Толстого, Шекспира и Флобера я вижу на книжной полке моей гипотетической девушки томик «Графиня де Монсоро», изданный двухмиллионным тиражом.

Ю. Б. Если на полках стоят только Берроуз, Террайль или Голоны с их Анжеликой, то это все же не библиотека, а зал игровых автоматов.

— Или спальня неосуществимых снов: «чтобы скорей пролетел песней обманутый день», — Овидий.

Ю. Б. Мы же говорим с вами не о книгах, отвлекающих от реальных забот жизни. Мы говорим о

литературе, где чаще всего героем является молодой человек, который не познает себя в состоянии самодовольства и удовлетворения.

Дело, на мой взгляд, не только в том, что молодой человек — благодарный объект искусства. Дело, наверное, и в том, что он — благодарный объект для воспитания искусством. Литература, обращенная ко всему человечеству в целом, осознанно или неосознанно прежде всего обращена к каждому новому поколению, как наиболее восприимчивой части любого общества. Здесь проявляется, наверное, извечное стремление отцов видеть своих детей более совершенными, чем были они сами. Извечное стремление людей к нравственному совершенствованию, без которого зачем было бы длить во времени род человеческий?

Молодой человек достаточно неискушен, чтобы принять мир, который перед ним обнажает художник. И в то же время он должен обладать достаточной искусственностью, чтобы понять этот мир. И здесь мы опять возвращаемся к тому, что доминантным стремлением молодого ума должна быть постоянная разработка своего сознания.

— «Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться». Более двух тысяч лет назад это сказал философ Демокрит. Вас не смущает, Юрий Васильевич, вековая повторяемость некоторых истин?

Ю. Б. Просветительство (а литература, как средство самопознания, включается в это понятие) всегда было и остается одним из самых благородных служений человеку. Внедряя в сознание людей простые и святые истины «доктрины добра» в стремлении достичь максимального кпд, требовательный художник вкладывает каторжный труд в поиски своего эстетического и этического феномена.

И прекрасное и безобразное одинаково заразительно. Человечество знает не только стремление к свету, но и бегство во мрак. Оно знает периоды, когда невежество становилось пандемией, как гонконгский грипп. «Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий». Эти слова принадлежат Карлу Марксу, и их актуальность пока несколько не угасла.

— Юрий Васильевич, говоря о своем поколении, вы подчеркнули: «...наша совесть была оплачена кровью, обжигающей душу ненавистью ко всему жестокому и античеловечному...» Ваше поколение вошло в жизнь через горнило войны. Что вы думаете о доле тех, кто входит в жизнь сегодня — в условиях определенного материального благополучия, духовного достатка, а главное — мира?

Ю. Б. Каждое поколение несет свое историческое бремя, и только будущее может рассудить, стало оно тяжелее или легче.

— Какие же проблемы ожидают тех, кому сегодня 15—20 лет?

Ю. Б. Проблемой номер один стала сейчас проблема сохранения космического корабля под названием Земля. Эта песчинка во Вселенной подвержена огромной опасности быть уничтоженной, причем над ней нависли две глобальные угрозы сразу...

Решение гамлетовского вопроса «быть или не быть», зависящее сегодня не от отдельного человека, а от всего человечества, находится в прямой связи с угрозой экологической катастрофы, которая осознается нами еще недостаточно тревожно.

Человек века — продукт обстоятельств и ситуации. Но ныне он достаточно могуществен и просвещен, чтобы самому формировать ситуацию. Между тем слепо следуя за технологической идеей, он жестоко разоряет собственный и единственный дом, в котором живет.

В одею лишь маленькой Италии за год человек убивает 200 миллионов птиц и животных. В Африке ежегодно только браконьеры уничтожают 70 тысяч слонов. Десятки тысяч озер в Канаде отравлены вконец и стали мертвыми. Леса Амазонки — зеленые легкие планеты — нещадно вырубаются. Экологическая проблема так же актуальна и для нас.

Неразумное отношение к лесам, полям, рекам, недрам, к воздуху, к окружающей среде приведет к такой смертельной беде, которую нельзя будет поправить ничем. Нет природных богатств неисчерпаемых, все имеет пределы, как и жизнь человеческая. Что бы не быть самоубийцами, надо сверять каждый «покоряющий природу» шаг с разумным, совестливым, строгим отношением к прошлому, настоящему и будущему, к детям и внукам, которые должны жить завтра. Что мы им оставим — круглую пустыню или цветущий сад?

— Вы говорили о двух угрозах, нависших над космическим кораблем под названием Земля. Вторая — это, конечно же, угроза самоуничтожения человечества в пламени термоядерной войны?

Ю. Б. Это насущнейшая и самая безотлагательная проблема. В годы второй мировой войны в Европе и Азии погибло 55 миллионов человек. Научила ли миролюбиво эта чудовищная жертва ныне живущих? И нельзя ответить однозначным «да», потому что со дня окончания той бойни люди пережили еще более ста крупных локальных войн. Нельзя сказать «да», потому что на сегодняшний день сотни тысяч ученых мира работают в кузнице ядерного Марса. Считают, что атомные арсеналы имеют сорок тысяч боеголовок, — в переводе на первые атомные бомбы это миллион Хиросим. А чтобы добиться предельной наглядности — по три тонны взрывчатки на каждого обитателя Земли, от младенцев до стариков.

Никто не оспаривает открыто, что человек — величайшая ценность и мерило всех вещей. Но одни это игнорируют, другие об этом забывают, третьи же просто не осознают размеры нависшей над всеми опасности. Я возвращаюсь к теме равнодушия, недомыслия и самонадеянности человека. Опасность есть; конечно, соглашается каждый. Но если что случится — то с кем-нибудь, а не со мной. Что касается мирового обывателя, то он и в ус не дует... У писателя не может не быть претензий к роду человеческого, но, сердясь на него, он должен будить в нем лучшее и любить его неустанно. Писатель подобен колоколу в экстремальной ситуации, он должен будить и звать: не спите, очнитесь — оглянитесь и вдумайтесь, не опустится ли завтра над нами, а вместе с тем и над всей историей человечества ядерный занавес?

Как видите, не решив этих проблем, мы рискуем оставить нашим детям, когда придет их черед заступить место отцов, отнюдь не самую благоустроенную и оборудованную для счастья планету — быть может, менее благоустроенную, чем тогда, когда Маяковский бился над вариантами строки на эту тему.

У каждого поколения наступает час решающего выбора. Наступит он и для тех, кто читает сейчас эти строки. Так вот, в переломный час достанет ли им ума, меры ответственности, духовной культуры, чтобы не только сделать свой выбор, но и мужественно постоять за судьбу человечества? Думать об этом нужно смолodu.

— Как однажды было сказано, — хорошо оставить свои следы на песке времени, но куда важнее знать, что они идут в верном направлении.

Ю. Б. Люди сегодня еще не могут похвастать кардинальными позитивными переменами в международном климате.

— И все же, Юрий Васильевич, если задаться вопросом, какие силы доминируют ныне на международной арене, то неизбежно приходишь к выводу — это силы, выступающие за мир. Тревога переросла в действие. Такой волны многомиллионных манифестаций, множества петиций и обращений к правительствам и парламентам еще никогда не знала, пожалуй, хроника антивоенных выступлений, охвативших мир от Японских островов и Центральной Европы до Канады и США. Мы не можем с оправданным вполне патристическим удовлетворением не отметить, что мировую общественность всколыхнула на это последовательная и настойчивая борьба против ядерной угрозы именно нашего Отечества — государства, первым декретом которого в год его образования был Декрет о мире.

Ю. Б. Антивоенная волна действительно поднялась высоко. Дело за «малым». Дело за тем, чтобы голая миллионов материализовалась в конкретные международные договоры, которые были бы приняты правительствами к неукоснительному претворению в жизнь. Ведь время не ждет, слитком много накоплено в мире взрывчатого материала. Чем раньше будет ликвидировано ядерное оружие, тем лучше. Быть может, именно следующему поколению предстоит окончательно договориться не о том, как воевать, а о том, как не воевать. А для этого нужно выработать строгие критерии мышления, в основе которых лежат правда, мужество и честность.

— Как-то, Юрий Васильевич, вы уже говорили со мной о том, что смотрите на литературу как на инструмент целительного, освящающего воздействия на человека, как на средство преодоления дурных страстей посредством познания и слова. Вы говорили, что со времен античной литературы место писателя в обществе и его роль остаются приблизительно одной и той же — властителя дум, миссионера добра и живой совести своей эпохи. Эта ваша позиция художника и гуманиста понятна и оправдана. Но невольно возникает вопрос о действительности, о кпд высокой литературы в ее священной борьбе со злом и насилием. Вот я беру первый попавшийся журнал или газету — как выглядит облик современного мира в информационном потоке периодики? Гондурасский рыбак вытаскивает в своих сетях из реки Сумнуль растерзанные детские трупы. Сальвадорские солдаты забавляются тем, что подбрасывают в воздух младенцев и ловят их на штыки. Число жертв геноцида в Кампучии — три миллиона человек. В Гибете продолжается уничтожение национальной культуры, хранилища древнейших рукописей сравниваются с землей. В Гватемале свирепствуют эскадроны смерти, в Италии бандитствуют «красные бригады». В Ливане льется пролитая агрессором кровь мирных людей... Неприглядным, мягко выражаясь, выглядит моментальный снимок дня, которым живет планета.

Ю. Б. Было бы наивным полагать, что благородная и совестливая книга перевернет сознание подлеца и превратит в одночасье демона в ангела. Даже библейские заповеди, внедряемые уже две тысячи лет, не искоренили на земле ни убийц, ни грабителей, ни прелюбодеев.

История — это не только и не столько летопись событий и деяний личностей, сколько то, что отложилось и осело в психике и сознании современного человека от связи его с корнями, уходящими в глубины веков. История не только управляет нами извне — она через нас творит день сегодняшний и готовит завтрашний. Нужно уметь, поднимаясь над частностями, осмысливать жизнь в таких широких категориях, как судьба цивилизации. Есть непреходящие

категории этического ряда, есть вековые традиции гуманизма, и только ориентируясь на них, можно спасти человека от невежества и недомыслия, трагического бездушия — от всего, что делает его нечеловеком и что грозит трагедией поистине глобального масштаба.

Борьба за человеческое в человеке продолжается, и продолжается не только словом — подчас она требует оружия. Гуманизм больше всего отвергает равнодушие, а эгоизм с позиции гуманиста преступен. Насилие тоже может быть выражением любви. Кандалы рабства можно и должно рубить мечом. Вивтовка оправдана, когда она служит освобождению закабаленного, сирого и обездоленного. Мир знает ситуации, когда страдания других заставляют взять в руки меч и прикрыть беззащитного. Умывающий руки Понтий Пилат — одна из самых неприглядных в душевной своей слабости фигур на библейском иконостасе.

А что касается зла, то его на земле еще более чем предостаточно. Но лишь в борьбе с ним и может окрепнуть и восторжествовать добро. Этому и служит вся мировая культура. Попытайтесь представить себе людей без вершинных шедевров мыслителей и художников. Попытайтесь, и в сознании возникнет нечто вроде холодной и погруженной во мрак пустыни, где бродят одинокие, исполненные ненависти и недоверия фигуры с атомными дубинками в руках. Нет, современное человечество вне культуры, которая для него есть свет, единение и добро, непредставимо. И невозможно.

— То есть вы хотите сказать, что без «Илиады» и «Фауста», «Дон Кихота» и «Короля Лира», «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» и «Тихого Дона», без «Сикстинской мадонны» и полотен Рембрандта, без Реймского собора и храма Василия Блаженного, без музыки Бетховена и Чайковского мир был бы много хуже, а люди коварнее и злее?

Ю. Б. Я хочу сказать, что без всего этого не было бы ни мира, ни людей, какими мы знаем их сегодня.

— За тысячелетия цивилизации люди не раз мусировали идею «конца света». До поры до времени она носила характер мистический и религиозный, потом ею занялась наука и из небесной превратила ее в космогоническую. Но только в середине нашего века стало совершенно очевидно, что объективная опасность конца — не извне, не космического порядка, а «изнутри», земными причинами обусловленная — стала действительно легко предвидимой и реальной как никогда прежде. Следовательно, ответственность ныне живущих за будущее велика и сама по себе и возрастает год от года? Не видите ли вы в этом крест и долг нового поколения?

Ю. Б. Нельзя строить и продолжать жизнь под знаком апокалиптической угрозы бытия. Софокл писал, что мир прекрасен и прекрасна жизнь. Это знают люди и не читавшие Софокла. Но какими были бы прекрасными мир и жизнь, если бы сами люди научились наконец не искажать свой мир и не уродовать свою жизнь! Во многих сделанных глупостях человек в первую очередь должен винить самого себя.

— Крупнейший английский историк Арнольд Тойнби писал, что «институт войны по-прежнему в полной силе в западном обществе», что «если нас постигнет крах, то произойдет это потому, что мы выбрали смерть и зло, тогда как были свободны избрать жизнь и добро». Какое место и какую задачу вы отводите советской молодежи в этой безальтернативной диспозиции, сложившейся в мире?

Ю. Б. Я смотрю на нашу молодежь в целом с надеждой и доверием. По оценкам социологических

служб, большинство американцев считает атомную войну неизбежной. Это скверно, потому что ведет к внутреннему примирению с фатальностью и к пассивности перед нею. Наше общество, его молодое поколение смотрит в будущее с надеждой. Я полагаю, что этот ее жизнеутверждающий потенциал может создать климат доверия между народами, хотя задача это нелегкая. Но чтобы успешно решать проблемы политической этики или этической политики, нужно действительно подняться до вершин общечеловеческой культуры. Не теряя, разумеется, при этом почвы под ногами.

— Тогда позвольте, Юрий Васильевич, спуститься от обобщений в масштабах поколения до конкретики отдельной личности. Нас всех смущает и возмущает парадоксальная и безрассудная поступь научно-технической эволюции, которая, наделив людей непредставимым еще вчера могуществом, не освободила их от слабостей и пороков, которые не только мешают полезно пользоваться этим могуществом, но и оборачивают его против самого человека. Со всей остротой и явственностью это демонстрирует «свободное общество» по американскому образцу. Но решение этой кардинальной проблемы, уничтожение драматических ножиц, этого зазора, а то и пропасти между умелыми руками, изощренным умом, с одной стороны, и тлетворными душами и заржавленной совестью — с другой, является и общечеловеческой проблемой в масштабе планеты. Вы видите искомое решение в одном — нравственном совершенствовании человека. Применительно к нам эта задача и пути ее решения — личное дело каждого индивида?

Ю. Б. Нет, это общественная задача и общегосударственное дело. В июле 1900 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Совесть и есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим». В наше время и в нашем понимании «высшим» — значит общественным. Когда у нас с некоторым смущением и робостью заговаривают о некоем нравственном вакууме, возникающем и в среде молодежи и в среде людей вполне зрелых, — много целесообразнее, на мой взгляд, подходить к этому явлению с деловитостью социолога и благой беспощадностью хирурга. Ибо в таком вакууме и расцветают бездушные, хищничество, потребительство. И в том, чтобы духовный мир советского человека формировался по законам коммунистической этики, как и по эталонам подлинного искусства, состоит государственный интерес.

— Пока государственная сила и философия не совпадут в одно, дотоле, думаю, человеческий род не жди конца злу... Это раскавыченная мысль Платона.

Ю. Б. Бесспорным и величайшим завоеванием Октября и явилось это совпадение личных и общегосударственных устремлений. Интересы нравственной личности ложатся в русло интересов государства в целом.

— Вернемся к личности, к облагораживающему и возвышающему влиянию на нее художественного слова и образа. Возьмем гипотетического молодого человека. Он приобщился к сокровищам мировой литературы; он научился понимать и наслаждаться высокой музыкой; через Андрея Рублева он понял, что все грешное — синоним аморального; он не может жить без поэзии, доставляющей ему почти что чувственное наслаждение. Значит ли это, что он нашел панацею от безнравственности, пустоты и эгоизма?

Ю. Б. Зачем же такая категоричность? Почему — «панацея»? Этот гипотетический, а в общем-то совершенно реальный молодой человек, каких миллионы, развил и развивает свое духовное сознание. Он познает правду добра и правду зла. Через воспитание чувств он воспитывает совесть. И это обеспечивает

ему возможность хранить свою порядочность, исповедовать ее как жизненный долг.

— Ответ на заданный вам же вопрос, Юрий Васильевич, зреет у меня где-то на пороге сознания. Наблюдая людей глубокой культуры, я чувствовал, что, зная музыку, поэзию, живопись, они знают нечто большее, чем искусство. Быть может, они знают подлинный вкус жизни, которая одаривает их щедрее, чем других, обедненных духом и формальными знаниями?

Ю. Б. Нет, берите выше. Они знают, откуда приходит мудрость. В поисках самого себя, в увлекательнейшем путешествии в сферу своего сознания они находят ту гармоничную дею и бытия, ту гармонию телесного и физического, которая и есть, быть может, то, что называют счастьем. Лично для меня это потаенное прикосновение к истине, ощущение приближающейся мудрости чаще всего приходит в длительном общении с природой... Во всяком случае, ни мир в целом, ни человек в отдельности не могут спасти и сохранить нравственность без литературы и без искусства. Вот тут я категоричен, и, думаю, оправданно категоричен.

— Вы говорили в начале беседы, Юрий Васильевич, о безусловном праве человека распоряжаться своим временем, о праве его строить свою жизнь по своему усмотрению и своей воле. Значит ли это, что вы оставляете за ним и моральное право остановить, прервать свою жизнь, когда он сочтет это нужным?

Ю. Б. Вы имеете в виду самоубийство?

— Да. Не так давно мой сокурсник по университету, человек внешне благополучный и даже процветающий, без всяких объяснений отправил себя к праотцам. Это не первый случай в среде моих друзей и знакомых. К теме самоубийства обращаются время от времени и прозаики (Ваш «Выбор», к примеру) и очеркисты. При всей ее тягостности она стоит хотя бы беглого комментария.

Ю. Б. Она стоит серьезнейшего романа и серьезнейшего социологического исследования.

— Меня интересует в особенности вот что: я не знаю, не припомню, во всяком случае, ни одной общественной формации, ни одной религии, которая бы не осуждала самоубийство. Непримируемо осуждает его и наша мораль. Чем объяснить такое редкое и надвременное, сказал бы я, единодушие?

Ю. Б. Тем, что самоубийство — самая крайняя, самая откровенная форма эгоизма и вопиющего малодушия. Убивая себя, человек не только расписывается в своем банкротстве и бессилии решить вставшие перед ним неразрешимые якобы проблемы — он перекладывает их решение на плечи других, тех, кто остается жить.

— Если рассматривать смерть как компонент жизни, ее завершающий аккорд, то и сама смерть должна быть посвящена цели и делу, как жизнь. Не так ли?

Ю. Б. Посвященная делу и осмысленная смерть — есть самоубийство.

— Ну что ж, как сказал какой-то литературный герой, смерть и без того длится слишком долго, — куда спешить?

Ю. Б. В русле этой темы я не сторонник шуток, как и противник каких-либо обобщений. Здесь каждый случай требует особо пристального внимания и глубокого анализа.

— Юрий Васильевич, люди склонны гнать от себя всякие неприятные и тревожные мысли, в особенности же мысли о смерти, против неизбежности которой бунтует сознание всякого нормального человека. И в то же время нет никого, кто бы не задумывался о ней, — а в связи с этим и о бессмертии. Естественный страх смерти люди смягчают и ступеньвают своей принадлежностью к нации, обществу, творимо-

му ими делу или к церкви. Такая вера в земное или небесное открывает шлюзы символическому продолжению жизни человека — в его детях, в его делах и работах, в его Отечестве («если будет Россия, значит, буду и я»), в памяти потомков.

В одной из своих новелл вы говорите о звезде своего детства — теплотой, участливой. «И может быть, — пишете вы, — я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя ядоль, где примут меня с тою же родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокоительном мерцании?» Что это, Юрий Васильевич, — мечта, вера, надежда на запредельное бытие нашего сознания?

Ю. Б. Но там же, следующим абзацем я говорю: «Не было ли это общение с вечностью разговором с космосом, что до сих пор все-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства!» Все, что касается рождения и смерти, цели и смысла жизни, любви и помыслов о том, что будет за порогом нашего земного бытия, и куда уходит все, что мы накапливаем и несем в себе, — воспоминания, любовь, муки, надежды, творческая энергия — все это вековые вопросы, над которыми суждено биться человеческому сознанию, пока оно пребывает во времени и пространстве. И каждый из нас, набираясь ума, решает эти вопросы сам за себя и сам для себя. И дело это сугубо личное и даже интимное.

Но при этом бесспорно одно: человек осуществляет себя и утверждает делом.

Поэтому выбор дела — это выбор судьбы. Но мало войти стезю в жизни и точку приложения сил своих. Здесь, как и в искусстве, успех или неуспех решает не вопрос «что», а вопрос «как».

Путь к величию и, может быть, через него к бессмертию человека лежит в высочайшем его призвании, которое выражается в одном: работать, работать. Ибо никто не сделает за тебя того, что должен сделать ты сам.

С молодых лет надо усвоить, что иждивенчество унижительно. Не живите ожиданием благ от государства, а делайте для него все, что в ваших силах. В противном случае вы или гость за чужим столом, или дикий вьюн, бессмысленно обвивающий древо жизни.

Работа имеет высший смысл — это единственный путь по-настоящему познать самого себя, свои возможности, утвердить себя в жизни на том месте, которого ты достоин. Это и путь самосовершенствования. Ведь человек начинается именно с его отношения к труду. Потребность в труде — самое творческое, самое насущное, самое социальное желание людей.

— Вы говорили: земля для человека, но и человек для земли. Если помнить его глобальные цели, можно сказать: человек для Земли?

Ю. Б. Конечно. Труд объединяет нас всех. И коли мы согласимся, что труд одного человека — это ручей, то добавим с убежденностью: ручьи оплодотворяют реки, реки — океаны, океаны — всю Землю.

— Из всех понятий, сопровождающих человека от колыбели цивилизации, в нашем современном понимании наибольшие изменения претерпело понятие долга. В эллинских трагедиях чувство долга вечно конфликтовало со свободой выбора...

Ю. Б. Тут произошло не столько изменение, сколько углубление нашего понимания. Долг, движение чувства долга не только не противоречат свободе, но являются ее в высшем смысле. Долг — это поступок, совершаемый согласно нравственному закону, и он придает жизни человека глубочайшее значение своей нужности на земле. Долг объединяет людей и возвышает их над собою. Долг — это путь к общности исторической судьбы и исторических свершений — будь

это победа в Великой Отечественной войне или хозяйственное освоение целого континента под названием Сибирь.

Так или иначе свобода связана с понятием счастья и понятием долга, без которого свобода лишена внутренней нравственной дисциплины, а счастье лишено энергии действия.

— Я не уверен, что наш читатель не воспримет это как голую декларацию или простое нравоучение...

Ю. Б. Мыслящий читатель (а на другого я, откровенно говоря, и не рассчитываю) рано или поздно сам придет к этим или подобным выводам. Есть испанская поговорка: думать — значит спорить. Если эта беседа станет приглашением к размышлению, если она вызовет желание поспорить, если она родит у читателя мысли — и параллельные и пересекающиеся с теми, что высказаны здесь, — можно считать, что цель достигнута. Я как-то вам говорил, что жизнь человека можно разделить с некоторой условностью на четыре периода. Первый — это рождение и соприкосновение с окружающим миром. Второй — установление собственного очага. Третий и, на мой взгляд, главный — период раздумий и осмысления своей жизни. Четвертый период у думающих и нравственных людей бывает отмечен отказом от навязчивых идей, суетных забот и материальных благ.

— В нашем быстротечном, скоростном и калейдоскопичном, а подчас и безумном мире все смещается, и мешается, Юрий Васильевич. Часть молодежи начинает жизнь с отказа от наследственного материального благополучия, а многие строят собственный очаг по истечении того периода, который вы отводите для раздумий, самосознания и даже некоторого подведения итогов.

Ю. Б. Ну что ж, тем лучше: тем больше читателей «Юности» найдут для себя, быть может, что-либо любопытное в этой беседе.

— Наряду с художественным исследованием бытия, которым занимаются литература и искусство, изучение мира и человека в мире ведет и достигшая столь многого наука. Их разнят между собой — эти две главные и даже в чем-то близкие сферы деятельности — лишь инструменты познания... Так вот при всей автономии этих двух сфер человеческого творчества недавно возникла область науки, способная буквально перевернуть художественное видение мира. Я имею в виду космологию с ее поисками внеземных цивилизаций. Откуда у нас эта абсолютная убежденность, что человек — вершина эволюции? Быть может, в непостижимой, гигантской комбинаторике природы человек — закономерная, но лишь «преходящая» ветвь, такая же, как миллионы других, бесследно исчезнувших в эволюции видов?

Ю. Б. Насколько я знаю, у ученых на этот счет пока есть два взаимоисключающих мнения: первое — внеземные разумные цивилизации множественны; второе — жизнь на Земле уникальна и аналогов во Вселенной не имеет. Эта ситуация напомнила мне известную мысль Ленина о том, что единство борьбы за создание рая на земле важнее, чем единство мнений о рае на небе.

На мой взгляд, ничуть не сдерживая человека в его неутомимой жажде познания, куда как актуальнее и важнее с предельной глубиной и тревогой осознать ту огромную ответственность, которую все мы несем за сохранение и продолжение подлинного космического чуда — жизни на земле.

— Вы однажды сказали: лучше жизни ничего не придумаешь!

Ю. Б. Я готов повторять это всю оставшуюся мне жизнь.

СТИХИ ПОЭТОВ ПРИБАЛТИКИ



СТАСИС
ЙОНАУСКАС



ВИЯ
ЛУКШ



ИНАРА
РОРА



Поэзия

СТАСИС ЙОНАУСКАС

Весенний дождь

Дугей над пригорками радуга гнется,
Мерцают хвощи серым цветом с полей,
И падает дождь на песок — так в колодцы
Слетает медлительно снег тополей.

Дождинка, как будто живая, на пашне
Пробьется к зерну — и никто не найдет.
Старик жемайтиец — в заботе всегдашней,
Он чудо увидит — росток прорастет.

Росток, как дитя, вылезает на волю,
Где землю два века рыхлит борова.
Вновь зелень украсит холмы — это в поле
Взойдут боронивших крестьян имена.

☆☆☆

Бобы в полях зацветают,
картофель раздвинул землю,
Давно прошла посевная,
скоро косить придешь,
Усталый, в тени присядешь,
где сено сухое дремлет,—
И, хоть за троих поработал,
лишь за себя отдохнешь.

Комком земли станут мысли,
и не совладать с разладом —
В голову разве их вложишь —
выкрошатся из горсти
Несколько тусклых пылинок,
и, как не окидывая взглядом,—
Землю, что под ногами,
с собою не унести.

И замолчишь,
как будто ночь во мраке лиловом
Перед дождем все вымела
начисто из головы,—
Лишь несколько слов останется
в раскрытом стручке бобовом,
А в августовских прокосах
уже не увидишь травы.

Аист

Еще расцветает в долинах чабрец,
И зреет малина на вырубках,
Пока он парит над усадьбами —
Надо ему помахать, будто другу,
Но руки, привыкнув к работе,
Склонятся к земле, как колосья.
Вот так и прощаются с ним у порога.
И даже ребенок
Не будет вдогонку бежать:
Увидев его, он перекувырнется!
И вырастет быстро, как рожь,

¹ В Литве есть такое поверье: когда весной первый раз увидишь аиста, нужно перекувырнуться через голову — будет хороший год, счастье...

Не уместившееся на циферблате часов,
Когда сумерки лягут
На серые крыши жемайтов¹. Его
Тень от солнца бежит по холму
через поле ржаное,
Как карта Литвы.

В туманах город вдруг встает,
как лес под хмурой крышей.
Пустые дали за спиной —
как дом, святой и нищий.
Чтоб смочь нам трогать все цветы
в весеннем скромном круге,
дороге надо нас вести
к владеньям белой выюги.
затем, что может каждый ствол
стать пнем, весне не внемля.
Гудят деревья,
в долгий путь благословляя Землю.

☆☆☆

В Риге я жила еще в семидесятом.
Светлая квартира, май светил в окно.
Как-то на вокзал пришла перед закатом —
навсегда уехать было суждено.
Дальше все известно — знаю жизни цену,
прожитое время дорого теперь.
Происходят просто в жизни перемены.
Таллин, ветер, сердце, зимний счет потерь.
Грохот на вокзале, спят на лавках люди.
Странно и неловко, что чужая боль
праздный интерес у посторонних будит.
Я не лгу: сама играла эту роль.

Напоминание

В этом вот самом доме, в этом году мы сущи.
Сны до поры приснились, свет ни к чему
потушен.
Рожь. Молодой ольшаник. Снег, листопад все
пуще.
Солнце опять восходит — желтый рожок
пастуший.
Смена пейзажей, каждый — цвета совсем иного.
Годы, черед столетий, долгий асфальта сумрак.
Нерв, если он изношен, жизнь заостряет снова,
бликами повторясь в стеклах и коже сумок.
Времени нет на свете доброго или злого,
собственными руками лепишь лицо времен.
Как хорошо известно, всюду возрастает слово.
Добрым словам и полю — низкий земной
поклон.

Перевел с эстонского
В. ФАДИН

ИНАРА РОЯ



Созерцание снега

Так светлы окрестности, что слепнем,
Ежели от снега глаз не прячем!
Под ноги глядеть, и веки щурить,
И тропу искать с лицом незрячим...
— Приземляйтесь, мысли! Вы довольно
В белоснежных высях повитали.—
...Мужество, во рту держа хвостик,
Думает: в дорогу не пора ли! •
Тают под ногой следы предтечи,

Муча притяженьем и петляя...
Проглотила ниточку поземки
Веха путевая — прорубь злая.
Взор яснее. Ноздри ветром полны.
Раненые пальцы льдинку сжали...
Близко-близко — личики побегов.
Далеко-далеко — плащ печали.

☆☆☆

Целебен одинокий миг —
Иду за помощью к березам,
Где береста, как черновик,
В тоске исписана морозом.
Поди прочти: мольба, и суд,
И темная скороговорка...
Мужаясь, раны зарастут,
И в камень обратится корка.
А тучи, солнце заслоня,
Все громче ссорятся и злее;
И ждет лисицу западня,
И кожу сбрасывают змеи.
...Береза, как твой сок хорош!
Играй, скворец, по нотам строго!
Счет: «Ноль — один»,—
и ты «ведешь»,
Мой день грядущий у порога.

Я знаю:

свет лучится, падая

Я знаю: свет лучится, падая
От темени, лица и смысла,—
Когда пред нами виноградная,
Вся в дырах, лесенка повисла...
И вдруг —
объединились заново
Разъятые витки и числа,
И воссиял венок истерзаный,
Как будто брань его не грызла!
Я знаю: лишь ступенька малая —
И гул преобразится в слово,
Когда дорога возмужала
На испытания готова...
Я слышу: жажда — в жилах дерева:
Гудят и крона, и основа.
...Так
разрешается
страдание —
Гром, ливень, радуги подкова!

Вместо многоточия

Не задерживай детей бегущих,—
Что им нашей мудрости излишек!
Не маши руками. Бесполезно.
Не предупреждай — до первых шишек.
Не удерживай слезы ребячьей
Поцелуем — тщетные попытки.
Бесполезно. Не склонить к согласью,
Прежде чем не вымокнут до нитки.
А потом...И дрозд уснет. И сникнет
Попугай, дразнилку не осилив...
Синева протянет корм в ладонях,—
Бесполезно. Ибо нету крыльев.

Перевела с латышского
Т. БЕК



СЕРГЕЙ
ЕСИН

ПОВЕСТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АВГУСТЕ

Свыше десяти лет назад, во время работы над «Звуковой книгой о Ленине», выпущенной издательством «Правда» и Гостелерадио, мне довелось услышать большое интервью с Лидией Петровной Парвизайнен, старой большевичкой, сопровождавшей Владимира Ильича во время его последнего подполья, начавшегося, как известно, после июльских дней 1917 года, когда Временное правительство расстреляло мирную демонстрацию рабочих. В это же время буржуазные газеты начали бешеную травлю Ленина, распуская грязные слухи о связи большевиков с германской разведкой.

Я до сих пор помню удивительный голос Лидии Петровны и подробности той ночи, когда она вместе с Эйно Абрамовичем Рахьей привезла Владимира Ильича Ленина на хутор родителей возле деревни Ялкала в 12 километрах от Териоки.

В прошлом году, находясь в Зеленогорске, бывшем городке Териоки, я увидел дорожный указатель с надписью: «Дом-Музей В. И. Ленина».

Мне показалось, что я уже был в этом доме. Я узнал маленькую кухню, в которой Владимира Ильича встретил старый рабочий П. Г. Парвизайнен, и выскобленный до белизны пол в зале и пристройке, где жил Ленин. На столе у окна стоит керосиновая лампа. При ее свете рождались страницы книги «Государство и революция». Сдавая ее уже после октября 1917-го в набор без последней, седьмой главы, Ленин напишет в послесловии, что... «второй выпуск брошюры (посвященный «Опыту русских революций 1905 и 1917 годов»), пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать». Но это произойдет позднее, а пока до 7 ноября оставалось около ста дней, часть из которых Владимир Ильич проведет на маленьком хуторе.

Лидия Парвизайнен знала, как рискует, потому что было известно: Ленин скрывается где-то под Петроградом, и везде в округе были рассыпаны сыщики Временного правительства. Пятьдесят «офицеров-ударников» поклялись умереть или найти Ленина. Лидия Парвизайнен знала, чем рисковала, у нее были отец, мать, братья и сестра. Ей самой в то время исполнилось двадцать пять лет.

...Я попал на хутор возле деревни Ялкала (ныне поселок Ильичево) в августе. Огромная лесная поляна, разомлевшая от жары, и в середине ее маленький домик, всеми своими окнами глядящий в лес...



1. ЛИДИЯ

В Териоках, уже в Финляндии, все пошло не так, как предполагалось. Лидия выскочила из вагона, как только поезд остановился. Проверки документов здесь не было, но существовал таможенный досмотр. Правда, не такой подробный, как в Белоострове. У Лидии вещей, кроме дамской сумочки, не было, поэтому, быстро проскочив платформу — как всегда по субботам полную дачников, спешащих на природу, — Лидия перебежала через гулкий, прохладный даже в августе вокзал, на площадь. Но брата с лошастью не оказалось.

Лидия кинулась туда, сюда, обошла вокруг, чтобы удостовериться, не стоит ли Иван где-нибудь в переулках, но никого не нашла, и у нее возникло чувство тревоги. Ведь все так твердо было договорено: брат подъезжает и ждет на площади.

Она вспомнила, что в Петрограде, когда вернулась от родителей, Рахья и Шотман долго расспрашивали ее обо всех деталях поездки. О том, как она говорила с отцом, что он ответил, с какой интонацией, какое у него было выражение лица. Она договорилась с Иваном и объяснила ему, где их ждать. Она помнила колкий, пронизывающий через стекла очков взгляд Шотмана и холодный и потому непривычный для нее взгляд Рахьи. «Ты понимаешь, Лида, за кого мы несем ответственность?»

И внезапный страх поднялся в душе: что же она теперь скажет Рахье, чем оправдается?

Рахья всегда ей говорил: в критическую минуту нечего рассусоливать, надо действовать, и Лидия вернулась на вокзал, пошла вдоль платформы к хвосту поезда. И тут ее окликнул Иван.

— Да что же ты делаешь, Ваня?

— Мне на площади стоять не разрешили. Я своей телегой вид порчу, и лошадь пугается машины.

— Ну, теперь гони вдоль состава к паровозу.

Иван вывел из-за кустов лошадь, запряженную в простую крестьянскую телегу, и они быстро поехали, обогнув перрон и вокзал, к началу поезда и стали в стороне. Но время, видимо, уже упущено: никого не было. А может быть, что-нибудь стряслось по дороге, еще на пограничном Белоострове?

Чтобы не привлекать внимание, она села на поезд в Петрограде. В Удельную — это всего три остановки — поезд прибыл, когда начинало темнеть, без пятнадцати девять, но она все же увидела в окно, что на перроне поодиночке стоят настороженные Рахья и Шотман. Они должны были сесть здесь. И в Белоострове ей стало ясно, что в поезде едет и четвертый их спутник.

Лидия старательно перебирает в памяти детали. Никакой сутолоки, свистков, криков, топота сапог не было. В Белоострове, как только поезд остановился, юнкера вошли в вагон, и двери закрыли. Проверка документов — и сразу таможня. Когда проверка закончилась и всем разрешили выйти, на перроне она снова увидела Шотмана и Рахью. Она прошла по перрону, чтобы размять ноги, но виду не подавала, что знакома с ними. Если случится непредвиденное и их схватят, она не должна вмешиваться, ей необходимо доложить как можно скорее об этом партии. Шотман стоял у следующего, третьего вагона. Лицо у Шотмана добродушное, почти улыбающееся, но Лидия видела: улыбочка эта как приклеенная, неживая. Дальше стоял Рахья. Ей хотелось подойти к нему, что-нибудь сказать, проходя мимо, коснуться его руки. Нельзя. Краем глаза, в неравном свете керосинового фонаря она видит: карманы у Рахьи оттопыриваются. Она даже немножко боится этой его страсти к оружию. И еще — чисто по-женски — она замечает: на пиджаке у Эйна оторвана пуговица, не забыть пришить! И все же Лидия не выдерживает. Она недоуменно поднимает плечи: «Где он?» Рахья глазами показывает ей: «Иди обратно, все в порядке». Она только еще замечает, что впереди состава нет паровоза..

И вот Лидия вместе с братом Иваном стоит и ждет. Стоит там, где было условлено — в конце платформы. Сейчас, в Териоках, паровоз на месте. Издалека она видит в освещенном окне кабины чью-то голову и догадывается, что это машинист Ялава. Если бы не удалось, он, наверное, не стоял бы так спокойно. Ждать. Лишь бы теперь их с Иваном не согнали с этого места. Шотман и Рахья ей сказали: ничего и ни у кого не спрашивать, ждать хоть до утра, пока кто-нибудь из них не придет.

Прошло уже пятнадцать минут. Волнуется, нервничает Лидия, Иван просто ждет: сестра так сказала. Иван знает только одно: прибудет Рахья и с ним какой-то дачник. Куда они запропастились?

Наконец, показывается какая-то фигура. Коротко блеснул отраженный от стекол очков свет. Шотман. У него нет времени на объяснения. Этим же поездом он уезжает в Гельсингфорс. Проходя не останавливаясь, он успевает шепнуть:

— Я проводил их до шоссе. Догоняйте.

— Давай, Иван, гони побыстрее.

Деревья почти смыкаются над головой вдоль узкой дороги. Темно. Во все глаза Лидия смотрит по обеим сторонам, но знает, что никого не увидит: услышав топот копыт, Рахья и его спутник наверняка отойдут в сторону, в тень. Подать знак первым должен Рахья. Лидия с братом едут в ночь, колеса изредка высекают искры из булыжной мостовой. Наконец знакомый голос Эйна:

— Стой!

Слава богу, вот они оба, целы...

Лидия видит: от черной стены деревьев отделяются две фигуры. Ленин и Эйно. И Лидия, на секунду теряясь, потому что с трудом привыкает к имени, которым в нелегальных условиях надо называть Ленина, говорит:

— Садитесь, Константин Петрович. Садись, Эйно.— И уже брату: — Ну, гони, Иван, теперь осталось ничего — всего девять километров...



2. КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Наконец свернули с шоссе. Была такая августовская темень, что, казалось, если бы не упорная лошадка, смело рыскающая в кожно и пользующаяся какими-то своими ориентирами в темноте, то поворота на лесную дорогу им ни за что бы не отыскать.

Сразу за поворотом началась тряска. Видимо, корни деревьев, прорезав неглубокие колеи, избурили дорогу и телега отвечала на эти неровности вздохами и постукиваниями. Ленин прыгнул с телеги первым, а потом Рахья и Лидия. Только семнадцатилетний Иван оставался сидеть, сдерживая лошадь, почувствовавшую облегчение и близкую кормушку. Деревья обступили дорогу с обеих сторон, но если посмотреть вверх, то на фоне безлунного неба читались спокойные в безветрии остроконечные вершины елей, редкие сосны, деревья серьезные, привычные к суровостям северных непогод.

По узкой дороге двигались так. Сначала на громящейся телеге ехал Ваня. За телегой в некотором отдалении шагал Ленин. Рахья пошел было рядом с ним, но спрыгнула Лидия, и Рахья чуть поотстал. Ленин вспомнил, как накануне ночью, открыв им дверь и пропуская вперед, Лидия словно невзначай коснулась руки Рахьи, и улыбнулся. Ленин хотел по привычке погладить бороду, но рука коснулась будто чужого лица: губы и подбородок были выбриты. И тут же, коснувшись голого подбородка, рука сразу скользнула к одному виску, потом к другому: паричок, который раздобыл Шотман, вечно отклеивался на висках, но на этот раз все было в порядке, а клей — шеллачный лак на спирту, которым актеры обычно клеят свои камуфляжи, — пузырек с клеем лежал в кармане.

Слева, довольно далеко, лениво гавкнула одна собака, потом другая.

— Это деревенские, — очень тихо сказала Лидия. Голос у нее был мелодичный, женственный.

И тут же размеренно и солидно откликнулся на зов деревенских собак какой-то пес поближе.

— Это уже наш встречает, Натти, — сказала Лидия. — Красавчик — по-русски собаку зовут.

— Красавчик? — удивился Ленин, и картавость, которая делала его речь запоминающейся, выходя на более свойский, домашний лад, стала заметна. — Очень интересная для собаки кличка. Семья у вас, товарищ Лидия, с большим воображением.

Слева, едва заметный в темноте, пошел легонький, из жердей забор — усадьба была уже совсем близка. Лидия объяснила:

— У нас вся усадьба обнесена забором, чтобы деревенский скот не заходил.

— А до деревни далеко?

— Может быть, с километр, но соседи к нам не ходят. У нас хутор. А им некогда. Деревенские в большинстве работают по найму или в городе. Земля не очень кормит.

Хорошо, что деревенские не жалуют эти места, подумал Ленин, будет спокойнее.

В конечном счете он сам обрек себя на такую жизнь, потому что тихой, обывательской не знал и не представлял. Он сам сделал выбор. Как давно это было! Его тогда звали Петербуржец, Старик. Нет, сделал выбор еще раньше. И всю жизнь тюрьмы, ссылки, эмиграция, переживания. А сегодня ему уже сорок семь, и вот опять: сыщики, парики, чужие имена. Но сегодня это может стоить ему жизни. Дорога ли ему жизнь? Дорога. Но еще дороже дело, на которое эта жизнь ушла и которое надо завершить, доделать то, что он обязан доделать — иначе жизнь растрчена. Подумать только — уже «завершить», а ведь студент Казанского университета, Петербуржец, Старик, — все это было так недавно, рядом, не прошло и тридцати лет. Тогда они только начинали свою борьбу. Начали — так казалось многим — как холодные академики. Кругом горячая молодежь, желающая идти в народ, поднимать его на бунт. А они, редкие тогда социал-демократы, русские ученики Маркса, почтывают и растолковывают учителя. Маркс многим казался скучноватым, рассудочным экономистом. Да, были горячие, бесстрашные головы. Тираниборцы, дерзкие герои. Люди-порыв. Люди-подвиг. Они то и доказали своим бескорыстным примером, что летучим штурмом, лихой кавалерийской атакой крепость самодержавия и буржуазии не взять. По Марксу и получилось: нужна долгая и планомерная осада. И нужна гвардия в войске — рабочий класс. Солидные молодые люди не стеснялись заглядывать в статистические отчеты, в списки уволенных с фабрик рабочих, а там на одного «потомственного» фабричного девяносто «потомственных» крестьян. Никого они не хотели выварить в фабричном котле. Тяжеловатый Маркс предсказал, что жизнь должна через этот котел пройти. И серьезные, вдумчивые юноши и девушки, так старательно писавшие рефераты по Марксову «Капиталу», пошли к фабричным заставам преподавать в воскресных школах, вести рабочие кружки, главным предметом которых стали логика жизни и Марксова логика борьбы — за свободу этих вываренных в фабричном котле пролетариев, за Россию без аксельбантов, против извращенного понимания путей борьбы. Крестьянская страна... «Крестьянам присущ коммунистический взгляд изначально». Какая чушь! Его тогдашние союзники искренне верили в это. И эlegantный Струве и энергичный Потресов, с которым он, Ленин, сблизился в те далекие годы на почве борьбы с народниками, оба еще марксисты, легалы, а оказались нерешительны в окончательных выводах. «Медленным шагом, робким зигзагом...» Эдакий умный буржуазный, профессорский марксизм. Не хочется господам жить в одной компании с «вываренными

в фабричном котле». И никуда дальше кадета он, Струве, и тогда не мог двинуться. И так всю жизнь: смелость выводов определяла настоящих друзей. Сейчас эти бывшие легалы — сколько раз они внутренне перекрашивались и переодевались, — став кадетами, меньшевиками, министрами, разглагольствуют с трибуны, потворствуют грязным слухам. Вот она — их родная, профессорская свобода. Вот настоящее лицо этих Струве и Церетели. В их «свободной России» — от кого свободной? от Романовых, но не от капитала, не от буржуазии, не от предрассудков, — в их «демократической России», он снова в подполье, снова в эмиграции. В «свободной России», когда не хватает аргументов, в ход идут клевета и штыки безусых юнкеров.

...Лошадь, резво шагавшая впереди, внезапно остановилась. Ленин увидел, как сидящий на телеге Ваня собрал вожжи и приготовился спрыгнуть на землю, чтобы открыть ворота, но Лидия его опередила.

— Почти приехали, — шепнула она, обходя.

Воротца скрипнули. Лошадка усердно потянула телегу. Серым пятном проплыла какая-то хозяйственная постройка, и ударила теплая струя нагревшегося за день молодого сена. Из другой постройки послышалась недовольная возня потревоженной птицы, сонно вздохнула, потершись боком о стену, корова. Звуки были самые мирные, привычные с детства. Умиротворенные звуки идиллической сельской жизни. И любой потомственный дворянин, измотанный городскими хлопотами, так бы и подумал: «Боже мой, на что уходит дни! Бросить все — и сюда, на лоно природы, лежать в гамаке, почитать Чехова и Аверченко». Но В. И. Ульянов, вождь российского пролетариата, член ЦК РСДРП(б), политический деятель, журналист, знал, что такое горький пот неблагодарной крестьянской жизни, и барствянные ленивые мысли ему в голову не приходили. Только со всей физической ощутимой тревогой возникло: «Как там в Питере?» Целый день оттуда не было никаких известий. А события разворачивались так быстро и круто, что иное промедление было подобно смерти. И что стало бы с ним, В. И. Ульяновым, скрывающимся по подложным документам на имя сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова, если бы в ночь с четвертого на пятое июля еще на полчаса, он только на полчаса задержался на Мойке в редакции «Правды»?

Сразу же за хлевом, примыкая к нему углом, стояла баня. Обогнув ее, телега остановилась перед низким домиком с одиноким окном, высветленным керосиновой лампой.

Их встречали.

— Это мама и отец, — предупредила Лидия.

Отец приподнял фонарь с одинокой свечой, который держал в руке, и при этом желтом незначительном свете Ленин разглядел немолодое лицо, массивную голову, мощную шею. У матушки, стоявшей рядом, со сложенными под фартуком руками, лицо было доброе: глаза спокойно и приветливо смотрели на гостей.

За последний месяц Ленин сменил уже десяток адресов и всегда, переезжая с одной явочной квартиры на другую, понимал, что хозяева этих квартир — большевики, его товарищи по партии, знающие, кто он и меру своей ответственности за его жизнь перед партией. А здесь впервые случай был особый. Он пришел в этот крестьянский дом, стоящий на окраине леса, под чужим именем, загримированный, в парике, с чужими документами, пришел к людям незнакомым, и сейчас многое зависело от него самого, от его такта, от его умения сходить

с людьми, от этой совсем молодой женщины, Лидии, которая вдруг удивительно твердо сказала, что в дом к ее родителям везти Ленина можно и нужно: в эти отдаленные места шпики и доносчики Временного правительства не доберутся, и она ручается, там ему будет надежно и спокойно. И думая об этом, Ленин подошел к встречающим его людям и, первый протягивая руку, услышал совсем юный голос Лидии, сказавшей по-русски:

— Вот, папа, писатель Константин Петрович Иванов, о котором я тебе говорила. Он хотел бы пожить у нас несколько дней.

Подавая руку, Ленин с обостренным чувством человека, по необходимости вынужденного обращать внимание на оттенки поведения окружающих, отметил, что рукопожатие у хозяина крепкое, четкое. В этом рукопожатии не было нарочитой энергии и неискреннего радушия. Ладонь была мускулистой и твердой от привычных мозолей. Рука хозяйки тоже была тяжелой, трудовой, но пожатие по-женски конфузливое и мягким.

Ужинали на кухне при свете керосиновой лампы. Когда садились за стол, Ленин заметил, что у всех здесь свои постоянные места, и постарался сесть так, чтобы никому не мешать. Хозяйка Анна Михайловна садилась ближе к печке, хозяин Петр Генрихович — во главе стола на венском стуле, который чуть поскрипывал под его грузным телом, а все остальные — на двух лавках вдоль стен. Ленин помедлил возле стола, сел на лавку к окну и тут же обратил внимание, что решилась какая-то маленькая семейная проблема: Лидия и Рахья, которые неуклюже и долго топтались у порога, сразу определились: Рахья сел на скамейку возле Ленина справа, а Лидия слева, ближе к окну. По тому, как Рахья и Лидия, проходя к столу, подчеркнуто старались двигаться по разным сторонам комнаты, а какая-то неведомая сила сближала, соединяла их маршруты, притягивала друг к другу, и тогда они снова демонстративно расходились, Ленин, как и прежде, подумал, что эти молодые товарищи находят что-то общее, взаимно их волнующее и кроме работы в одной партийке. И тут же заметил, что хозяйская семья, видно, крутенькая. Невысокий крепкий Рахья, не унывавший всю дорогу от станции до усадьбы и раньше от Разлива до Удельной, так невозмутимо воспринимавший обстоятельства, как будто подчеркивая всем своим видом: да не волнуйтесь вы, ради бога, для нас это — дело привычное, все кончится хорошо, а не кончится хорошо, так мы заставим обстоятельства, чтобы они повернулись хорошо (Ленин вспомнил, как не унывая, бесстрашно шел Рахья по болоту, потом по горевшему торфянику и даже не очень горевал внешне, когда, заблудившись, вышли они к какой-то станции. И тут молча: чего поделалась — надо! — Рахья отправился на разведку. Своей флегматичной походочкой прополировав дачный перрон, он, вернувшись, доложил: «Мы на станции Дибунь. Семь километров до границы. Усиленный патруль из десятка вооруженных юнкеров»), и вот этот доблестный Рахья здесь на кухне что-то оробел, и под взглядом хозяина его просто не узнать: и руку ему протянул во дворе робковато, и сейчас, когда все едят жареную картошку, сидит, помалкивает, предоставляя Ленину заводить и поддерживать разговор, выкладывает эдаким скромницей, милым, угодливым простачком, а не красногвардейцем и боевым товарищем. Да и Лидия, такая решительная и быстрая, так безостановочно щебетавшая с Рахьей и в Удельной и на квартире у Эмиля Кальске, Лидия, так четко и определенно сказавшая «да», когда Шотман и Рахья спросили, можно ли его, Ленина, отправить к ним

з деревню, сумевшая быстро съездить к родителям, договориться,—здесь, в отчем доме, слишком уж стесняются. Краснеют щеки товарища Лидии, все это, конечно, видят, но молодые стараются, чтобы их тайно-явные отношения — пожалуй, даже не для всех, а для ее родителей — казались бы отношениями выпускников классической гимназии. Видимо, строга у Лидии семья. Начинаясь двадцатый век сюда не дошел, а человеческие отношения решаются по традиции: познакомились, перемолвились, посватались, поженились.

Ленину приятно было наблюдать отношения молодых людей. Это рождало и свои какие-то удивительно юные воспоминания: нежность сначала к матери и сестрам, которую он пронес через всю жизнь и которая так поддерживала его в трудные минуты, а потом чувство к Надежде Константиновне — самому верному товарищу и единомышленнику. Ведь они с Надеждой Константиновной — как, судя по всему, Лидия и Рахья — узнали друг друга, выполняя общую партийную работу, их объединяло общее дело, да и поженились, находясь в одном состоянии — политических ссыльных. И Ленин дрогнул, вспомнив последнее свидание с женой.

...Трудный июль. В самом конце июня началось поражение русской армии на фронте. Волновались войска в Петрограде. Заводы и фабрики забастовали. ЦК дал лозунг превратить демонстрацию в мирную. Огромная демонстрация рабочих и солдат шла к Таврическому дворцу. Временное правительство, поправ право народа на демонстрации, вызвало юнкеров и казаков. В ту ночь разгромили «Правду». И тут же газетная клевета о шпионаже. После попытки подавить народ штыками — попытка опорочить его вождей. В этом, конечно, была маленькая обывательская логика.

Ну и что ж, буржуазная пресса знает, чей она жует хлеб. В маленькой информации, с которой начался обстрел партии, приведены и подробности. Господа буржуазные журналисты получили добротное воспитание. В детстве им, наверное, читали сказки Гауфа и сказки Перро. Они люди не без воображения и знают, чем потрясти своего читателя. Поручику Ермоленко офицеры немецкого генштаба дали, оказывается, такое же задание, как и вождем российского пролетариата: «Агитация в пользу заключения сепаратного мира с Германией». Вот так, не больше и не меньше! Оплата — по высшему разряду. Ах, как складно, как доказательно! Что за радость для лавочницы, для купчихи, для хозяйки трактира с отдельными кабинетами! Лавочница, наконец, может высказать все своей кухарке, которой солдат из пулеметного полка каждый вечер объясняет, как бы они зажили, если бы у них с кухаркой был клочок земли и, пока он, солдат, еще цел, закончилась бы война. Заскорузлый мужик в солдатской шинели распропагандирован главным большевиком Лениным! Это его идеи о немедленном конце войны! Это он излагал такие дурные мысли с балкона двора мадам Кшесинской. А как же ей, лавочнице, жить? Ведь в войну конъюнктура особая, цены растут!

Нет, она, лавочница, не царская любовница, не Матильда Феликсовна, которая по деликатности позволила, чтобы ее выставили из подаренного царем дома. Лавочницу голыми руками не возьмешь. Она знает свои права. Она выскажет все, что думает, об этих беспокойных порядках, об этой социальной несправедливости, будь она проклята. И не только кухарке. Что же у нее и газеты своей нет? Да пруд пруди у нее газет! И «Новое время», и «Новая Русь», и «Народный трибун». А кто читает «Пролетарское дело» и московского «Социал-демокра-

та»? Пускай оправдываются. У нас свобода печати. Нет, ее личные газеты ее не подведут. Ведь их и солдаты читают, и рабочие видят, пусть теперь большевики и схватятся, что кого ни зря в своих кружках грамоте обучали. Пусть все читают. А мы слухам поможем. Мы ведь тоже не без фантазии.

Ох, некругло у вас, господа, получается.

И солдаты не поверят, и крестьяне не поверят, и сознательные рабочие не поверят. Ни один здравомыслящий человек не поверит в правый суд этого правительства. Он, бывший помощник присяжного поверенного Ульянов, знает все уловки буржуазного суда. Разве ему нужен адвокат? Как бы в открытом судебном заседании расправился он с господами судьями, господином прокурором, с господами свидетелями! Каким бы судом обернулось все это для эсеров, меньшевиков, для всех господ, жаждущих истины. Какие удивительные истины о положении рабочего класса, о коррупции буржуазии, о том, кому нужна и выгодна эта война «до победного конца», сделал бы Ульянов достоянием буржуазной судебной гласности. Правы были его близкие и самые трезвые товарищи по партии: суда не будет. Его пристрелят раньше при попытке к бегству». Разве не найдет подходящего повода добропорядочная буржуазная Фемида, через щелочку в повязке наблюдающая за происходящим, чтобы, не дай бог, не обидеть своих? Он, Ленин, вождем российского пролетариата, понимал опытом революционера, опытом взрослого, много повидавшего человека, что на суд идти ни в коем случае не надо, но тот, с юности горячий Ульянов, Ульянов обиженный и оскорбленный всей этой публичной ложью, уже почти решил идти. Разве честь Ульянова не стоит его жизни?

Он вспомнил свою самую первую после 4 июля нелегальную квартиру на набережной Карповки у Марии Леонтьевны Сулимовой. Старые деревья на набережной, вход в глубине двора. Третий этаж чистого подъезда с кремовой и голубой плиткой на полу. А потом выяснилось, что при налете юнкеров на особняк Кшесинской, где помещался ЦК и Петроградский комитет, захвачены и документы военной организации партии, почти на каждом из которых стояла и подпись Марии Леонтьевны.

— Ну что, товарищ Сулимова, придут к вам с обыском. Вас в самом худшем случае арестуют, а вот меня, наверное, «подвезут».

Пришлось уходить. В тот день он поменял несколько адресов. А седьмого июля на квартире у Сергея Аллилуева наступил момент колебаний. Разве честь Ленина не стоит жизни Ульянова? Он сам приводил доводы за явку на суд. Хорошо, что так горячо возражала Мария, сестра. Хорошо, что настояли на неявке товарищи на совещании членов ЦК, состоявшемся здесь же, в квартире Аллилуева. Хорошо, что так настойчиво протестовал против явки Орджоникидзе. ЦК вечером принимает решение: Ленину оставаться на нелегальном положении. А еще днем Ленин говорил жене, что решил явиться на суд, давай попрощаемся. С каким же чувством она ушла? Как там она сейчас в Петрограде?

...За столом Ленина поначалу смутило молчание. Все ели молча. Только хозяин изредка что-то говорил по-фински, и тогда с места срывалась или Анна Михайловна или Лидия, и появлялся еще один нож, чашка, полная свежих ягод или хлеб. Но Ленин понял, что здесь царит еще одна крестьянская привычка: уважение к хлебу насущному, и потому все молчат, отвечая лишь на вопросы отца. Но самого Ленина хозяин, по врожденной деликатности, беспокоить вопросом не решался, а может быть, стес-

нялся своего не очень чистого русского. И Ленин решил начать разговор сам:

— Я слышал, Петр Генрихович, что вы раньше работали на заводе? Так, значит, снова решили крестьянствовать?

Хозяин с готовностью ответил:

— Дело к старости, Константин Петрович, видите, дети какие большие и взрослые, а ведь это не все: еще двое в Петрограде, да здесь трое малышей спят. Плохо мне стало в литейке. Там жарко, пить приходилось очень много, вот почки и начали сдавать.

— Ну и хватает, чтобы жить своим хозяйством?

Расспрашивая рабочих, крестьян, людей любых сословий, Ленин входил в азарт. Глаза у него сразу загорались острым блеском, и на внимательном лице появлялось то особое любопытство, которое появляется на лице естествоиспытателя во время важного исследования.

— Не хватает, Константин Петрович, ртов много. Мне приходится и землей заниматься, и печи по хуторам класть, и шорничать, и извозничать. Старшие ребята с землей помогают, но ведь здесь у нас не чернозем.

— Но, может быть, пока работали на заводе, что-нибудь поднакопили? Вы, кажется, мастером были? Должность серьезная. Усадьба у вас, как я заметил, пока ехали, не очень маленькая.

— Усадьба три гектара, но она принадлежит моему брату.

— А он у вас человек состоятельный?

— Он, наверно, удачливее меня и, может быть, умнее. Завод у него есть, на этом заводе я и работал.

— А мастер, специалист вы были хороший?

— Пришлось, Константин Петрович, пришлось быть и хорошим и добросовестным. Работал на заводе родного все-таки брата.

— Вот поэтому ваш хозяин-брат и богател,— сказал Ленин и очень дружелюбно рассмеялся.

Рассмеялся и хозяин, своей улыбкой дав всем команду для более непринужденного поведения. А Ленин, почувствовав прямотдушную открытость своего собеседника, продолжал:

— Я ведь, Петр Генрихович, тертый калач. Писатель по роду своей деятельности должен знать не только человеческое сердце. Пока я не очень верю, что ваш брат—ведь он капиталист—просто так, из братских чувств отдал вам эту усадьбу. Ну, ведь правда, не совсем из братских чувств?

— Ну, отчасти вы и правы, не совсем даром отдал,— не сумев скрыть смущения, сказал хозяин и нагнул голову над тарелкой.

Ужин закончился на удивление ладно и весело. Петр Генрихович принялся рассказывать Ленину, какие у них на редкость грибные и ягодные места. Что если бы не двенадцать километров от железной дороги, то от курортников не было бы отбоя. И все, уловив хорошее настроение хозяина, тоже стали хвалить места, грибы, соседние озера с купаниями, сенокосы. Даже молчаливый Ваня тоже вмешался в разговор. «Прямо за домом,— начал он объяснять преимущество этих сельских мест,— болотце, так там столько черники, что петух кур туда водит лакомиться ягодой».

И лица при этом разговоре у всех были хорошие, ясные. Только Рахья сидел чуть серьезнее обычного.

Ленин тоже поддался беззаботной стихии вечернего разговора, внезапно заметил, что у него появилось детское, легкомысленное желание, чтобы утро скорее наступило и он увидел бы и этих лаком-кур и озеро с таким заманчивым и волнующим

названием «Красавица». Он подумал, что ему здесь, наверное, будет спокойно. Передышка? Это, пожалуй, был у него один из немногих вечеров последней поры, когда его почти ничего не беспокоило. Может быть, слишком устал и перенервничал? Казалось, дружная атмосфера этой семьи, какая-то нереальная тишина вокруг, разливали умиротворение. Ленина смущало только одно: разговаривая, отвечая на вопросы, он иногда ловил на себе долгий и внимательный взгляд светлых глаз хозяина. И тут же, хотя привык к постоянной осторожности и собранности опытного конспиратора, успокаивал себя: «Все же новый человек в их глуши, ему интересно, приглядывается».

Когда была допита последняя чашка чая из самовара, хозяин сказал:

— Пора спать, Лидия, покажи Константину Петровичу его комнату.

С юности, хотя по природе был человеком общительным, Ленин любил одиночество. А так сложилось, что все последнее время он был на людях. Предыдущие сутки на квартире в Удельной вместе с Шотманом и Рахьей. За стеной плакал ребенок. Была тяжело больна жена хозяина. Дни в Разливе, споры с Зиновьевым, во время которых возникла трещина в отношениях, которую он не преодолел и—теперь понимал—навверное, и не преодолет, потому что споры возникали не вокруг личного, а по поводу главного—близкой социалистической революции, путей развития партии. Он ощущал желание собраться с мыслями, подытожить продуманное. И, кажется, здесь он это сделает.

В «его» комнату вел отдельный ход со двора.

Лидия зажгла лампу на столе у окна, и при ее свете Ленин увидел узенькую комнату с печкой, высокбленными до желтизны полом и стенами, аккуратно зашитыми стругаными досками. Перед железной кроватью лежал половичок. У стола стул венской добротной работы.

— Это «молочная» комната...

— ...Константин Петрович,— быстро перебил Лидию Ленин, увидев, что губы у Лидии складываются, чтобы произнести его настоящее имя.

— Это «молочная», Константин Петрович, комната,— виноватым тоном продолжала Лидия.

Может быть, она думала, что Ленин привык жить в хоромгах, приличествующих человеку, за голову которого Временное правительство готово отвалить такие деньжищи? И разве она не видела, как прошлую ночь проспал он на газетах? Он сам иногда удивлялся, как мало ему надо. В бывшей комнате покойной матери в квартире Анны Ильиничны, где они поселились с Надеждой Константиновной после приезда в Питер в апреле, стоял письменный стол, материнское мягкое кресло и две такие же—почти как здесь, в бывшей «молочной»—узкие кровати. И еще стоял платяной шкаф. Ленин тогда без всякой рисовки сказал: «Так как весь мой гардероб, имея в виду пиджак, умещается на гвозде, то лучше бы этот шкаф превратить в книжный».

Отчего же так переживает из-за скромности его временного жилища эта милая молодая женщина?

— Эта комната,— продолжала Лидия,— служила предыдущим хозяевам по назначению. У них, наверно, было несколько коров и здесь сцезивали творог, хранили сливки и отстаивали молоко, но у нас только одна корова.— Действительно, при одной корове и такой семье не до творога и сметаны—этой барской еды!—И мальчишки организовали здесь что-то вроде мастерской.

— Прекрасная комната, Лидия Петровна. Она мне очень нравится.

— Спокойной ночи, Константин Петрович.

— Спокойной ночи, Лидия Петровна.

Перед тем, как закрыть за Лидией дверь, он постоял на порожке. Тихо. Прибежал откуда-то из темноты Красавчик. Обнюхал, признал, потерся о колено. Потом отбежал на шаг, резко отряхнулся. Где он только рыскал? Невидимые брызги полетели во все стороны. «Мы были, наверное, такие же мокрые, когда заблудились по дороге из Разлива и лазили по болотам. Только не такие жизнерадостные». Снова тишина. Облака разошлись, открыв чистое, в горячих звездах небо. «А ведь когда-то,— подумал он,— я знал каждое созвездие. Все забыл». И тут же прогнал эту мысль. Наконец-то он остался один. Ровно и сильно забило сердце. Может быть, это состояние писатели и поэты называют вдохновением? Долгожданная, предвкушаемая работа, уже почти слаженная у него в сознании. Как не терпится за нее сесты!..

Он закрыл дверь.

День сегодня выдался нелегкий даже для него, привыкшего к трудностям и опасности. Надо бы ложиться спать, чтобы проснуться завтра готовым к работе. Утром, как он давно понял на опыте, ему работалось лучше всего, впрочем, ему всегда работается хорошо.

Ленин еще раз оглядел комнату. Его ждали: гость он не навязанный, а жданный — все чисто, выскоблено, белая занавесочка на окне, а лампа — он осторожно, чтобы не сбросить ненароком стекло, покачал ее — полна керосина. Ленин с некоторым сожалением — ведь решил спать! — посмотрел на вычищенную, с незакопченным стеклом лампу: после Разлива, где он был лишен удобств работы, к цивилизации, даже такой скромной, прихотилось привыкать заново, и с удовольствием подумал, что впервые за много дней растянется не на газетах, не в стогу сена, а на настоящей, как у всех людей, кровати. Он откинул в сторону одеяло и тут все же достал из бокового кармана пиджака заветную тетрадь.

Эту тетрадь он завел еще в Цюрихе. Весь последний период эмиграции его обостренно занимал вопрос о характере пролетарской государственной власти. Впрочем, само время с начала войны, с четырнадцатого года, подталкивало его к этому. К этому вела и логика его деятельности как философа и политика. Он всегда занимался насущными вопросами времени. Когда ослабели народники, пришел в Россию капитализм — и, как стало видно, настоящий, маховый, — разбита маховская чертовщина в философии, две революции отшумели над страной, окрепла и крепнет несмотря ни на что партия, то возникли и новые задачи.

Беседуя за границей с приезжающими товарищами, он предчувствовал новую революцию, как птица — скорый перелет. Но время подталкивало не только его. С теми, кто отстаивал полумарксистские, полуанархические взгляды на диктатуру пролетариата и государства, он сумел публично, через прессу, поспорить, но мысль о необходимости теоретической разработки его не оставляла. Надо было не только продолжить линию борьбы с царизмом, борьбу за права рабочего класса — это все было в резолюциях партии и этого он никому не собирался уступать, — но должна была произойти очистка от назревших нелепостей, теоретическое неверное отрицания «вообще» защиты отечества, шатания в вопросе о роли и значении государства... Тогда и возникла тетрадь синего цвета, куда он мелким почерком заносил, что говорили о государстве Маркс, Энгельс, сюда же он вписывал цитаты из Каутского и Бернштейна со своими замечаниями. Он привык

в трудные минуты обращаться к Марксу и Энгельсу, потому что с холодной объективностью ученых они вывели основные законы науки об обществе. История, которая творится повседневно, показала правдивость их выводов. Жизнь каждый день убеждала, убеждала со всей наглядностью, что идет, как предсказали они. И по этим законам собирается двигаться и дальше. Ленин с увлечением засел в Цюрихе в библиотеке, собрал почти весь материал для книги, но когда свершилась Февральская революция семнадцатого года, заторопился на родину, «в дело». Начались странствия через воюющую Россию: Германию, потом Швецию, окончившиеся на площади возле Финляндского вокзала. Но тетрадь пришлось оставить на полпути. В Россию придирчивый таможенный контроль мог ее и не пропустить. А для него тетрадь была очень дорога. Потому что это был его интеллектуальной и политической жизни. Из Разлива Ленин просил жену: если тетрадь из Швеции пришла, переслать ему в душевное озерное подполье. Но начинался шестой съезд партии, руководство им издавала отнимало все силы. А план будущей работы был уже ясен. Определился подзаголовок: «Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». Вырисовывался заголовок: «Государство и революция».

Еще не открывая тетради, Ленин вспомнил, как в Разлив к нему приезжал Орджоникидзе. Они говорили о том, что июльский переворот определил не только начало бонапартизма в России, но и крах целого ряда иллюзий. Россия с замечательной быстротой пережила целую эпоху, когда большинство народа доверилось мелкобуржуазным партиям меньшевиков и эсеров. И теперь началась жестокая расплата трудящихся масс за эту доверчивость. В этих условиях партия обязана думать о взятии власти. Он, Ленин, тогда сказал Орджоникидзе: меньшевистские советы дискредитировали себя; недели две назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они не органы власти. Власть у них отнята. Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит себя долго ждать. Восстание будет не позже сентября — октября. Ленин помнил ошеломленный вид Орджоникидзе. Как же так, нас только что расколоти, большевистский вождь сидит в стогу сена и предсказывает победоносное восстание. Но до этого должна совершиться большая, серьезная работа. Партия ясно и громко должна сказать народу правду, сказать, что при нынешнем, Временном правительстве народ не получит мира, крестьяне не получат землю, рабочие не получат восьмичасового рабочего дня, голодные не получат хлеба.

Ленин открывает тетрадь, и сразу же бросаются в глаза знаменитые слова Энгельса: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие».

Ну что ж, здесь есть над чем поразмышлять. Он напишет книгу не только об истинном учении марксизма о государстве и революции, но и о сегодняшнем дне. И сразу же вспомнился конец разговора с товарищем Серго. Он, Ленин, тогда сказал, что революция произойдет не позже сентября — октября. И тут же дал тактическую идею: «Нам надо перенести центр тяжести на фабзавкомы. Органы восстания должны стать фабзавкомы».



3. ЛИДИЯ

На ночь разместились так: хозяева с детьми в большой комнате с печкой, на ночь ее иногда подтапливали, поэтому все жались туда. Хозяин с хозяйкой на большой кровати возле окна в углу, на другой кровати у двери Эверт, Федя и шестилетний Вернер — трое младших; напротив печки на козелках, крытых досками, — Иван, а Лидию, старшую, приехавшую из Петрограда только по воскресеньям, положили, как обычно, в «зале».

Рахья, который за последнее время бывал здесь несколько раз, устроился по традиции на сеновале.

Лидия слышала, как быстро разделся и улегся Иван, младшие посапывали уже с вечера, потом дунула на лампу мать: под дверью в щели вспыхнул отблеск огня, и стало совсем темно. В доме было тихо, лишь с сухим треском лопнет бревно в венце да скрипнет задравшийся гонт на крыше. Привычно, тихо, спокойно. И вдруг она услышала, как в окно будто бы ударили горошиной. Сердце у Лидии екнуло. Она вскочила босой с постели и увидела: за окном маячила тень. Боясь скрипнуть половицей, Лидия подбежала к окну, прижалась лицом к раме: за стеклом лицо Эйно Рахьи. Знакомое, дорогое лицо. И тут же то ли вспомнила, то ли увидела его дерзкие, настоячивые глаза. «Иди сюда», — беззвучно, одними губами сказал Эйно и махнул рукой. Сердце у Лидии забилося сильнее, как всегда последнее время, когда она смотрела на Эйно или когда просто находилась с ним в одной комнате, но она испуганно сложила губы и нахмурилась, потом закрыла глаза: «Нет, нет». Эйно снова только губами прошептал: «Иди сюда». Лидия, придерживая рубашку на груди, помахала рукой, так же беззвучно ответила: «Это невозможно. Прошу тебя, Эйно, иди спать». Эйно медленно покрутил головой: «Не пойду» «Ну иди, Эйно». И так они долго еще стояли, и Лидия говорила: «Ну, пожалуйста, Эйно». А Эйно улыбался своей отчаянной веселой улыбкой и только губами отвечал ей: «Ни за что!» «Но ты же умница, Эйно. Ты все понимаешь», шептала Лидия, и вдруг на губах у Эйно прочла: «Ты молодец, Лидия. Ты настоящий товарищ, я тебя люблю». Или ей это померещилось? «Что? Что?»

И они оба продолжали стоять по разным сторонам окна, и под ногою у Эйно ни разу не хрустнул сучок или камушек, а в доме не скрипнула половица...

После того как она попрощалась с Эйно, сон не шел. Лидия лежала на узкой постели и думала о том, как изменился ее мир, когда в нем появился

Эйно. Разве ей нечего было вспомнить за свои двадцать пять лет? Она лишь выглядит такой субтильной. Ей все говорят: гимназистка, школьница. Хотелось бы ей взглянуть на тех гимназисток, которые работают с четырнадцати лет. Но, впрочем, у Лидии своя теория: потому и моложава, что стариться некогда — все время в работе. Пока парни росли и мама брала надомную работу, кто с братьями сидел и их нянчил? А как чуть подросла — правда, и сейчас не шибко высокая, кнопка, пигалица, — тут все завертелось: получила высокую специальность продавщицы и звание «барышни». Что у нее после рабочего дня больше болело: язык или ноги? «Благодарю, мадам», «Пожалуйста, мадам», «Что прикажете подать, мадам?», «Вы уже меряете восемнадцатую блузку, мадам», «Вы не будете покупать?», «Возможно, мадам, новую партию блузок мы получим в конце следующей недели». А после закрытия магазина все надо было убрать, разложить, вытереть пыль. С юности Лидия поняла, как возникает прибавочная стоимость. И все-таки ей повезло: выучилась на курсах счетоводов, потом стала бухгалтером и в пятнадцатом году уже работала в Скобелевском благотворительном комитете по помощи раненым. В комитет приходили солдаты, демобилизованные с фронтов. Бородастые, бритые. Молодые, старые. Женатые, холостые. Иногда ругались, кричали, ломали свои костыли, рвали на груди гимнастерки, бросали на пол заслуженные кресты на оранжево-черных лентах, иногда плакали, чаще просили. Газетные заниженные — чтобы народ не поддавался панике — сведения здесь приобтерали свой реальный, конкретный облик. Лидия иногда казалось, что целого человека на земле нет. За что они воюют? Солдаты тоже часто спрашивали: «За что мы воевали? За что?» Солдаты политэкономии ведь не изучали. Солдаты, если умели читать, сами изучали устав; если не умели, учили «с голоса». А в уставе о переделе мира между буржуазными государствами и монополиями в эпоху империализма ничего не сказано.

Во время работы в Скобелевском комитете Лидия встретила Эйно. Знакомы они были раньше — как знакомы между собой многие их соотечественники, покинувшие финские хутора в поисках хлеба и работы, — но тут встретились нос к носу. Отчего же она так внезапно покраснела? Был Эйно невысок, плечист, чуть выше нее.

И Эйно Лидию знал раньше. А тут пристально посмотрел, взгляделся. Глаза у него от удивления даже округлились. Но Эйно был парень находчивый, ему палец в рот не клади.

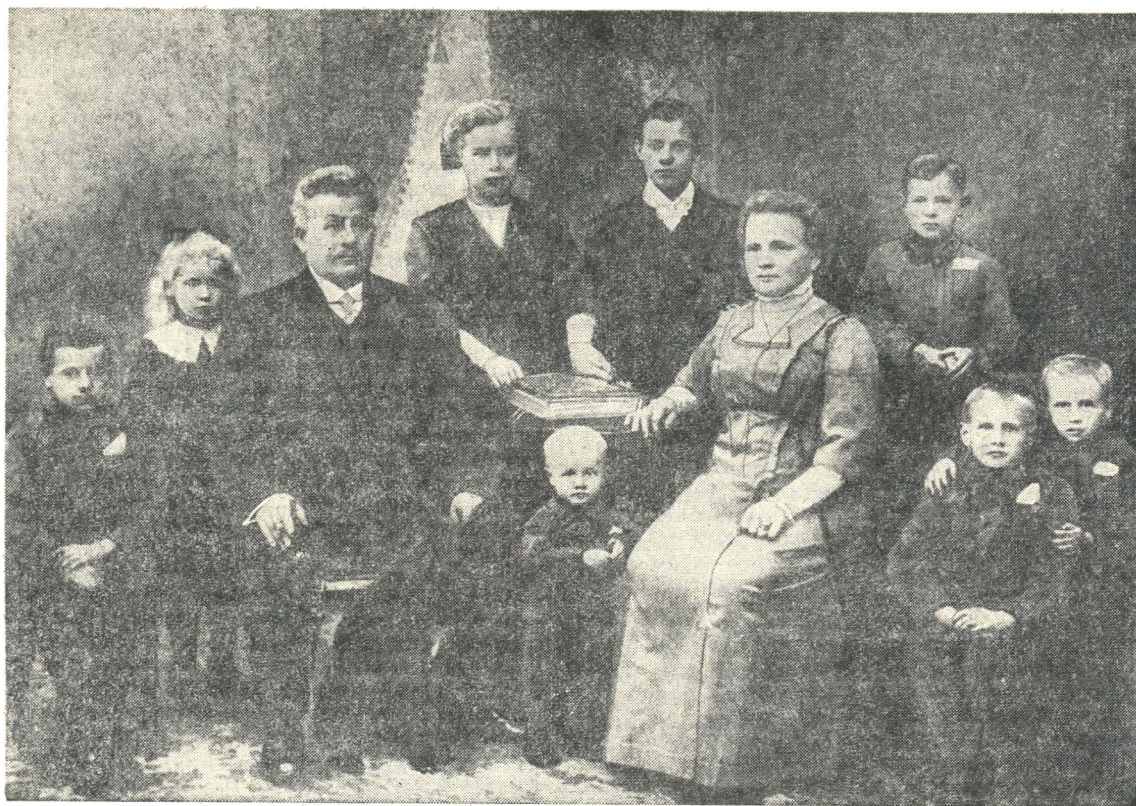
— Когда же ты успела вырасти, Люкю?

— Я старалась и росла, — сказала Лидия, подняла лицо и из-под пушистых ресниц посмотрела прямо ему в глаза. — Росла для папы с мамой. — И шевельнула плечом, будто собралась идти дальше.

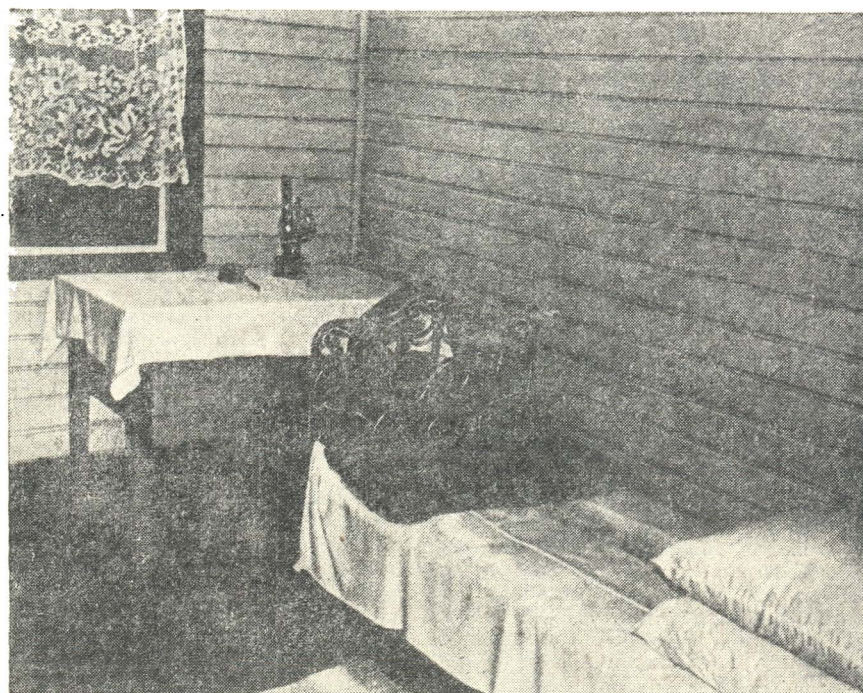
Но Эйно был человек упорный.

— Подожди, не торопись, папа с мамой тебя еще увидят...

Рахья жил на Кронверкской улице на Петроградской стороне, а Лидия в Павческом переулке, но по другую сторону Каменноостровского проспекта. В то горячее время они не только посещали митинги и ходили на демонстрации. Иногда они гуляли по Петроградской, иногда ходили на левую сторону Невы, смотрели «другую» жизнь: со швейцарцами, горничными в белых фартучках. Рахья «шлифовал» ее, Лидии, политическое образование. Теперь она, пожалуй, и сама, пусть и не совсем владея терминологией, могла объяснить отличие войн справедливых от захватнических. Лидия поняла из неторопливых



Эта фотография Парвиайненов была сделана еще до переезда семьи на хутор Ялкала в 1912 году, за пять лет до описываемых событий. В центре верхнего снимка П. Г. и А. М. Парвиайнены. Слева направо — их дети Володя, Анна-Мария, Лидия, Эдвард, Фердинанд, Иван, Эверт, и между матерью и отцом стоит тогда еще совсем крошечный Вернер. На фотографии есть и еще один «член» семьи — пес Натти, который уселся между своим хозяином и младшим его сыном.



Внизу — бывшая «молочная» комната.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАРОДНОЙ КОМИССАРИАТА
Петроград
24-го 1918 г. *Ульянов*

Дано напечатать удостоверение
Лидии Лидии Петровны
Парвиной, урожденной
д.д. Петровны, из Петрозаводска,
по Псковскому переулку, д. 24,
кв. 344, в рамах, 27-а в
Земельно-кадастровой пр.
визирован в 1918 г.
Пред. С. Н. К. В. Ульянов (Ленин)



Лидия Петровна
Парвиная.
Фотография
сделана накануне
описываемых событий.

РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
СОВЕТСКАЯ РЕПУБЛИКА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.
Москва, Кремль.
24-го 1918 г.

Ульянов

Касательно удостоверения,
данного напечатать сего, товарищ
Эйно Рахья, лично мне
лично известно и заслуживает,
как старый надежный партийный
товарищ, полного доверия.
Пред. С. Н. К. В. Ульянов (Ленин)



«Заслуживает
полнейшего доверия».
Так охарактеризовал
В. И. Ленин
Эйно Рахья.
В удостоверении,
написанном в
1918 году,
сказано:
«Настоящим
удостоверяю,
что податель
сего, товарищ
Эйно Рахья,
лично мне
давно известен
и заслуживает,
как старый
надежный партийный
товарищ,
полнейшего доверия.
Пред. С. Н. К.
В. Ульянов (Ленин)».
На снимке
справа —
Эйно Рахья.

речей Рахьи, что есть, конечно, русские, финны, латыши, немцы, евреи, французы, но есть и «всемирная нация» — пролетариат с его опытом классовой борьбы (о классах Лидия слышала уже раньше). А у Рахьи опыт был. С тринадцати лет он постигал классовый подход к действительности. И так четко этот подход себе сформулировал, что без колебаний стал членом партии РСДРП. Эйно принадлежал к породе людей, которые зреют рано, вступил он в партию в 1903 году, восемнадцати лет. К началу 1917 года он сильно обогатился опытом пропагандиста. И если девушка ему очень нравилась...

Рахья звал ее к себе в гости на Кронверкский, но Лидия была воспитана в твердых правилах и приглашала Рахью в гости к себе в Певческий, где жила вместе с братом, который начинал работать в Петрограде слесарем.

Со двора-колодца они поднимались по лестнице вверх.

— Ну, подожди, Лидия, что ты так торопишься, так бежишь, — говорил Рахья, — на лестнице давай постоям.

Но она — каблучки тук-тук! — бежала по бесконечному коридору в квартиру 344: маленькая комната, метров десять квадратных, кровать, оттоманка, за занавесочкой умывальник и посуда. Они сидели втроем: Лидия, Володя и Рахья. Пили чай. Рахья глядел на Лидию. Володя делал вид, что читает книжку, а сам наблюдал за «молодым человеком» сестры... Нет, пожалуй, здесь определенная ошибка в терминологии. Сначала все же был не «молодой человек», а товарищ, потому что товарищ Эйно Рахья (партибилет № 18) рекомендовал в партию товарища Л. П. Парвизайнен (партибилет № 162). В анкете при вступлении Лидия Парвизайнен написала: «Оружием владеть умею: ружье и револьвер». У Рахьи была мужская страсть к оружию. А может быть, классовая страсть к авторитарным средствам? У Лидии была страсть к Эйно. И если Эйно состоит в Красной гвардии, то владеющая оружием Лидия тоже в нее вступит. Мужчины так неосторожны, так невнимательны.

В июльские дни, после разгрома юнкерами «Правды», когда Временное правительство искало любых поводов, чтобы изолировать, арестовать большевиков, она не испугалась за себя. Она в первую очередь испугалась за Эйно. Уже арестовали его младшего брата Юкку — члена Петроградского комитета. Уже вожди партии ушли в подполье. Рахья все чаще допоздна сидел у нее в Певческом переулке, стараясь попозже возвращаться к себе на Кронверкскую. Они втроем — Лидия, Рахья и брат Володя — до глубокой ночи сидели и пили из самовара чай. Лидия смеялась, рассказывала о работе, не подавая вида, что все время прислушивается к шагам в коридоре.

Последнее время все чаще стал появляться в Певческом Шотман. Они о чем-то шептались с Рахьей. У Лидии на душе становилось тревожнее: она боялась за Рахью, за Шотмана, за партию, за Ленина, о котором черносотенные листки писали, что он веселится с дамами в Стокгольме или что на немецкой подводной лодке уплыл в Германию и там тоже веселится аналогичным образом — у черносотенных газеток воображение было на уровне их читателей. Газеты писали, а юнкера, по слухам негизетным, упорно искали его в окрестностях Петрограда, потому что шел шестой съезд партии, и по тому, как он проходил, по речам делегатов, по резолюциям, по позиции ЦК чувствовалась крепкая ленинская рука.

До июля Лидия уже близко видела Ленина, потому что с партийными поручениями бегала в особняк Кшесинской, где на втором этаже помещались ЦК и Петроградский комитет, была знакома с Надеждой Константиновной, но, главное, видела Ленина в незабываемый апрель, потому что Рахье в тот день было поручено вместе с другими товарищами обеспечить порядок на Финляндском вокзале. А разве она, Лидия, уже не была красногвардейцем? Порядок был образцовый. Она запомнила прожектора, с Петропавловской крепости освещавшие путь от вокзала до особняка прима-балерины Мариинского театра. Запомнила стальные глаза Рахьи на привычно-беззаботно улыбающемся лице, запомнила лица встречающих Ленина рабочих. И еще она подумала, по-русски про себя выговорив это слово, когда увидела Чхеидзе и Скобелева, в качестве официальных представителей Петроградского Совета заседавших в бывших царских комнатах: «Вот лица меры». Но тут же, разглядев приехавшего Ленина, с женской пристройной ревностью отметила: роста Ленин почти такого же, как и Рахья. Рахья, может быть, чуточку пониже.

Лидия старалась не слушать, о чем говорили Шотман и Рахья, но несколько раз упоминалось и ее имя, и каждый раз сердце у Лидии сжималось, потому что хотя она и владела оружием, но по характеру была трусиха. Она ждала, что какой-то разговор должен состояться и с нею, но сама не спрашивала, да и бесполезно: от балагура Рахьи и полсловечка не услышишь о партийных делах. И она, чтобы не мешать, старалась вместе с Володей куда-нибудь уйти, постоять на улице у подъезда, походить по переулку, подышать воздухом, да заодно и присмотреть: не идет ли кто-нибудь из непрошенных.

Наконец этот разговор состоялся.

Они были втроем: Эйно, Шотман и Лидия. Начал Шотман.

— Есть решение ЦК переправить товарища Ленина в Финляндию. Не смогли бы на несколько дней приютить его у себя твои родители?

— Конечно. Но это же Ленин, — растерялась она.

И тут встретила взглядом с Эйно. Он смотрел на нее так, как не глядел никогда, — потому что обычно на лице у него красовалась улыбочка, — жестко и требовательно.

— Мне надо спросить у родителей.

— Тебе сначала надо все решить и взвесить самой, — сказал Шотман. — Ленин поедет и будет жить не под своим именем. А ты ведь знаешь, что есть приказ Керенского об аресте Владимира Ильича. Такой приказ получил и генерал-губернатор Финляндии.

— Я в своих родителях уверена. Но ведь есть случайности.

— Случайностей быть не должно, — сказал Шотман.

— Случайностей не будет, — сказал Рахья и сразу же — он ведь недаром давал ей рекомендацию в партию, а может быть, он и знал ее лучше, чем она сама себя? — сразу же заговорил, как о решенном. — Ты ведь ездишь, Лююи, — до этого он называл ее так, ласковым финским именем, только когда, сбросив с лица бравую маску, начинал заикаться и все порывался что-то ей сказать, а может быть, спросить, — ты ведь ездишь по субботам домой повидать родителей. Поговори с отцом. Поговори, Лююи, — и посмотрел на нее так преданно и так нежно, что она поняла: в эти минуты решается не только важнейшее партийное дело, но, может быть, и вся ее дальнейшая жизнь.

— Я уверена в согласии отца, но я поговорю.

По субботам летом, сразу же после работы, она обычно уезжала к родителям — от Петрограда всего пятьдесят километров. И каждую субботу к станции за ней приезжал или сам отец, или брат Иван. Утром в воскресенье она ходила в лес, чтобы набрать ягод, которые увозила с собой — разнообразие в скромном рационе конторской барышни. Иногда успевала немножко помочь матери по хозяйству, но самое главное — бесконечная тишина, запах хвои, таинственная красота двух озер, куда она с братьями ходила купаться, давали заряд бодрости на целую неделю. А потом за субботу она успевала немножко подкормиться на деревенских харчах. Конечно, несмотря на все это, с большим удовольствием она осталась бы в городе вместе с Рахьей, но в семье свой порядок, и незамужняя дочь была обязана по субботам показываться родителям. Так сказал отец.

...Впервые она ехала по знакомой дороге с таким тревожным чувством. Белые ночи уже кончились. Но темнело еще поздно, и всю дорогу Лидия всматривалась в очертания пригородных дач, примечала рельеф местности, другими глазами осматривала дощатые перроны железнодорожных станций. Впервые с особым вниманием она вглядывалась и в лица попутчиков. Ехали рабочие, возвращающиеся из Питера после смены, много было железнодорожников, огородников, везущих с рынков пустые корзины. Эти жались ближе к тамбурам, но в основном публика была сытая, барственная. Девушки флиртовали с раскормленными гимназистами, хохотали, опуская пальчики в фунтики с орехами и рахат-лукумом. Пожилые чиновники, увешанные свертками и коробками от Елисеева, веселые дачники, едущие в город встряхнуться и почистить перышки. Читали газеты, обсуждали дороговизну жизни, беспорядки, возмущались положением на фронте.

Ближе к финской границе народа в вагоне становилось меньше, а на станциях больше юнкеров, жандармов, скучающих среднего возраста господ с тросточками, которые, расхаживая в светлых брюках по перронам, так старательно демонстрировали свою скуку, что все без исключения понимали, чем эти господа заняты на самом деле. И видя этих молодцеватых юнкеров, этих скучающих господ, Лидия понимала, что они здесь не случайно, что у них свои цели. Она представила себе, как быстро сбегутся эти люди, как сгрудятся возле «подозрительного», давно ожидаемого ими человека, и как через минуту разбегутся, превратившись в просто ожидающих свой поезд обывателей, а он единственный будет лежать на дощатом перроне. И страх все отчетливее заползал в сердце. Она знала, что должна справиться с этим страхом и справиться с ним. Но все равно, подъезжая к Белоострову — пограничной станции — и зная, что все документы у нее в порядке, она почему-то разволновалась. Не только таможенные интересы охраняются здесь, в Белоострове. В Финляндии, бывшем великом княжестве Романовых, давно уже существует какая-никакая, но конституция, есть легально действующие партии, некоторые свободы, позволяющие рабочему классу отстаивать свои права в легальных условиях. И в этом дарованном либерализме затеряться революционеру, конечно, легче. В Белоострове подробно, но не привлекая к себе внимания, к тому, что процедура проверки документов ее интересует — ее, конторскую барышню, скромно, но не без изящества одетую, с золотой цепочкой на шее, сдушую повидаться с родителями

ми, — Лидия внимательно наблюдает эту проверку. Юнкера один за другим прочесывают вагоны. Лидия ловит внешне небрежный, но цепкий взгляд чиновника, проверяющего документы. Зрачок обшаривает все поле бумаги: фотография, печать, нет ли подчисток; пальцы незаметно прощупывают плоскость бланка. Лидия волнуется: товарищи поедут здесь по подложным документам. Как же гулко будут стучать у них сердца! Ведь никаких сил не хватит стерпеть такое. «Что же будет?» — с ужасом и начинающейся паникой задумывается Лидия. И тут же возникает давняя картина: скучающие «дачники» по какому-то тайному знаку сбегаются вдруг к одному из чиновников, проверяющих документы. Сбежались, сгрудились, раздался выстрел...

Вежливый, вышколенный голос приводит ее в чувство.

— Пожалуйста, барышня. Можете ехать. Счастливого пути.

Паровоз дает третий гудок...

Она поговорила с отцом на следующее же утро по приезде.

Она выждала, когда они останутся одни, с глазу на глаз. Братья ушли ловить рыбу, мать возилась на огороде, а отец шорничал, разложив инструменты и драгву на табуретке, вынесенной из кухни.

— Папа, я хотела с вами поговорить.

Отец не поднял головы, старательно проталкивая кривую сапожную иглу сквозь старую, вытершуюся кожу, но Лидия увидела, как затылок его напрягся, потому что он не привык, чтобы старшая дочь так начинала с ним беседу. Он привык первым спрашивать своих детей.

— Я слушаю тебя, Люю.

— Папа, скажите, не мог бы у нас несколько дней пожить один петроградский писатель?

С такой просьбой дочь не обращалась к нему ни разу. Старый Пекка — так его звали друзья, — не выпуская иглы и не поднимая головы, думает. Но ведь она уже взрослая его дочь, она одна, сама пробивается в жизни — в большом и, как он знает на собственном опыте, безжалостном городе. У нее свои друзья, и она совсем не легкомысленна, его дочь, чтобы обратиться к нему с пустячной просьбой.

Он думает и проталкивает иглу через ветхую, расплзающуюся под острой сталью кожу (надо бы купить хомут, но столько «надо» в его многодетном хозяйстве). Пекка вспоминает литейку. Литейку в Москве, литейку в Петрограде на заводе брата. Газ, дым, смрад. На это ушли жизнь и здоровье. На дорожке за малинником раздаются голоса младших сыновей, возвращающихся с озера. Шесть лет, восемь лет, десять лет. А сыновьям уже приходится помогать отцу по хозяйству. Обрубить сучья, собирать хворост, носить воду скотине. Что их ждет? Литейка на заводе двоюродного брата и такие же, как у него, Пекки, обожженные горячим газом легкие? У Лидии свои друзья и, кажется, своя жизнь. Он уже навел справки о Рахье. Обходительный человек. Товарищ, друг. Но только, по его, Пекки, сведениям, где бы ни начинал Рахья работать, рано или поздно в этом месте всегда дело кончалось забастовкой, стачкой, вызовами армейских команд. У него, Пекки, другой характер. Он, Пекка, видимо, медведь, забившийся в свою берлогу. Пекка продает иглу сквозь кожу и спрашивает:

— А твой знакомый, Люю, — в голосе отца Лидия слышит легкую тревогу, — хороший писатель?

— Хороший, папа.

— А он рабочий писатель?

— Он, папа, пролетарский писатель.

— А скажи-ка мне, Лююи,— отец поворачивает голову и смотрит на Лидию совсем не суровым, а легким грустным взглядом, как смотрел на нее в детстве,— этот писатель твой знакомый или Рахья?

Лидия внезапно для себя — она сдерживается изо всех сил — краснеет. На мгновение опускает глаза и тут же твердо говорит:

— Это знакомый Рахья. Но я его видела, он приятный человек, и я знакома с его женой.

Отец улыбается. Старый и мудрый Пекка улыбается тому, как правильно он все понял и построил разговор. Эти молодые думают, что у них своя жизнь, которая непонятна им, старикам, даже тем, которые изучили их повадки с пеленок. Но если у детей свои тайны, то пусть думают, что никто эти тайны не знает.

Отец улыбнулся.

— Ну, если писатель такой хороший твой знакомый, то пусть поживет несколько дней у нас. У нас, как ты видишь, тихо, соседи далеко, любопытных нет, а матери я скажу, чтобы она освободила «молочную» комнату.

Лидии захотелось расцеловать отца, но в их семье это не было принято. Лидия сдержалась, не бросилась к отцу, сказала:

— Спасибо, папа, но у меня есть еще одна просьба. Можно, я уеду не вечером, как всегда, а сразу же после обеда? Иван отвезет меня на станцию.

— Но ты не наберешь ягод.

— Я наберу ягод в следующий раз.

С вокзала она почти бежала в свой Певческий переулок. И не успела с дороги умыться, как пришел Рахья. Был он одет по-воскресному: в светлом пиджаке, на жилете цепочка от часов, на голове легкая соломенная шляпа с невысокой тульей — просто фронт и только, а вот ботиночки в пыли: видимо, тоже ездил куда-нибудь за город. Лидия чуть ли не заплакала от обиды. Где он гулял? Но тут вспомнила, какое сейчас время, и все ему, если и виноват, простила.

Рахья внимательно выслушал ее рассказ, и опять, после тех волнений, которые она испытала, после того страха, который перетерпела за него, за Эйна, она чуть ли не обиделась, потому что, выслушав все — как она ехала по железной дороге, как торопилась обратно в Петроград, какие мысли ей приходили в голову, как разговаривала с отцом, — Эйна только усмехнулся и сказал:

— Ну что, разве мы с Шотманом не знаем Петра Генриховича? Я другого и не ожидал от него. — Но, увидев, как глаза у Лидии почти заволокли слезы — как все у него просто! — Эйна добавил: — Ты молодец, Лидия. Но это еще полдела. Нам нужно где-то укрыть товарища Ленина на сутки под Петроградом, поблизости от Финляндской железной дороги. Вот мы о чем с Шотманом подумали: у тебя в Лесном возле станции. Удельная живет двоюродный брат Эмиль Кальске.

— Он рабочий, из сочувствующих.

— Мы его с Шотманом тоже давно знаем. Язык он за зубами держать умеет.

— Он работает на заводе «Айваз».

— Там крепкие ребята. Любят, правда, красиво поговорить, но свои. Поезжай к нему.

— А ему можно сказать, кого он должен принять?

— Можно, можно.

— Только у Эмиля двухлетняя дочка и больная жена.

— Вот ты и поезжай проводить его жену. Хорошо?

Как всегда, Володя, ее брат, подходя к двери, начинал греметь ключом, шумно вытирать ноги о половичок. Так и тут. Не успела она ничего ответить, как поняла: вернулся брат. И все же, пока Володя возился с дверью, она успела шепнуть Эйно:

— Хорошо. Я поеду. Значит, мы завтра не увидимся?

И рисковый Эйна мгновенно притянул ее к себе и на ухо, щекоча усами, сказал: «Жизнь у нас с тобой будет большая, длинная, длинная, еще, наверное, успеем друг другу надоесть».

«Никогда!» — подумала Лидия, и сердце у нее вдруг сладко оборвалось.

Неужели она, Лидия, не заслужила своего Эйна? Не будь он в ней уверен, рекомендацию в партию ей бы не дал. В ее учетной карточке так и записано: «Рекомендует Э. Рахья». Однако она чувствует, что он дал ей рекомендацию и потому, что она ему нравится, да, нравится. И ей еще надо дорасти до своего Эйна. Надо, как и он, думать в первую очередь о делах партии. Но что она может поделать с собой, если не в силах разделить партию и Эйна?

Она уже запуталась: ради партии или Эйна выполняет трудные поручения? Но знает, в деле она не струсит, не проговорится, а если необходимо, готова и на последнее, после чего уже никогда не увидит ни отца, ни мать, ни братьев, ни Эйна.

На следующий день она сразу же после работы поехала в Удельную. Брат пришел только поздно вечером. Она помогла по хозяйству его жене. «Я ведь приехала», — говорила она, — чтобы проводить вас». С братом, когда он пришел, сумела договориться быстро.

— Эмиль, — сказала она, — есть решение переправить Ленина в безопасное место. А ты знаешь, что Финляндия может стать Финляндией, только если большевики возьмут власть. Партия большевиков нуждается в твоей помощи.

— А ты разве член партии, Лида?

— Да, — сказала она твердо. И впервые возник у нее холодок уверенности в себе. — И говорю с тобой по поручению товарищей. Нам нужно, чтобы сутки Владимир Ильич прожил у тебя. Об этом никто не должен знать. Я осмотрела все вокруг, у тебя отдельный вход, в квартире нет соседей. Ты будешь ждать их вечером в тот день, когда тебе скажут. Ждать возле окна и, как только они войдут во двор, открыть дверь подъезда и дверь в квартиру. Сможешь ли ты это сделать?

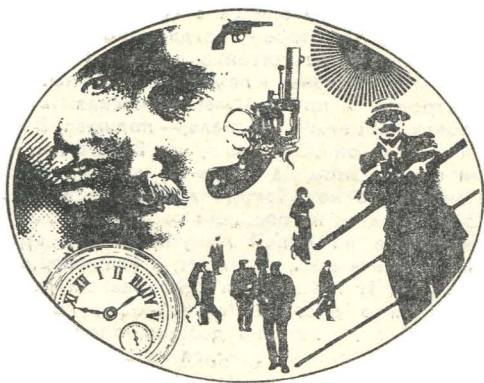
— Я смогу, Лююи, и жена сделает все, как я скажу, — ты же знаешь, в финской семье жена особенно не рассуждает, — но я сейчас работаю в ночную смену, а если отпрошусь, это может вызвать подозрения.

— Отпрашиваться не надо. Ты поговоришь с женой, а встречать нашего гостя и товарищей буду я сама. Я вне подозрений, я родственница.

...Она приезжала с работы, быстро убирала квартиру, кормила больную и ребенка и становилась к окну. Из окна был виден кусок двора, тусклый фонарь при входе, кусочек улицы, затененной деревьями. Лидия стояла в глубине комнаты и до боли в глазах гляделась в темноту. Вслушивалась, не раздадутся ли осторожные шаги, не скрипнет ли кафелька. Но никто не пришел ни в первую назначенную ночь, ни во вторую. Утром она едва успевала попить чаю и бежала к поезду, чтобы не опоздать на работу. Хорошо, что каждый раз ей удавалось сесть в вагоне на скамейку. Читать не было сил.

Она устраивалась ближе к окну, в уголок и, пока дремала, все же краешком сознания контролировала себя: держаться надо было прямо, достойно, не приваливаться к соседям. Лидия приезжала в свой комитет и сама удивлялась, как она умудряется не делать ошибок. А вечером спешила на вокзал.

Наконец, на третью ночь Лидия увидела у калитки тень. Человек приоткрыл калитку, а Лидия все колебалась. Когда мелькнула чуть сутуловатая тень Рахьи, подумала: «Слава богу, целы, невредимы», — и осторожно, босиком сбегала по ранее сосчитанным, чтобы не споткнуться в темноте, восемнадцати ступенькам и открыла дверь...



4. ЭЙНО

После разговора с Лидией Эйно Рахья несколько минут все же подождал: не скрипнет ли в доме половица, не мелькнет ли за стеклом белая тень, не вздохнет ли открывающаяся дверь. Но все было тихо, никто к нему не вышел, и Эйно Рахья с отчаянной досадой надвинул шляпу-канотье на лоб. Он невольно улыбнулся, представив себя со стороны: эдакий петроградский фронт с усами, в модной шляпе и жилетке с часами. Но конспирация есть конспирация. Лихой фронт едет в полном параде в деревню показываться теще и будущей родне. Кто подумает, что фронт начинен револьверами? Эйно надвинул канотье на лоб, словно картуз, и через репейники, кусты малины, росшие за домом, по коровьим пюхам, по огородам — береженого и бог бережет — пошел на последний обход усадьбы. Он шагал осторожно, бесшумно, и только вездесущий пес Натти, демаскируя гостя, бежал впереди и еле слышно бил хвостом по сухим ветвям кустарника: чего бродит этот веселый человек?

Все было спокойно. Окна плотно закрыты от поздних комаров, всюду темно, и только в бывшей «молочной», куда поселили товарища Ленина — Рахья и про себя называл Владимира Ильича не иначе, как с добавлением слова «товарищ», ему нравилось это слово, его звучание и его смысл, — и только в окне товарища Ленина горел свет.

Кругом было тихо, только чуть поскрипывали деревья от начинающегося ветра, дождик прошел, и тучи расходились: значит, завтра будет хорошая погода. Эйно постоял возле слабо мерцающего окна, и почему-то окно это, одинокое среди темноты, напомнило ему маяк в Кронштадте, когда подплываешь к городу с моря и вдруг далеко-далеко показывается огонек. Родной город, место рождения Рахьи. Правда, при воспоминаниях о Кронштад-

те Рахье всегда хотелось сжать кулаки, но день сегодня у него был удачный, добрый, и Эйно решил сейчас о Кронштадте не вспоминать, дабы не омрачать себе настроение. Эйно еще посмотрел на слабый огонек в окне, представил себе товарища Ленина, склонившегося над столом, и внезапно застеснялся, будто бы взгляд мог проникнуть через легкую шторку и помешать товарищу Ленину в работе. А ведь Емельянов, Шотман и он, Рахья, рисковали жизнями, старались безопасными путями вывести товарища Ленина сначала из Разлива, потом из пригородов Петрограда — все почему? Потому что товарищ Ленин был вождем их партии, не только старшим товарищем, которому по уставу они должны были подчиняться, но — и это главное, из-за чего вся партия охраняла Ленина, — потому что он один за своим столом или на митинге мог делать за них ту работу, которую никто больше сделать не мог.

И застеснявшись, что так неотрывно смотрит он на окно товарища Ленина, смутившись из-за своих мыслей, непривычных и показавшихся несомненно-возвышенными и книжными, Эйно Рахья потихоньку, все так же сопровождаемый праздным в эту ночь Натти, обогнул дом теперь уже с другой стороны и мимо крошечной веранды, по тропинке, мимо темнеющего в ночи гумна, где молотили хлеб, пошел к расположенному почти на другом конце усадьбы сараю, где был устроен сеновал.

Эйно Рахья был доволен собой. Начавшуюся еще в детстве битву с мировой буржуазией он ведет очень успешно. Мы-то вытерпим, думал Эйно, но каково вам, непривычные к битью господа? Чувствительно? Так всегда, поначалу не болит, прихватит потом. Эйно ведет на буржуазию тотальное наступление. В этом смысле он не сын своего отца. У Эйно нрав повеселее. Просто он достаточно нагляделся на папану.

Я не папаня, размышляет Эйно. Это он сменил одно ярмо, которое не кормило, на другое, которое кормило впроголодь. Из финского крестьянина стал кронштадтским плотником. За тридцать лет работы прибавку выслужил. Когда приехал — двести копеек в день получал, стал загребать рубль двадцать. Прогресс. На всех: на жену, на себя, на двенадцать человек детей. Хорошо, что нашелся благодетель, генерал-майор в отставке Гончаров, генерал и владелец дома, угол дал. Когда генерал благодетельствует, в корень надо смотреть: за гнилой угол финн-дворник — вымести, полить, за порядком смотреть, зимой снег откинуть, за воротами приглядывать. Еще тридцать копеек получал. Да при таких деньгах капиталистом можно стать. А уж социалистом — непременно. Здесь только важно в свой, в рабочий социализм попасть. Вот теперь, в августе, некоторые рабочие восторгаются, как социал-революционеры Виктор Чернов и Борис Савинков распинаются. Витии.

Товарищ Ленин, после ухода с квартиры Эмиля Кальске, спрашивает Рахью: это надежный товарищ? «Как стена надежный, хотя и социал-революционер, эсер». Как же они с Шотманом решились сюда прийти? Да он, отвечает Эйно, такой же эсер по своей сути, как Эйно китайский император. Таких эсеров сейчас среди рабочих пруд пруди. Ведь Эйно все же на заводе мастером долгие годы работал, некоторые даже поговаривали, что Рахья охранке помогает. Это хорошо, улыбнулся при том разговоре товарищ Ленин, что так поговаривают, это для дела полезно. «И вот ответственно могу заявить: рабочие битой своей спиной быстро доходят до того, что за словами стоит...» И опять тесно-

ришу Ленину это очень понравилось. Но ведь Эйно не из головы все это берет, не фантазирует. Он, Эйно, тоже через битую спину стал думать о мировоззрении. Когда с тринадцати лет работаешь, то мировоззрение быстро вызревает. А когда тебе в одном месте недоплачивают, в другом бьют, в третьем беззастенчиво грабят, начинаешь понимать, что смысл есть держаться только за социал-демократов. У Эйно весь паростаж вымощен нелегалкой, тюрьмами да стачками. Нас любимый город Кронштадт наглядно распропагандировал. На центральной улице: бархатная сторона — для господ офицеров, вообще для господ, ситцевая сторона — для быдла, для матросов, для мастеровых. Чем не социальное равенство! В конце концов все же одна улица, общее солнце, общая проезжая часть. А разве не все мы рождаемся сопливыми? Какой-то знаменитый адмирал придумал: родина должна запомниться матросу, если он весной уходит в плавание, цветущей. И засадили городок каштанами, жасмином, сиренью — все в начале лета цветет, благоухает. Только родина запоминалась Рахье двумя сторонами одной улицы. А собор? Пять тысяч человек сразу входит. На полу — мозаикой — водоросли, медузы, наверху в бездонном куполе кресты золотые, как небесные звезды. А Кронштадтский сад? Прекрасной и благоуханной должна запомниться матросу родина. Только Рахье запомнилась она другой. В двадцать лет, когда за социальную активность уволили его с Пароходного завода, то ни одно предприятие города не взяло хорошего слесаря: «У нас и своих социально-активных в избытке». А вот в Петрограде — прощай жасминный край! — на Финляндской железной дороге начальство было либеральнее — предоставили «квалифицированную» работу чистильщика паровозов. Вообще Рахье всю жизнь не везло: чуть на новом месте поработает, чуть с людьми сойдется — обязательно начинается стачка. Да разве один Рахья бастует, разве он один выходит на стачку? Но после забастовки почему-то Рахью с работы выгнали. За что? Раб и обязан восставать. А ведь это утомительно каждый раз менять плацдарм для матча с мировой буржуазией. А уж если вытурили с просторов Финляндской железной дороги, то Эйно ничего не оставалось, как перенести свои маневры воистину на мировую арену. И откуда только мировой капитализм узнавал о мировоззрении рыжеватого финна из Кронштадта? Эйно вроде капитанам о мировоззрении не докладывал, а если команда бастовала, при чем бедный финн? Они бы лучше следили за матросским бытом, за жратвой, за тем, чтобы жалованье платить настоящее. Сплошное безобразие у буржуазии: пока на английском судне шли в Конго, трое матросов умерло. И господа хотят, чтобы это им сошло от уроженца ситцевой стороны? Пришлось бедному финну не по своей воле сходить в Кардиффе. Устроился матросом на шведское судно. Пока плыли, четыре раза бастовали. А ведь в сутолоке можно и господина офицера ненароком зашибить. А зачем сразу в тюрьму? Хорошо, что Эйно такой спокойный — в тюрьму так в тюрьму. Российские тюрьмы видел, посмотрю теперь и бельгийскую. И в Российской империи нет порядка и в Бельгийском хваленном королевстве. Надо порядок наводить. Но все равно мы свой, мы новый мир построим. Еще будет на нашей ситцевой стороне праздник. Мы еще спляшем кадрили с выходами на нашей скорой с Лююи свадьбе. Вот сперва добудем для всех на земном шаре равенство, свободу и счастье... Правда, Натти, правда, Красавчик?..

Веселый пес Натти, несколько удивленный вниманием, которое неожиданно-негаданно свалилось на

него сегодня, не очень вслушивался в то, что бормочет его спутник. В принципе Эйно псу Натти нравился, и поэтому Натти очень изредленно по-дружески помахал хвостом, что на собачьем языке сейчас обозначало: «Верно. Я с вами совершенно согласен. Вы совершенно правы».

Эйно Рахья, прошлую ночь неплохо прославший на полу, на газетах, среди которых, естественно, находились и буржуазные и даже бульварные, был приятно удивлен, что чья-то заботливая рука поверх свежего, пахнущего летним травостоем сена бросила большую овчинную шубу. Эйно аккуратно разложил шубу, расправил огромный, почти в аршин воротник, лег на одну полу и прикрылся другой, но сразу уснуть не удалось. Бельгийский браунинг в левом кармане пиджака впился в левый бок, а бельгийский браунинг в правом, когда Эйно повернулся направо, впился соответственно в правый бок.

В брючных карманах лежало еще несколько обойм патронов и прочая металлическая мелочь. «Не человек, а целый арсенал», — подумал Эйно и вспомнил: когда он обнаружил, что Вани с лошадей нет, они с Шотманом на какое-то время растерялись. Почему его нет? Твердо ли договорилась Лидия? Но ясно одно: на площади перед вокзалом оставаться нельзя ни одной минуты. И они втроем сразу же пошли в тень, под мост, к начинающемуся за ним шоссе. И тут же они с Шотманом решили, что это какая-то досадная случайность, не более. Хвостов за Лидией быть не должно, операцию они провели чисто. Шотман вернулся на вокзал — попытаться отыскать Лидию и ехать дальше в Гельсингфорс, чтобы найти для товарища Ленина нелегальную квартиру подальше от юнкеров Керенского и с более доступными способами общения с ЦК в Петрограде. А Рахья вместе с товарищем Лениным пошли по дороге вперед.

Эйно, хотя и знал дорогу, но никогда не ходил по ней ночью. И как случилось даже у более крепких, чем Эйно, людей, воображение стало раскручивать разнообразные замысловатые картины. А вдруг сейчас из темноты, из кустов... Но нет, он, Эйно, не такой дурак. Запросто товарища Ленина он не отдаст. И свою жизнь он тоже не собирает отдавать за понюшку табаку. Ему еще надо жениться на Лююи, маленькой женственной Лююи, верном товарище, доброй и бескорыстной... И тогда, чтобы как-то успокоить себя, Эйно достал из кармана браунинг и твердо сжал его в кулаке. «Эй, нет, товарищ Рахья», — слышит он рядом негромкий и, как ему кажется, насмешливый голос товарища Ленина. — ЦК поручил вам провести меня безопасным путем, вот и ведите. А оружие на безопасном пути ни к чему».

Рахья думает: «Какой характер, какая выдержка». А он, Рахья, еще считает себя опытным подпольщиком. Ему еще учиться и учиться. Учиться, как говорят, никогда не поздно. А у него четыре класса в сумме. Два русской школы, два церковной финской. Хорошо, что хоть русским языком владеет с детства, как родным. Как много знает он, Рахья, молодых талантливых ребят из рабочих, которым если бы образование, если бы не этот каторжный изнурительный труд... Ну, ничего, думает Рахья, наш век уже близок. Не всегда нам ходить под ярмом и жить в казармах по десять человек в комнате. И сегодня еще один удар по буржуазии нанесли они — Рахья, Емельянов, Шотман, спасая товарища Ленина от преследований шайки Керенского. Лично он, Рахья, уверен — оглушительный. Свою часть операции вместе с Шотманом и Лююи они выполнили четко. И как всегда, когда дело бывало выполнено хорошо, Рахья с удовольствием вспомнил один

за другим все эпизоды его подготовки и проведения.

А на кого Шотману можно было опереться, когда он получил задание ЦК перебросить товарища Ленина в Финляндию? Только на людей, которых хорошо знал. Не просто знал по собраниям или по гулянкам. Они достаточно протрубили вместе на фирме «Сокол» в Гельсингфорсе: Рахья — слесарем, Шотман — мастером. Рахья выдержит, Рахья не подведет, Рахья не проболтается. Да и опыт Рахьи на Финляндской железной дороге тоже кое-что значил. Его каждая собака там знает, и он каждую собаку; и, кроме начальства, все относятся там к Эйно хорошо. А когда начальство что-нибудь значило в таких операциях?

И все-таки сначала они попробовали другой, как им казалось, менее опасный путь. Два раза они переходили границу под Сестрорецком. Их оба раза встретили — корректно, но добросовестно проверили документы. И они поняли: ждуть! А слухи, что товарища Ленина скрывают под Сестрорецком, становились все настойчивее. И тогда оба — и Шотман и Рахья — решились на давний, испытанный ранее вариант. Ведь в конце концов недаром каждая собака знала Рахью на Финляндской железной дороге, и недаром он, Рахья, работал на дороге в бурный пятый год. А в шестом перевозил вместе с машинистом Ялава участников революции. Простенький они разработали способ. В Белоострове, когда запирают вагоны с пассажирами и у машиниста с кочегаром проверяют документы, паровоз идет на дозаправку водой. Возле водоканчки в поезд садится новый «кочегар». Перед самым третьим звонком появлялся паровоз, старый кочегар прицеплял к нему состав и нырял, чтобы не отвечать, в первый вагон. «Прощай, немытая Россия...» В Финляндии конституция, под сенью которой пролетариат может легально насыпать солицы под хвост буржуазии.

Единственное, в чем сегодня сложность, — ошибиться, промахнуться нельзя. Но ведь тоже чуть не промахнулись. Когда уходили из Разлива, вместо Левашово попали на приграничные Дибуну. Товарищ Ленин их ругал: «Конспираторы. Не могли позаботиться достать карту трехверстку». Погода все лето стояла жаркая, горел торф, было смрадно, дымная мгла, и только выбрались из торфяника — надо переходить вброд реку. Он, Рахья, приглядывался к товарищу Ленину. Уже слышал его несколько раз на митингах, читал его статьи, а тут он наблюдал другого товарища Ленина. И этот Ленин нравился ему чрезвычайно. Когда подошли к речке, они с Шотманом видят: делать нечего, надо раздеваться и переходить вброд. А тут Емельянов говорит по своей душевной простоте: «Владимир Ильич, давайте мы вас через реку перенесем». Рахья аж весь заледенел, когда услышал. Ну, подумал, сейчас будет... Товарищ Ленин так на Емельянова глазами сверкнул, что тот, наверно, на всю жизнь запомнил. Нанулся Ленин, стал ботинки развязывать.

И в Дибуну вчера тоже потребовалась выдержка. Емельянова на платформе взяли контрразведчики. Скандал идет. И выхода у нас нет: поезд на Петроград в этот день последний. Но Емельянов молодец, отвлекает от нас. А мы сидим в канаве, в кустах. Ситуация такая, что нельзя бежать, скрываться. Некуда. Надо сидеть и ждать. И товарищ Ленин, — будто настоящий, как Рахья, финн, — держал беспокойство, волнение в себе.

А уже в поезде — надо ехать в разных вагонах — отстал Шотман. Шотман в очках, видит плохо, перепутал и на одну остановку раньше вышел. Идем по Удельной, всюду темно, прохожих нет. Что с нашим товарищем, не знаем. И тоже товарищ Ленин не по-

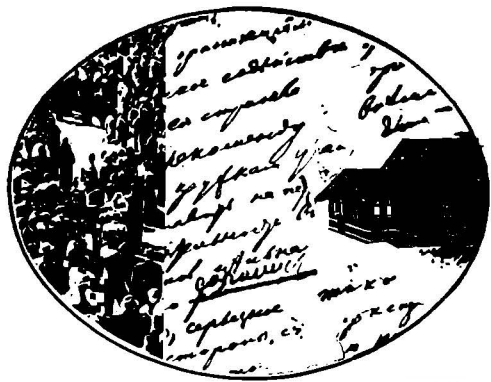
казывал, что волнуется, хотя волновался за обоих: и за Шотмана и за Емельянова, и когда в шесть утра появился Шотман, Ленин сразу же Шотману говорит: надо узнать, что с Емельяновым, и предупредить его жену Надежду Кондратьевну.

Ох, если бы ему, Рахье, немножко грамотишки. Чтобы хоть отдаленно походить на этого человека. Все у товарища Ленина и легко и верно получается, будто обо всем знает наперед. И что сказать и как найти верный тон. Не успели они вчера войти в квартиру Кальске, Лидия заторопилась с их ночлегом. Стала перетаскивать свою постель на пол. И товарищ Ленин сразу:

— Женщины и дети продолжают спать, а мы с товарищем Рахьей на газетах, на полу. Газеты — удивительно теплая штука. Товарищ Рахья просто не согласится спать по-другому. Верно, товарищ Рахья?

А ведь он, Рахья, растерялся. У Кальске сказал это первым товарищ Ленин.

Рахья, перебрав в уме весь свой путь от Разлива до этого сеновала, начал засыпать. Пахло деревней, покоем, здоровьем. Перед тем как окончательно оторвать от себя день минувший, Рахья подумал, что вот тридцать с лишним ему лет, работа, разъезды, тюрьмы, а свое маленькое домашнее счастье он почти упустил. «Лююи, — засыпая, шепчет он. — Ты молодец, Лююи», — шепчет Эйно, и ему снится, что вместе с Лююи в Кронштадте подходит он к дверям большого собора, вмещающего пять тысяч человек. Он, конечно, в жилете, с цепочкой. Лююи вся в белом. Дверь открывается, и вместо священника выходит полицейстер: «Инородцам вход запрещен. Проваливай...»



5. КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Ленин проснулся, как привык просыпаться и в Разливе, раньше всех, с восходом солнца. Из-за занавески выглядывало утро. Деревья стояли в росе, трава казалась тяжелой, темно-зеленой. Ленин проснулся, и первая же мысль была о книге. Он обрадовался, потому что по опыту знал: такая глубинная погруженность в материал говорит, как легко и быстро работа пойдет, впрочем, в писательском деле случалось по-разному. Но пока Ленин немножко, даже несколько искусственно отдалил, отвел от себя уже готовые фразы и абзацы. Он осторожно открыл дверь, вышел и со двора потянул на себя дверь кухни, где они вчера ужинали.

На кухне дверь не была заперта. Двигаясь на цыпочках, потому что утренний сон особенно чутко, а

за бревенчатой перегородкой спала хозяйская семья, Ленин набрал в кружку воды из ведра, прикрытого дощечкой, и пошел к себе бриться.

Из осколка зеркала глянуло на него чужое безбородое уставшее лицо. Кожа, хотя он и хорошо отдохнул, была сероватой и лишь глаза ему понравились: живые, как можно было бы пошутить, — «с искрой пролетарского оптимизма». Глаза определенно повеселели с того времени, когда он так же холодной водой брился на квартире Сергея Аллилуева. Тогда, 9 июля, на него смотрело привычное лицо с бородой и усами по моде его юности. Впереди была неизвестность, длинный маршрут по городу, в котором его слишком многие знали, встреча на условленном месте с сестрорецким рабочим Емельяновым и перрон, на котором наверняка толкались несколько ретивых сыщиков. Аллилуев принес воды, и Ленин, глядя в небольшое овальное зеркальце в простенькой буковой рамке, намылил усы, бороду и, обжигаясь от боли, яростно начал бриться.

Определенно с того времени глаза у него повеселели. Прошедший месяц многое прояснил в политической ситуации. В конечном счете народ можно ввести в заблуждение, но нельзя обмануть. Правда, хотя и не так быстро, как иногда хотелось бы, выйдет на поверхность. В начале июля он вынужден был скрываться не только от Временного правительства, но и от тех, кого обманули ядовитой клеветой. «Демократы» этого правительства в первую очередь испугались народа. Церетели — меньшевик, тоже марксист — проговорился о решимости буржуазии разоружить питерских рабочих. Видите ли, «государственная» необходимость! Очень быстро эти «марксисты» забыли, что в марксизме называется буржуазным государством.

...Еще не окончив бриться, Ленин услышал за стеной легкий шорох осторожных шагов, забулькала вода, наливаемая в самовар, потом звякнула дужка ведра, и перед окном мелькнула тень — хозяйка пошла доить корову.

Ну что ж, и его трудовой день тоже начался. Скорее надо заканчивать с бритьем.

Сорок лет Маркс и Энгельс учили пролетариат, что он должен разбить государственную машину. А теперь «тоже марксисты» думают разоружить народ! Да, демократическая республика — наилучшая для пролетариата форма государства при капитализме. Но разве мы вправе забывать, что наемное рабство есть удел народа и в самой демократической буржуазной республике! Республика — ближайший подход к диктатуре пролетариата. Здесь происходит неизбежное обострение и развертывание классовой борьбы.

Ленин еще раз быстро проглядел свои записи в синей тетради. Для работы у него есть почти все, еще достать «Анти-Дюринг» и «Нищету философии» Маркса. Непредубежденному марксисту здесь все ясно, надо только уметь читать. Выводы, сделанные Марксом из наблюдений над последней великой революцией, которую он пережил, забыли как раз тогда, когда подошла пора следующих великих революций пролетариата — ведь русские революции 1905 и 1917 годов в иной обстановке, при иных условиях продолжают дело Коммуны и подтверждают гениальный исторический анализ Маркса.

Разве может буржуазную республику поколебать всеобщее избирательное право? Еще Энгельс называл его орудием господства буржуазии. А мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, ждут именно «большого» от всеобщего избирательного права. Внушают народу мысль, будто всеобщее избирательное право в «тепереш-

нем государстве» способно действительно выявить волю большинства трудящихся. Ложная мысль. Это затушевывание, если не отрицание революции. А новая, социалистическая революция близка.

В дверь постучали. Ленин подавил естественное неудовольствие человека, которого отрывают от любимой работы, и сказал: «Войдите».

На пороге стояла Анна Михайловна, хозяйка.

— Здравствуйте, Константин Петрович, доброе утро.

Ленин по выработанной с детства привычке поднялся со стула:

— Доброе утро, Анна Михайловна.

— Как спали?

— Прекрасно спал.

— Я подумала, Константин Петрович, не выпьете ли вы кофе до завтрака?

— А когда вы обычно пьете кофе?

— Да кофе у нас не совсем кофе: цикорий, желуди, немножко кофе, но вкусный. Пьем во время завтрака. Вот картошка сварится, и через часок будем завтракать.

— Если можно, Анна Михайловна, я вместе со всеми.

Он снова склонился над тетрадью. Ленин чувствовал, что в этой книге будет много и о том новом государстве, которое придет на смену рушащейся буржуазной республике. Он недаром в разговоре с товарищем Серго назвал дату сентябрь — октябрь. И как ни странно, главные мысли будущего часто находятся в прошлом. У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, фантазировал «новое» общество. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него урок. Он «учится» у Парижской Коммуны. Рабочие завоеуют политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, против превращения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, подробно разработанные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились бюрократами и чтобы потому никто не мог стать бюрократом. Так в свое время поступила и Коммуна.

Ленин еще довольно долго сидит, перебирает свои записи, примеривается, пишет отдельные куски, но уже чувствует: в работе начавшийся день хорошо продвинулся вперед. Да и жизнь за стеной, на кухне, судя по звукам, тоже наращивает темп.

Наконец, приоткрыв дверь, Анна Михайловна говорит:

— Константин Петрович, идите завтракать.

Ленину хочется посидеть за работой еще, но приходится подчиняться ритму чужой семьи. Тем более, что он понимает: за утро работа сделана немалая.

Во дворе, перед входом в кухню собралась вся семья. По случаю воскресенья завтракают позже обычного. Солнце уже высоко, но пока не припекает. Ленин здоровается с Петром Генриховичем. Анна Михайловна вместе с Лидией завершают подготовку трапезы. Дверь на кухню широко открыта. Лидия кричит ему от плиты:

— Доброе утро, Константин Петрович.

Рядом с Петром Генриховичем Рахья, Иван и — один другого меньше — младшие сыновья хозяев.

— Здравствуйте, молодые люди, — говорит Ленин.

— Это Эверт, это Федя, это младший, Вернер.

Ленин по очереди подает всем руку. И ребятишкам это до смерти нравится. Только младший Вернер немножко дичится, прячется за спину отца. Петр Генрихович тихонько извлекает его, немножко упирающегося, из-за спины. Ленин присаживается перед Вернером на корточки, протягивает руку:

— Здравствуй, молодой товарищ.

Глазки у Вернера бегают. Отец что-то ему говорит по-фински, и тогда Вернер лепечет:

— Терве.

По-фински «здравствуй».

Все улыбаются. И Вернер улыбается. Ему понравился гость! Он смотрит в его смеющиеся темные глаза, а гость видит глаза Вернера, нежно-голубые, как последние васильки в поле.

На завтрак все едят молодую картошку и запивают молоком. Анна Михайловна вместе с Лидией успела еще напечь ржаных финских пирогов. Что-то вроде лепешки с положенной на нее картошкой или рисом. Пирог не до конца закрыт, видна зажаренная корочка начинки. Ленин хвалит пироги:

— Если бы каждый день было воскресенье.

Кофе пьют вчетвером: Петр Генрихович, Рахья, который отоспавшись, лучится, как новенький рубль, Лидия и Ленин — мальчишки удрали во двор, а Анна Михайловна, разлив вкусный деревенский напиток со следами настоящего кофе, ушла по хозяйству.

Внезапно Петр Генрихович говорит, обращаясь к гостю:

— А я знаю, кто вы. Ленин.

На мгновение Ленин вздрагивает и невольно бросает недовольный взгляд в сторону Лидии. У той слезы наворачиваются на глаза.

— Ну, конспираторы! — Ленин все обращает в шутку.

Петр Генрихович перехватывает взгляд, который бросил на дочь Ленин.

— Молодежь ни при чем. Я узнал по газетам.

А потом, кто может ходить в друзьях у Рахьи?

Рахья смущается от этой поддевки, Лидия старается незаметно вытереть глаза.

Утро прекрасное, и приезжие отправляются гулять. Знакомиться с окрестностями. Младшие Федя и Вернер не отстают, Вернер жмет к гостю, что-то щебечет, подталкивает его то к кусту малины, то к ежевичнику.

Во время этой прогулки Ленин все время чувствует какое-то особое смущение у Лидии и Рахьи. Особенно неспокойна Лидия.

— Лидия Петровна, а что вас волнует? Ну, признавайтесь нам...

— Константин Петрович, — Лидия твердо усвоила, как здесь надо называть Ленина, — мы ведь отцу действительно ничего не говорили, он сам догадался.

Мальчишки лазают по кустарникам, и можно говорить свободно.

— Это свидетельствует о том, что мы плохие конспираторы. А в революционной работе конспирация вещь очень важная. Хотя она не означает урюмость. И конспирироваться можно весело. Но терять здоровой осторожности нельзя никогда. — И Ленин рассказывает, как соблазнился — впервые возвращаясь из-за границы и будучи из «неблагополучной семьи», находящейся после гибели старшего брата у власти под подозрением, — соблазнился провезти чемодан с двойным дном, с нелегальной литературой.

Как практиковалось, власти арестовали его не сразу, стараясь проследить лиц, принимавших литературу, распространявших ее, и создать, таким образом, большое дело. В тюрьме, осмыслив все это, он

тем не менее не потерял присутствия духа, находчивости. В письме из камеры он попросил передать ему ряд книг для работы. И в этот список так аккуратно ввел свои вопросы о судьбах товарищей, что тюремные чиновники ни о чем не догадались. В списке он поставил книгу историка Костомарова «Герои смутного времени», а для читавших товарищей это были «Минин» и «Пожарский» — партийные клички Ванеева и Сильвина. Но товарищи с воли тоже ответили остроумно: в библиотеке имеется лишь 1 т. сочинения, т. е. арестовали лишь Ванеева, а не Сильвина. Или по-английски он вписал несуществующий роман Mayne Reid «The Mynoga». А это был вопрос о Надежде Константиновне, которую в свое время окрестили «Рыбой» или «Миной».

— ...а мы не смогли провести финского крестьянина, — закончил Ленин свой рассказ.

Наконец осмотрели всю усадьбу — колодец, родник, оба сеновала, поляну с земляничкой, амбар, баню и вышли к дальнему от дороги краю усадьбы, где на большой поляне Петр Генрихович и Ваня пахали целинный клин. Все уселись на пригорок. Борозда у Петра Генриховича получалась ровная, четкая, как линейка в тетради. И весь этот труд казался простым, здоровым. И как всегда бывает, когда работает виртуоз, думалось, что повторить легко и просто. Ленин, всегда любивший физические упражнения, вдруг не вытерпел и, подойдя к пахущим, попросил:

— Дайте мне попробовать.

Определенно это было несколько иное, чем писать книги. Сидя на пригорке и что-то лепеча, Вернер очень переживал за полюбившегося ему гостя: рядок у того получился кривоват, борозда с огрехами, да и сам гость, дойдя до конца клина, был весь в поту, будто пропахал целый день.

Глядя на взмокшего, но довольного гостя, Петр Генрихович сказал:

— Я советую всей честной компании пойти искупаться. Солнышко припекает, ловите последние денечки.

И все мужчины пошли на озеро.

Озеро было прекрасным, с такими ленивыми берегами и такой сонной глубокой тишиной, что казалось нереальным, будто родившимся в сказке. Мальчишки сразу побросались в воду, за ними разделся Рахья, а Ленин раздумывал, как ему быть с париком. Но день был так хорош, что он тоже разделся и, не снимая с головы кепку, вошел в воду.

Маленький Вернер что-то закричал, наверное, про кепку, но гость уже сделал в воде один шаг, потом другой и поплыл, далеко выбрасывая руки вперед и вверх так, что от берега, где барахтались ребята, была видна лишь голова с кепкой и крепкая спина, ритмично, под взмах рук поднимающаяся над водой.

А время подходило к обеду. Ленину снова неудержимо захотелось сесть за оставленную работу, но после обеда Лидия и Рахья должны были уезжать в Петроград, и по возвращении с прогулки Ленин сел писать письма.

Когда пообедали и стали прощаться, Ленин протянул Лидии несколько узких листов бумаги, испещренных столбиками чисел.

— Передайте это Надежде Константиновне. У вас, Лидя, есть какая-нибудь книга для чтения?

— Есть.

— Заложите это в книгу и хорошенько запомните, между какими страницами вы это положили. А в случае чего, — голос Ленина стал шутливым, глаза «страшными», жандармскими, — вам придется записочки съесть. Вот так.

Лошадь тронулась. Ваня, незаменимый кучер, цокнул для бодрости и чуть встряхнул вожжами.

— До свидания, Константин Петрович.

Ленин заметил, что Лидия и Рахья сидят на телеге нарочито далеко друг от друга по разным ее сторонам. Конспираторы...



6. ЛИДИЯ И ЭЙНО

В Петроград Лидия и Эйно ехали уже под вечер. Лидия смотрела в окно и удивлялась — будто не видела этого раньше, — какие красивые картины раскатывает природа. Лидия прикинула, что сразу с вокзала забежит на Большую Посадскую, это рядом с Певческим, с домом, чтобы через Хилтунена передать записки Надежде Константиновне; после всего, что было, это казалось ей совсем нетрудным. Надо только, как она уже поняла на собственном опыте, организовать и делать все продуманно, не спеша и тщательно... Но главное, как она чувствовала, разрешилось в ее жизни что-то основное, чего она долго ждала, надеялась, о чем боялась подумать.

Как хорошо вот так, сидя у окна вагона, смотреть на быстрые смены августовских картин и знать, что все впереди будет хорошо, сбудется загаданное и птица, называемая неясным и расплывчатым словом «счастье», сядет ей на плечо. А в чем оно, это счастье? Она-то уже знает ответ. Может быть, интеллигентная, образованная барышня скажет здесь много слов, но у нее, у Лидии, их всего несколько. Знать, что ты не одна, знать, что ты нужна, знать, что ты выполняешь важное и ответственное дело. То же самое, что ее товарищи. Лидия понимает, что всю жизнь ее и ее родителей милые и интеллигентные господа, хорошенькие барышни с бантами в волосах и щеголеватые студенты с белыми и малиновыми подкладками на сюртуках, все эти образованные и приветливые господа, — вся эта сытая, румяная и вежливая публика жила и продолжает жить за ее счет, за счет ее босоногого брата Вернера и отца, выхаркивающего сейчас на «природе» остаток своих легких, сожженных в литейке. Это она поняла, и поняла, что Константин Петрович, Рахья, Шотман, сестрорецкий рабочий Емельянов, все они хотят восстановить, силой воссоздать тот порядок, по которому и только по которому должны жить люди. Ей пока не очень ясны эти книжные примеры манипуляций с сюртуками и штучками полотна, но ей уже объяснили, что иголки, швейные машинки, ткацкие станки сами по себе ничего не производят, сами по себе ничего не прибавляют к сделанному. Прибавляют они, рабочие. И часть того, что прибавляют, у них крадут. Это Рахья ей объяс-

нил. А книжки, написанные Марксом, она еще прочтет. У нее еще будет время. И она должна верить Рахье, верить тому, что понял он, тому что понял Константин Петрович. Рахья она всю жизнь теперь будет благодарна за то, что он вытащил ее из маленького мирка бухгалтерии, из царства «сальдо», из скучного бесперспективного мира конторских барышень в мир иных, открытых и дерзких людей, в мир самостоятельных решений и мыслей.

Лидия отводит взгляд от окна и встречается со смеющимся, озорным взглядом Эйно. Лишь на одно мгновение. На коленях у нее книга. Она барышня культурная, читает и полюбившиеся места отмечает закладками, отчетливо помня, между какими страницами вложены узенькие, испещренные цифрами листочки. А Эйно — что с него возьмешь? Издалека, невооруженным глазом видно, что пестрый, разрядившийся, как петух, финн-рабочий возвращается от родни. Простоват. Усы торчат, как у кота. Соломенная шляпа сдвинута на затылок. Нет, нет, по виду он ей совсем не пара. Так было и задумано. По виду она даже похожа на гимназистку выпускного класса. Пикник, гольф, лаунтеннис, гитара с кажущимся черным под луной бантом. Лидия выпрямляет спину, чтобы держать ее прямо, не касаясь лопатками скамьи. Глаза потуплены. Белоостров, проверка документов. Им с Рахьей на этот раз нечего бояться. Почти нечего.

Боковой карман пиджака Эйно с аккуратной пришитой пуговицей по-прежнему оттопыривается.

Револьвер? Да возьмите его, бога ради. Возил домой показать, их вон сейчас с фронта сколько повезли. Я вам за целковый спроворю дюжину.

Закладки? Какие закладки? В Петрограде книжку купила на развале.

Почти нечего бояться. Прошлый раз было страшно, хотя книжки не было, ничего не было. Кроме кочегара, который сел в паровоз № 293 машиниста Ялава, на станции Белоостров.

Лидия даже находит симпатичными русские добрые лица юнкеров, проверяющих документы. Ловкие предупредительные ребята. Кажется, она тоже на них произвела впечатление. Доскромничалась.

— Ваши документы, барышня.

— Пожалуйста.

— На фотографии вы еще моложе.

— Спасибо.

— Нет, правда, отчего вы такая молоденькая? Быстрый взгляд из-под пушистых ресниц.

Этого, наверное, и не надо было делать. При конспирации — никаких эмоций, никакого кокетства. Не запоминаться, слиться с вагоном, с пассажирами. У Эйно документы проверил другой юнкер. А этот все толчется, сейчас еще, чтобы поддержать разговор, возьмется за книгу. Лоб у Лидии — она чувствует — покрывается бисеринками пота.

Эйно внезапно, совершенно неконспиративно кладет свою ладонь на ее руку, лежащую на книге, и встает. Шляпа сдвинута на затылок, усы торчат.

— У господина юнкера еще есть вопросы к моей невесте?

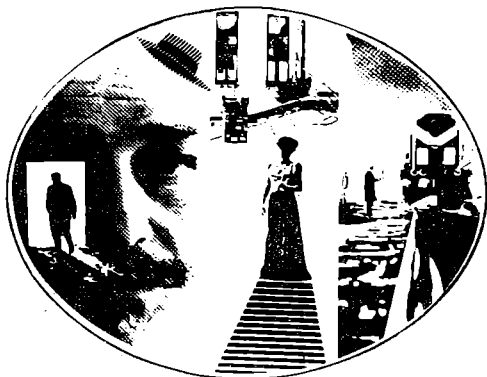
— Да брось ты, Саша, — один юнкер говорит другому, и дальше летит по-французски фраза, в которой лишь одно знакомое слово «чухонцы».

— Проверка закончена.

Сердце у Лидии радостно бьется. Сейчас поедем. Впервые она слышит слово «невеста» от Рахьи. Она встречается с ним взглядом. Милое дорогое лицо. Рахья не выдерживает и улыбается. Вот так-то, дорогая невеста! Слово не воробей, теперь вместе. Надолго. Навсегда.

Будущее неизвестно им обшм. Первый красный

комиссар Финляндской железной дороги Эйно Рахья не знает, что через несколько недель Надежда Константиновна Крупская передаст ему узенькую полоску бумаги, на которой убористым ленинским почерком будет написано, чтобы Рахья подготовил переезд из Выборга в Петроград до станции Удельная, где квартирой обеспечивает Надежда Константиновна. Исполнить это надлежало немедленно. Он еще не знает, что после этой записки от Выборга и до самого Смольного он единственный неотступно будет сопровождать Ленина. И на набережную Карповки, где в квартире Г. К. Флаксерман состоится заседание ЦК РСДРП(б), и в Ломанский переулок, где среди других стоял вопрос о штабе восстания — Военно-революционном комитете, созданном при Петроградском Совете, и в здание Лесновско-Удельнинской районной думы на расширенное заседание ЦК с вопросом о восстании, и через весь город от Сердобольской улицы до Смольного. На Рахью партия возложит ответственность за безопасность вождя. Это он, Рахья, притворившись пьяным, при встрече с юнкерами на Шпалерной даст Ленину возможность ускользнуть. Это к ним с Лююи в Ковческий переулок, в десятиметровую комнату, под проливным дождем придет ночью Владимир Ильич с заседания ЦК и, по своей обычной щепетильности, не желая беспокоить хозяев, переночует на полу, как много раз привык за свою жизнь подпольщика и революционера, на газетах. И они оба, Рахья и Лююи, долго будут помнить об этом. До последнего своего часа. И последний час соединит их, как когда-то соединил тревожный август. Соединит на Коммунистических мостках Александроневской лавры. Два скромных камня, стоящих рядом. Две надписи. «Эйно Абрамович Рахья. 1886—1936. Член коммунистической партии с 1903 года. Активный участник революционного движения России и Финляндии» и «Лидия Петровна Парвизайнен. 1892—1970. Член КПСС с 1917 года».



7. ВЕРНЕР

Перемену в шестилетнем Вернере первой заметила мать: да что с Вернером? Вечером спать вовремя лег! Сказала ему: «Иди спать, Вернер, пора, — он и лег. Подменили ребенка. Наверное, взрослеет».

Но Вернеру просто захотелось лечь пораньше спать. Потому что если рано ляжешь, то ночь проходит быстрее. А вечером, когда начинало темнеть, Константин Петрович, их гость, зажег керосиновую лампу и долго писал, и тут мать и отец беспокоить его не разрешили. Вернер приспособился: сидит на порожке возле кухни, а дверь в «молочную»

рядом, и ждет, не появится ли его друг Константин Петрович, не выйдет ли на минутку размяться... Он бы вышел из комнаты, а Вернер тут как тут. Вернер садился на порожек, подбегал к нему пёс Натти, укладывался рядом. Вернер чесал ему за ушком, и пёс лежал смиренно, только крутил хвостом — отгонял от себя и Вернера комаров. Очень они оба, Вернер и Натти, приладились к порожку на кухне и своих планов никому не выдавали, но Анна Михайловна и Петр Генрихович об этих планах догадывались сами. Как увидят, что Вернер тихо и смиренно сидит возле «молочной» комнаты, они издали маят Вернера к себе и говорят: «Очень нехорошо, Вернер, отвлекать Константина Петровича от работы, ты бы пошел погулял».

А уж утро было его, Вернера.

Вернер проснулся последним в доме, когда все встали и мама давно подоила корову, Иван уехал на велосипеде, к поезду за газетами, роса уже высохла, а Константин Петрович устал писать свои бумаги. Когда Вернер подбежал к открытому окну «молочной», он и говорит:

— Долго ты спишь, маленький товарищ. Значит, мы идем купаться?

Вернер, конечно, не понимает слов, которые Константин Петрович говорит, потому что тогда, в шесть лет, Вернер совершенно не мог говорить порусски, а Константин Петрович по-фински, но смысл Вернер прекрасно понимал. Вернер своей безмятежной щербатой улыбкой дает Константину Петровичу знать, что он, конечно, готов идти купаться, но он просит одну минуточку на сборы.

Вернер помнит крепкий наказ отца: ходить братьям по двое и, если не дай бог, что-нибудь случится — лесник ли попадетсЯ навстречу и начнет Константина Петровича о чем-нибудь расспрашивать или вообще братья увидят что-нибудь подозрительное, — чтобы один немедленно бежал за ним, за Петром Генриховичем, а другой неотлучно был при Константине Петровиче. Наступил час его, Вернера, торжества. Они шли купаться. Впереди Эверт, потом Константин Петрович с полотенцем через плечо, а рядом с ним по узкой тропочке семеня босой Вернер. В этом путешествии на озеро Каукьярви — Светлое — обязанность учить Константина Петровича финскому языку взял на себя Вернер. Он удивился этому пробелу в образовании своего спутника, потому что для его друзей и всех, кто до сих пор его окружал, финский язык был родным. Как и его старший товарищ, Вернер не любил тратить времени попусту. Жизнь коротка.

Вернер срывал алуу, еще твердую брусничку и, протянув ладошку с горячей на ней ягодкой, требовал повторения урока.

Лишь только Константин Петрович бросал взгляд на алуу ягодку, то тут же давал ответ:

— Пуолукка.

— Ойкеин, — заливался радостным смехом Вернер: «Правильно». Но тут же во взгляде Константина Петровича ловил и встречный вопрос.

Вернер морщил лобик, бросал робкие умоляющие взгляды на Константина Петровича, но Константин Петрович только улыбался, и его темно-карие веселые глаза превращались в лукавые щелочки: дескать, думай, Вернер, думай. Я понимаю, что думать — это не малый труд, но надо приучаться думать самостоятельно, без подсказок.

Наконец лицо Вернера озарялось такой ослепительной улыбкой, что Константин Петрович понимал — Вернер вспомнил.

— Ну?

— Клюк-ва! — радостно выговаривал Вернер.

— Брусника, — поправлял Константин Петрович.

И уже ничуть не смущаясь, Вернер выпаливал весь свой словарный запас русского языка:

— Брусника. Клюква. Красная. Молодец.

Потом купались. Вернер сбрасывал штанишки и кидался в холодную воду. Вода пахла лесом. Потом раздевался Эверт, а третьим входил в воду Константин Петрович. Он не бухался в озеро с головой, а погружался медленно, не торопясь. Когда вода доходила Константину Петровичу до груди, Вернер начинал волноваться: ведь там глубоко. Но Константин Петрович делал еще несколько осторожных шагов и взмахивал руками. Поплыл. Когда Вернер вырастет большим, он будет обязательно плавать так, как Константин Петрович, но только Вернер ни за что не станет плавать в кепке. Вернера очень удивила эта манера его старшего друга плавать в головном уборе. Он, конечно, если бы знал русский язык, спросил бы его сам о причинах такого чудачества. Но так как русского языка он тогда еще не знал, то задал этот вопрос папе.

Они сидели обедали. Уже съели молочный суп, заправленный молодым картофелем. Мама поставила на стол кашу, и тут Вернер спросил у папы по-фински: можно ли задать вопрос. «Ну, задай», — сказал отец. «Можно мне задать вопрос на ухо?» — спросил Вернер. «Можно». Вернер сполз с высоковатой ему скамейки, подошел к отцу, отец нагнулся, и Вернер спросил у него: «Почему... Константин Петрович плавает в кепке?» Отец рассмеялся и посмотрел на Константина Петровича, потом сказал ему что-то по-русски. Константин Петрович тоже рассмеялся, положил на стол ложку, потер рукой виски и ответил. Вернер понял, что напрасно задал этот вопрос. Сконфузился и спрятался за стул, за широкую спину отца. И вот когда Константин Петрович ответил, отец подтянул Вернера к себе, обнял и по-фински на ухо сказал: «Константин Петрович плавает в кепке, чтобы не простудить голову. Понял? Теперь беги на свое место, помни: когда я ем, я глух и нем. Понял?» «Понял, папа», — сказал Вернер и побежал на место доедать кашу.

Второй сладостный для Вернера час наступил после обеда. Вначале Константин Петрович работал на пригорке возле дома. Он сам открыл этот пригорок. Вернер удивился: ему казалось, что только он один знает, что на этом месте никогда не бывает комаров. Везде они вьются, а тут нет.

Наконец Константин Петрович закрыл свою тетрадку, собрал карандаши, стеклянную чернильницу, подобрал стопкой бумаги, которые у него были, приваленные камешками, разложены вокруг, и начался час Вернера. До ужина его время. Константин Петрович, как и он, Вернер, знает: есть время работы и время отдыха.

Они идут собирать бруснику или моршуху. Это недалеко, прямо здесь, на усадьбе. Вернер показывает Константину Петровичу самые лакомые свои уголья и видит, что Константин Петрович рад, внимательно слушает его болтовню. Ни один взрослый никогда с таким вниманием, серьезностью и интересом не отдавал Вернеру свое время. Как хорошо. А завтра все повторится сначала: купание, завтрак, совместный урок, годник.

Но «завтра» не повторилось.

Может быть, Вернер проспал, и Константин Петрович ушел купаться на озеро с Эвертом и Федей? Окно в комнате Константина Петровича закрыто. Вернер, нарушая запрет, открывает дверь в «молочную». Ничего. На столе ни чернильницы-непроливашки, ни бумага Константина Петровича. Вернер выходит из комнаты и встречает мать. Она обнимает Вернера и, видя его глазенки, полные слез, гово-

рит: «Так уж, сынок, получилось. Константин Петрович должен был внезапно уехать».

Вернер смотрит на знакомую округу, на лес, на колодец с журавлем, и все ему не мило. Это он сам во всем виноват. Не захотел проснуться. Ночью ему показалось, что в комнате загорелась лампа и кто-то стоял в дверях. Но это был не Константин Петрович, а какой-то священник в белой рубашке, в галстуке и с бородой. Только у священника глаза были такие же, как у Константина Петровича. И сквозь сон Вернеру послышалось, что отец сказал:

— Ваня, возьми весла, перевезешь через озеро.

Значит, это правда, Константин Петрович уехал.

Встретит ли Вернер когда-нибудь такого доброго и все понимающего друга? Если бы Вернеру, знать.

Но Вернер многого не знал. Он не знал, что будет жить в городе, носящем имя Ленина. Не знал, что через шесть с половиной лет зимой отец соберет их всех и скажет: «У нас большое горе. Вы помните, шесть лет назад, летом у нас был гость. Сегодня в газетах напечатано, что он умер». И у отца и у матери Вернер увидит на глазах слезы. А через несколько месяцев Вернер повезет вместе с братьями гроб с телом отца на кладбище. Как жить дальше? Тогда они еще не знали, что за несколько лет до этого правительство, которое возглавлял их бывший гость, позаботится о семье, давшей приют вождю пролетариата в незабываемый август семнадцатого.

И два старших брата, достигшие призывного возраста, уйдут куда-то на север, на заработки. Так они скажут соседям. А потом мать с младшими детьми получат через постпредство в Хельсинки тысячу золотых марок и, попрощавшись с домом, сядут на станции Териоки в поезд, взяв с собою все имущество. И стул, на котором сидел Константин Петрович в своей комнате, и самовар, из которого он пил чай, и сковородку, собственноручно отлитую отцом, на которой мама пекла им всем оладьи. Сядут на станции Териоки в вагон поезда, идущего в Ленинград. На пограничной станции Белоостров их встретят братья, ушедшие на валку леса; сестра Люция и одетый в военную форму Эйно Рахья. Вернер тогда и не предполагал, что через несколько лет тоже наденет такую же форму, как Рахья, и что их танковый полк войдет в Териоки. Все будет.

...Мороз обжигает лица. Руки мерзнут в меховых перчатках, теплые пексы не могут согреть ноги.

Полная луна освещает торчащие из-под снега черные бревна и трубы сгоревших домов. Такими, отступая, оставляют Териоки шюцкоровцы, белофинны. А впереди — снова бой, и сейчас кому-то из добровольцев надо идти в разведку. Через Метсала, по шоссе до Кангаса, потом через деревню Ялкала. Вернер первым поднимает руку.

Луна высвечивает лес, знакомое шоссе. Подъем, спуск. За каждым деревом может таиться смерть. Слышен лишь шорох лыж да собственное дыхание. Вверх, вниз. Карабин на плече. Родные места. Черные трубы, обгоревшие развалины — Метсала. Снова обгоревшие развалины, черные трубы — Кингас. Вот и речка, соединяющая озеро Долгое с Красавицей. Противотанковый ров. «Неужели сожгли?»

Последний подъем на гору, покрытую лесом. Деревья вся без окон, с выломанными дверьми. Чуть правее, теперь вниз. Вот и поляна. Еще сто метров вперед. Ничего не видно. Это поднялась снежная метель или слезы стоят в глазах? Вот и он, маленький домик, утонувший в сугробах. Почему же текут, застывая на морозе, слезы? Мать, отец, детство. Тревожный август, когда он, Вернер, был бесконечно счастлив...



**ОЛЕГ
ДМИТРИЕВ**

Тень друга

Может, лучше,
Чем снова в какой-нибудь дом
На пустую пирушку идти,
Вызвать старого доброго друга тайком
Из забвенья —
Приди, погости.

За окном будет таять томительный день,
Два бокала сиять на столе.
Будет в кресле дрожать
Друга ломкая тень
И лицо проступать на стене.
Захочу разглядеть дорогие черты,
Чуть размытые, как при свечах, —
На устах его будет печать немоты
И печаль неземная — в очах.
Друг, ты помнишь,
И раньше подолгу молчать
Мы умели с тобою вдвоем.
Если музыка будет негромко звучать,
То друг друга мы лучше поймем.
Пред тобой я, дружище,
Все больше в долгу:
О тебе ведь все реже грущу.
Сотни рук на ходу пожимая, бегу,
Все спешу, все чего-то ищущу...
Но один только ты уводишь меня мог
За холодным закатным лучом!
Мы прокрутим
Какой-нибудь давний денек,
Как любимый расказ перочетом.
Только ты и поможешь мне
Юность вернуть,
Воротить молодые года.
За прошедшей минутой
Отправимся в путь,
Чтобы в полночь явиться сюда.
И когда расставания время придет,
Будет горько и радостно мне.
Если легкой рукой благодарно взмахнет
Тень твоя,
Растворясь во тьме.

☆☆☆

Не знаю квартала
И в капельке дня,
Где б только хватало
Тебя и меня.

Под утро и в полночь
Сияли огни.
О тсм и не вспомнишь,
Что были одни.

Мы шли по Неглинной
С хмельком в голове.
Мы шли по пустынной
Рассветной Москве.

Но ветер все время,
Опять и опять
Поглаживал тебя,
Как бабка и мать.

Вы скажете: «Ну-ка...»
Вы скажете: «Блажь!»
Но тайного звука
В душе
Не отдашь!

Коль слышен,
Как в чуде,
Таинственный глас:
— Любимые люди,
Вы помните нас!

Звездочет

Надо с детства учиться на звезды смотреть,
Потому что, шая и грустя,
Можно небо забыть —
Обрести его впредь
Уж тебе не удастся, дитя!

Станешь взрослым,
И под ноги будешь глядеть
Иль куда-нибудь, перед собой,
Чтоб кого-нибудь вдруг не толкнуть,
не задеть,
Уносимый шумящей толпой.

Будешь милой глядеть в молодые глаза,
В книжный шрифт, в шевеленье теней...
Иногда вдруг заметишь:
Упала звезда,
И потянешься сердцем за ней!

Только это не в счет,
Это только на миг,
Потому что случайный твой взгляд
Никуда не проним,
Ничего не постиг
В небесах, где созвездья парят.

Надо с детства учиться на звезды смотреть,
Поднеся к подбородку ладонь,
И когда-нибудь сможет тебя обогреть
Их неверный холодный огонь.

И когда-нибудь ночью у тихой воды,
Где двоятся ночные огни,
Ты себя вдруг почувствуешь сыном звезды,
Ведь земля наша —
Звездам сродни!

По-другому теперь твоя жизнь потечет
В уносящей шумящей толпе:
До скончания дней будет жить звездочет —
Большеглазый мальчишка —
В тебе.

Будешь ты по ночам в темном небе витать,
Распрямясь над землей в полный рост.
В свете дня тебе будет всегда не хватать
Шевеленья сияющих звезд.

☆☆☆

Ничего никому не советуй
И совета других не проси.
Все бы сделал для женщины этой,
Да она не прошепчет:
— Спаси...

Не ударил я пальцем о палец,
Чтоб ее уберечь от седин,
Что за свойство у милых печальниц —
Быть с бедою один на один!!

Всем поделится —
Хлебом и солью,
В темень — светом,
Прохладою — в зной.
Что ж своей потаенною болью
Поделиться не хочет со мной!

Как прекрасны армяне бывали,
Над столом поднимая вино!
Лучший тост:
«Ты отдай мне печали!»
Да она не отдаст все равно...

В вечность
Тяжкая канет минута,
Но свободно вздохнуть не спеши —
На душе беспокойство и смута
От бесстрашия женской души.

Слово

об ушедшем поэте

Хорошо, что кружится Земля:
Что-нибудь, возможно, повторится.
Уходил ты в белые поля.
А пришел на белые страницы.

Четкий след оставил на снегу.
Я, живущий то сложней, то проще,
Без тебя представить не могу
Ни полей, ни озера, ни рощи.

Что мне сплетни, суета и быт!
Для меня все это —
Вне закона.
К даче переделкинской прибит
Лик твой, как заветная икона.

Ты кормил привязчивых собак,
На крыльцо всегда садились птицы.
Но ведь жизнь прожил
Не просто так.
За тобою шелестят страницы!

Уходил ты в белые поля —
Обернулся белыми листьями.
Хорошо, что кружится Земля,
И учителя
Все время с нами.

☆☆☆

Короткая, пустая встреча.
— Ну, как живешь!
— Ну, как дела!
А память далеко-далече
Опять с собою увела.
Расстался с теплою рукою,
Себя в ненужный путь повлек.
Дыханье прошлого сухое
Безжалостно коснулось щек.
О прошлое!
Костер нетленный —
Любовь, погибшая в быту,
Ты ради прихоти мгновенной
Нас обжигашь на лету!
Я корчился в огне печали
При свете ветреного дня.
Но люди, что меня встречали,
Не видели того огня.

Юной современнице

Ежели не хочется стремиться
Из Москвы
В далекий край другой,
Я бы рассказывал тебе о птице
Над рекою бурной Селенгой.
Я провел бы долгую беседу,
Мне порою это по плечу.
Может быть, и скажешь ты: «Поеду!»
Может, и воскликнешь: «Полечу!»
Лгать грешно и хвастать не годится!
Мало что меняется в судьбе,
Пусть над Селенгой белой птица
Ничего не знает о тебе!
Лишь бы ты о ней немного знала
И стремилась в тот далекий край...
Ну, а много это или мало
В юной жизни — ты сама решай.

Две столицы

(Стихи, написанные в Ленинграде)

Есть посчастливей города...
За что не их любить нам надо!
В Москве пожары и орда.
Здесь наводненья и блокада
Хозяйничали, как могли,
И вытворяли, что хотели,
И все же ввысь, как журавли,
Дома старинные взлетели,
И голубые купола,
И позолоченные шпильки —
Огонь не выжег их дотла,
Сяряды на землю не сбили!
Живут Москва и Ленинград
В глазах народа
Дивным дивом,
Их разрушений и утрат
Не знать бы городам счастливым.
Но им не знать
И чести той —
Быть волноломом, волнорезом,
Стоять пред пламенной чертой
Между листвою и железом!
В счастливых городах, увы,
Слеза не затуманит взгляда —
Лишь в улочках кривых Москвы,
В прямых проспектах Ленинграда.

ВЛАДИСЛАВ
ТИТОВ

ПРОХОДЧИКИ

Шахтерам Донбасса

Глава первая

РОМАН

Журнальный
вариант

С комсомольского собрания возвращались шумной гурьбой. То, чего не посмели или не успели высказать там, за низенькой трибуной, обтянутой красным плюшем, теперь наперебой выплескивали тут, под широким донецким небом, без президиума и протокола, не выбирая выражений. Топотали туфлями, пыхтели сигаретами, клешами поднимали пыль во всю ширь дороги. Больше всех горячился Вадим Гайворонский.

— Не пойму я, братцы мои! — рассекая ладонью воздух, восклицал он. — Комсомольский секретарь — это что, пожизненная должность или как?.. Почему опять Кульков? В ПТУ Кульков, на шахту пришли — ему и тут секретарский портфель!

— Ты же сам выбирал, — осадил его Виктор Тропинин, спокойный, рассудительный парень, дружок Гайворонского. — Руку поднимал? Поднимал. Чего же петушишься? После драки кулаками размахивать каждый горазд! Почему на собрании не поднялся и не сказал открыто и честно: не хочу, мол, Кулькова! Твое отношение к нему — сугубо личное. Ты не прав.

— Почему не прав? Что я, не знаю Кулькова? Диплом ему выдали липовый. Он же половину занятий пропустил. Когда ему было их посещать? То собрания да совещания, то слеты, то еще что-то. В горном деле он ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

— Он неплохой организатор, — настаивал Тропинин. — А это так же важно, как то, что из тебя выйдет хороший проходчик.

Шахтеры подходили к поселку. Навстречу зачастили спешащие на смену люди. Коротко здоровались, обменивались новостями, на лету пожимали руки, отпускали едкие шутки. С оглушительным треском промчался на мотоцикле Гриша Ефимов (опять снял глушитель) — лихой барабанщик местного оркестра, безотказный в работе человек и толковый подземный слесарь.

Прошли два неразлучных друга — Кошкарёв и Дутов. О чем-то рассудительно беседовали, один медленно разводил руками, другой так же медленно кивал головой, соглашался.

«Значит, на участке все в порядке, уголек течет, как положено, — подумал Тропинин, — иначе ссорились бы».

День тихо угасал. Солнце будто зависло над ставком¹ и не хотело опускаться за горизонт. Стояла вторая половина августа, пора, когда над Донбассом стихали

Рисунки
П. Караченцова.

¹ Ставок — небольшой пруд.

знойные, песчаные суховеи и устанавливалась благостная погода. Время дождей еще не пришло, но жара иссякла, а холодный северный ветер пока не достиг этих мест. Голубая спокойная тишина висела над желтой, пожухлой степью, дымящимися терриконами, стлалась над поселком, плыла дальше, к горизонту, и сливалась там с белесой дымкой надвигающейся осени.

Высоко в небе проплыл клин журавлей. Вадим замедлил шаг и посмотрел вверх. Приотстал и Витка.

— Слышь, Вить, а они ведь из воронежских степей.

— Почему знаешь?

— Родные какие-то... чебрецом запахло...

Несколько минут шли молча. Тропинин в такт шагам широко размахивал руками, будто скользил по снегу на лыжах, отталкиваясь длинными палками. Рядом с ним шагал Борис Дербенев, товарищ по бригаде, узкий, наскладный, и еле заметно улыбался. Они приближались к поселку. Слева белело здание клуба, справа трехэтажной глыбой высилась десятилетка, а за ними стройными рядами домов разбегались улицы поселка. Опустевшая было дорога вновь заполнилась шахтерами.

— Эй, комсомольцы, кого вождем выбрали?

— Хотели Володю Пузачева, а вот Гайворонский Кулькова предложил. Его и выбрали.— Борис сдерживал смех.— Сейчас без блата ни шагу... Кореш корешу руку моет.

Посмеиваясь, шахтеры прошли мимо.

Смутно было на душе у Вадима. Он сам не мог понять, отчего. И это собрание, которое не понравилось ему с самого начала, потому что в президиум попал не Витка, а иные, менее заслуженные комсомольцы с других участков, и это непонятное для него избрание секретарем Кулькова, и спор с Виктором, в котором он чувствовал себя безоружным, и наконец, этот тоскливый журавлиный крик.

Как на огромном полотне, объемно и четко перед ним появилась мать. Заполнила всего, все его существо. Он любил мать, тосковал по ней беспрдельно. Особенно было трудно в первые годы учебы в ПТУ. Она снилась ему по ночам, он часто думал о ней на занятиях, в столовой, в общежитии. И мучился Вадим непрестанно оттого, что не послушался все-таки этого самого дорогого для него человека и ушел учиться на шахтера.

«Вадюша, тяжелая эта работа, не для тебя она, такого маленького, хрупкого. Случаи там всякие бывают, сынок,— умоляла мать и крепко прижимала его к груди, словно хотела защитить от всех бед, которые свалятся на него в его будущей суровой шахтерской судьбе.— Других профессий мало, что ли?.. На столяров учат, на токарей, на строителей. Чем плохо? Ну что тебе дали эти шахтеры!»

Вадим молчал и вроде бы тем самым соглашался с матерью, но про себя по-прежнему убежденно твердил: «Буду шахтером! Буду!»

Видел однажды в кино, как крепкие здоровенные парни в жестких брезентовых робах, в касках, с горящими звездочками на лбу, с черными лицами выпрыгивали из темной ниши, будто из пещеры огромного чудовища, и потом важно шагали по тоннелю, среди хаоса кабелей, вагонеток, причудливых арок, видел, как входили в клеть, подцепленную к толстеньким железным канатам, и потом рванулись все вместе вверх к ветру, к земле, к солнцу.

У Вадима захватило дух, а когда шахтеры выехали на гор, пошли по шахтному двору, большие и чумазые, с непогашенными лампами на лбу, при

ослепительном свете солнца, и суетливые пионеры, симпатичные девушки охапками бросали им под ноги букеты, ему нестерпимо захотелось быть среди них, идти рядом по хрустящему цветному ковро...

Детская мечта выучиться на машиниста тепловоза растаяла, как дым. О ней стало стыдно вспоминать. И уже в восьмом классе все было решено. Ни угрозы, ни слезы матери не помогли. На следующий год он явился домой в форме пэтушника.

«Кем же ты будешь, сын?» — спросила мать.

«Проходчиком, мама», — гордо ответил Вадим.

«Что же это за работа такая?»

«Это люди, которые под землей впереди всех идут, дорогу в камнях пробивают. Понимаешь, мам...— начал увлеченно рассказывать он.— На глубине семисот метров геологи обнаружили пласт угля. Как до него добраться? За дело берутся проходчики. Прорубают ствол на семьсот метров вглубь, ну это вроде колодца такого, только намного шире и больше...»

«Господи, а если на голову что упадет, с такой-то высоты?» — охала мать.

«Не упадет, там всякая защита есть,— торопливо успокаивал сын.— Так вот, достигли мы угольного пласта, а дальше что? Дальше опять проходчики прорубают в камнях разные выработки, штреки, ходки — квершлаги — ну, тоннели такие, по которым и уголь в вагонетках возить будут, и люди станут передвигаться, и машины всякие, и все прочее. Так что проходчики самые что ни на есть главные люди под землей».

«А если этот тоннель обвалится, ведь тяжесть-то какая, семисот метров и все камнями, как же такую пропасть удержат?» — сокрушалась мать.

«Ну, мам, ну, как ты не понимаешь. Тоннели крепятся. Подпорками такими из дерева, железа, бетона. Никогда он не обвалится. Там все рассчитано, все по науке. Нас вот три года учат этому. Это тебе не кирпичи класть — тят-ляп, и готово!» — гордился Вадим.

«Так кирпичи-то на солнышке, при свежем воздухе, небо над головой, а не камнями». Мать вздохнула.

«Ничего ты не поняла, мам,— сердился будущий шахтер,— сто лет там люди работают. Это же так интересно!»

«...Надо написать маме письмо,— решил Вадим.— Работа, танцы, собрания, минуты свободной нет. А она каждый день почтальона выглядывает».

Витка ушел шагов на десять вперед, и Вадим видел его ажурный затылок с длинными волосами, которые смешно подсакивали вверх в такт его шагам.

Друзья миновали клуб и медленно шли по широкой, усаженной кустами и деревьями улице. Во дворах шумела детвора, наслаждаясь свободой последних дней каникул.

На остановке толпилась молодежь. Подъехал автобус, и все хлынуло в открытые двери. Вадим заметил знакомую девушку.

— Маринка, куда это вы?

— В театр, «Сталеваров» смотреть! — Она приветливо помазала рукой. — Прехали с нами.

— Не могу. Нам в третью...

— Шахтеры вам уже не пар! — поддел Борис.

— У сталеваров любовь горячее! — весело стрельнула в парня статная дивчина с иссиня-черными цыганскими глазами.

Витка хотел было вступить в разговор, даже приготовил фразу: «А у шахтеров она глубже», — но встретился с этими глазами и замер, как завороченный. «Боже мой, неужели такие красавицы в

нашем поселке живут?» Он остановился, раскрыл рот, но черноглазая с улыбкой скрылась в автобусе.

Парни подходили к общежитию, когда из-за угла навстречу им вышел Петр Васильевич Михеичев, пожилой сутулый шахтер, их бригадир.

— Что в забое? — спросил, здороваясь со всеми за руку.

— Убрали породу, поставили арку крепления, вторая смена докрепит, начнет бурить. — Виктор отвечал спокойно, рассудительно, и, глядя со стороны, можно было подумать, что это не двадцатилетний парнишка, а бывалый шахтер с солидным подземным стажем.

— Трубы нарастили? — поинтересовался бригадир.

— Нет. — Витька опустил голову.

— Да что же это такое, черт возьми! — возмущился Петр Васильевич и хлопнул ладонями себя по бедрам. — Вы что, задохнуться хотите без воздуха?

— Просто мечтаю об этом! — так же резко ответил Борис. — Посчитаем за счастье дуба врезать в забое без кислорода!

— Так труб же нет, — сглаживая резкость Бориса, тихо сказал Тропинин.

— Как нет? — оторопел Михеичев.

— Очень просто, — набычился Борис. — Позаботиться о том, чтобы были, некому.

— Сами знаете, у меня отгулы... — примирительно молвил бригадир. — А Плотникову доложили?

— Начальнику уголь нужен, а мы хоть в три дуги загнись в своем штреке! — Борис опять вспылал. — Десять метров полиэтиленовых выписал, а какой от них толк! Лопаются, как... — Борис сплюнул и отвернулся.

— Ты что... первый раз в забой спустился?! — набросился на него Михеичев. — Не знаешь, как этими трубами пользоваться? Одну в одну пропустить, получится двойная. Дак не лопнет.

— Пошел ты со своей рационализацией, знаешь, куда!.. — свирепел Борис. — Нам за погонные метры проходки платят. Какого хрена я битый час должен возиться с этими идиотскими трубами?

— А кто за тебя будет это делать? — твердо спросил бригадир.

— Тот, кто изобрел трубы, — подсказал Вадим.

— Какой-то прохвост в роли изобретателя три копейки сэкономил на материале, а в шахте сотни рублей на ветер из-за него летят... — Борис чертыхнулся.

— Изобретателя нам наверняка не удастся отыскать. — Михеичев понял, что спор получается беспредметным, вентиляционные трубы из нового материала действительно очень низкого качества, но других нет и работать надо с теми, какие есть. — Приходится мириться, — заключил он.

— Слишком долго вас приучали мириться со всем, — отрезал Борис. — У вас это уже в крови. А нам такое не зачем. Мы не хотим расплачиваться за ошибки других!

— Эк куда хватил! — Старый шахтер пристально посмотрел на Дербенева. — «Мы... вы...» Это что же, племена такие?

— Племена одни, взгляды разные.

— Ты вот что, Борис Петрович, рассуждения свои оставь при себе. Я институт не заканчивал, а ты, коль пришел в забой, будь добр честно работай! В третью смену пододвиньте вентилятор, нарастите трубы, а то и до беды недалеко.

Проходчики помолчали. Над северной окраиной поселка клубились белые облака, и за ними, словно вымытое прозрачной синевой, простиралось бездонное небо.

... — Правду ведь говорил Кульков. — Тропинин замедлил шаг, ждал, когда друзья поравняются с ним. — Кто, в самом деле, хозяин шахты? Мы, конечно.

— Посмотрел бы я на этого хозяина, когда его турнут в три шеи с шахты за что-нибудь. — Борис похлопал Витьку ладонью по плечу: мол, давай, давай, заливай.

— Ага! За что-нибудь? — поймал на слове Виктор. — За прогул? За пьянство, за нарушение ПЕ, да? Но какой ты в этом случае хозяин, если шкодишь своему хозяйству?!

Они зашли в общежитие, протопали по коридору, открыли свою комнату. Все три койки были аккуратно застелены, на столе лежали газеты и одно письмо.

— Кто-то должен сбацать польку-бабочку! — Вадим поднял конверт над головой, повернулся к Борису. — А ну-ка, Боренька, с выходцем, да вприсядку!

Тот, не долго думая, хлопнул в ладоши, присел, потом быстро подпрыгнул и, изловчившись, выхватил из рук Вадима письмо. Прочитал обратный адрес, медленно сел, торопливо распечатал конверт и стал читать. Письмо было от сестры.

Виктор рассеянно копался в своей тумбочке, вытаскивал, перекладывал вещи с места на место, хмурил лоб, будто искал что-то и не мог найти.

— Так вот, Витенька! Какой я, едри те три дына, хозяин!.. — Вадим, уперев руки в бока, сверху вниз смотрел на друга. — Если мне вместо хороших материалов суют в забой всякое дерьмо в виде полиэтиленовых труб. Как хозяину они мне не нужны. Если я так буду хозяйствовать, то, сам понимаешь, вылечу в трубу.

— Ты носишь в кармане комсомольский билет, — Витька перестал копаться в тумбочке, — но ты хоть раз зашел в шахтком, рассказал о недостатках, попросил помощи, совета? Молчишь. Мастак побужить на задворках. А дело должен делать кто-то другой, хотя бы тот же Кульков.

— От Васеньки толку, знаешь... Одна пыль столбом. — Вадим безнадежно махнул рукой. — Что шеф скажет, то и будет.

— Ты катишь бочку на Кулькова, говоришь, не такой он. Буквально вчера я был невольным свидетелем его разговора с заместителем директора по снабжению. Заметь — вчера. Когда Кульков был всего лишь секретарем участка, а не шахты. «Семен Гаврилович, — говорит ему, — не хотелось бы с вами ссориться»... И рассказал об этих самых полиэтиленовых трубах. Тот отвечает: не я их, мол, изготавливаю. А Кульков свое: «На семнадцать-бис бесперебойно получают прорезиненные. Позвоните в комбинат, в министерство, вам виднее, но трубами постарайтесь обеспечить, иначе я не смогу больше сдерживать своих комсомольцев. Они рвутся не прием к секретарю райкома партии. Их, несомненно, примут, выслушают и сделают выводы».

— Ну и что?

— Что «ну и что»?

— Труб он не достанет, отделается выговором, и все покатится по старинке. — Вадим сел.

— Тебе всегда все ясно. Поживаем — увидим. — Виктор захлопнул тумбочку.

Он опять подумал о жизни, о том, какая это сложная, и радостная штука, и, наверное, никак нельзя без этих малых и больших сложностей, без них она, жизнь, была бы неинтересной, скучной и однообразной. Посмотрел в окно и вдруг представил, как наступит осень и как хорошо будет забраться с Вадимом в заросшую деревьями балку, валяться там по мягкому коврику опавших листьев,

молча лежать на спине, смотреть в небо и мечтать. Он, Витька, сорвет несколько веток калины, отнесет в забой, сунет за распил и сам будет дивиться неестественной яркости горящих гроздьев среди серого однообразия породы.

«Чудак!» — скажет Вадим, а потом замолчит и надолго задумается. Может быть, он тоже будет думать о том, как хрупка и нежна эта веточка в грозной мрачности подземелья и как силен человек, проникший сюда.

Потом они выедут на-гора и опять, уже в который раз, удивятся пронзительной яркости дня, радостной отчетливости цветов, деревьев, неба. И даже тогда, когда по окну застучат нудные осенние дожди и окончательно смоят все краски ушедшего лета, в душе Витьки загорится нетерпение от ожидания предстоящих перемен в природе, а может, и в его жизни.

Тропинин вздохнул. Борис дочитывал письмо, громко сопел и все ниже опускал голову. Невеселые, знать, вести прилетели к нему. Витька походил по комнате, вновь присел у тумбочки, что-то искал.

«Неужели такая девушка может полюбить? — подумал он о черноглазой, перебирая в руках открытки с изображениями актрис. — Далеко всем им до нее, хоть и знаменитые...» — Витька хлопнул дверцей, с разбега плюхнулся на кровать.

Над Донбассом стремительно сгущались сумерки.

Глава вторая

Д оверху груженная породой вагонетка сорвалась с рельсов и забурилась на все четыре колеса. Все бы ничего, дело это не такое уж редкое на путевом хозяйстве штрека, но она, эта вагонетка, застряла как раз на разминочке и отсекала партию порожних вагонов от лавы.

Хоть лопни, загнать порожняк было невозможно. Партия из тридцати пустехоньких вагонов с электровозом во главе стояла на подступах к лаве, и в самой лаве все было «на мази», чтобы на полную мощь качнуть уголек, но эта проклятая вагонетка с тяжелой, как свинец, породой, затормозила все дело.

В штреке медленно, но уверенно назревал скандал. Виновика аварии определить было невозможно. То ли предыдущая смена слишком ретиво помогала люковому сформировать состав, то ли машинист электровоза резко сдал партию назад, забурил вагонетку, отцепил ее и умчал к стволу, — разбираться в этом было некогда. Ясным оставалось одно: в вагонетке порода, значит, принадлежит она проходчикам, грузили ее в забое штрека, им и ставить ее на рельсы. Рабочим лавы порода эта совершенно ни к чему, их дело качать на-гора уголь. Тем более, что добычная бригада находилась в самом веру лавы, и для того, чтобы ей спуститься на животах и коленях вниз, поставить вагонетку на колеса и потом тем же путем и способом ползти к своим рабочим местам, потребуются чуть ли не полсмены. И чего ради? Время просто им никто не оплатит.

Но и у проходчиков в забое дел неавторитет. Да и не для того Михеичев плюнул на свои отгулы и спустился вместе с Борисом, Виктором и Вадимом в шахту, чтобы вместо занятий неотложным делом даром тратить время на какую-то идиотски застрявшую вагонетку. Продвижение штрека без того отстает от намеченного графика, лава вот-вот сядет на плечи, и тогда проблем на участке хва-

тит, как любит выражаться Михеичев, «по самые ноздри».

Смена обещала быть напряженной, без минуты передышки. Надо нарастить рельсы, зачистить и обустроить забой, добавить эти злосчастные вентиляционные трубы, придвинуть вентилятор ближе к забою. Но опять же, как перетащить трехсоткилограммовую машину вентилятора, если как раз против него застрял электровоз?

Александр Иванович Семаков, горный мастер участка, нацелясь лучом надзорки в лицо Михеичева, метеором подлетел к забою.

— В чем дело? — вкрадчиво и неопределенно спросил он, остановившись.

— Под шпалы канавки долбим, — невозмутимо ответил бригадир.

— Вижу, что канавки, а когда сюда шли, ничего не заметили? — Мастер пытался говорить спокойно.

— Вы про вагонетку?.. — Вадим опустил кирку.

— А то про кого же, про нее самую. — Семаков как бы невзначай чиркнул лучом света по лицу Вадима и вновь наставил его на Михеичева. — Л-л-лава, между п-п-прочим, уже п-п-пятнадцать минут с-с-стоит! — Он заикался, и, когда нервничал, заикание резко усиливалось. — По в-вашей м-м-милости порожняк нельзя з-з-загнать.

— Почему по нашей?.. — Бригадир знал, что мастер сейчас сорвется на крик, и тогда сам он, Михеичев, ответит ему тем же, потому тоже старался говорить спокойно.

— Порода из лавы качнули?.. — спросил Семаков, еще надеясь, что все обойдется без шума, без нервотрепки, что ему удастся убедить проходчиков покинуть забой и поставить на рельсы вагонетку.

— Нет, порода гружена в нашем забое. Ну и что из этого следует? — Михеичев тоже не хотел скандала — работать бы спокойно, — но, видно, не избежать его.

— Как что? — твердо, с расстановкой, боясь заикнуться, спросил Семаков. — Как что! — громче повторил он, губы его дернулись, и, мучаясь и еще больше от этого злясь, выкрикнул: — Д-д-дядя з-за вас р-р-разбуривать б-б-будет?

— Разбурит пусть кто забурил. — Бригадир деловито переложил кирку из одной руки в другую, собираясь продолжить работу и действием этим как бы говоря: к чему, мол, шум, и глупо это — заставлять их, людей очень занятых, заниматься посторонним делом.

— В-вагонетка ваша, и вы д-должны немедленно поставить ее!

Семаков давно знал Михеичева, так же как Михеичев Семакова. Ни того, ни другого нельзя напугать криком, угрозами. Но ситуация в эту проклятую смену складывалась из рук вон отвратительная, и горный мастер по долгу службы обязан был найти из нее выход. И чем скорее, тем лучше. За простой лавы ни руководство шахты, ни бригаду шахтеров по головке не погладят.

— Послушайте, Александр Иванович! — Бригадир нехотя разогнулся, опустил кирку, слова цедил сквозь зубы, лениво: — Не дети мы с тобой. Порожняк-то нужен не мне, а им. — Он повел лучом света в сторону лавы. — И вагонетку забурили не мы, а бог весть кто. Ну, с какой стати ни с того, ни с сего мы должны зря тратить свое время?

— И бесплатно, — вставил Дербенев.

— Ты с-с-сообразяешь, что говоришь? — Семаков не обратил внимания на слова Бориса, шагнул к Михеичеву. — Они же п-п-полсмены убьют н-н-на это!

— А если мы проволтузимся полеманы, это не в счет? — выкрикнул бригадир и зло сплюнул. Терпение его лопнуло, он первым решил перейти в атаку. — Видишь ли, лава стоит, угля нет, а если штрек остановится и та же лава догонит его, тогда что? А то, что и ее, голубушку, придется остановить. И не на день, и не на два... Или это никого не беспокоит? С каких пор проходчики стали пасынками на участке?

— Им ломовые лошади нужны! — подлил масла в огонь Борис.

— Ты пока помолчи, — перебил его Михеичев. — У нас тоже есть план, и нам надо его выполнять. Это вы не хуже нас знаете.

— И заработать хотим не меньше их, — вновь вставил Борис. — Хлеб с маслом мы тоже любим. А его бесплатно не дают.

— Д-да поймите вы, н-наконец!.. — Мастер не выдержал. — К-к-кроме личных интересов, есть интересы всего участка! — Он вдруг перестал заикаться и, четко выговаривая слова, резко отрубал их взмахом ладони. — Струг стоит, конвейер стоит, угля нет. Угля! Из-за чего все мы торчим здесь, в этом подземелье. И не время разбирать, что главное, а что второстепенное. От нас ждут уголь. Уголь!

— За уголь платят им, нам — за погонные метры! — Борис сверлил мастера лучом своей конюгонки.

— Не умничай, Дербенев! Кому нужны будут погонные метры, если не будет угля? И... В конце концов сменой руковожу я. Б-б-бросайте инструменты и м-м-м-марш к в-в-вагонетке!

— Бабой своей командуй! — выкрикнул Борис. — Видали мы таких командиров!

— Я н-н-не знаю, к-к-каких ты видел, но тебя я отстраню от работы и отправлю на-гора.

— Н-на выкуси! — Борис неожиданно заикнулся и разолился от этого еще больше. — Мало того, что принуждает делать бесплатную работу, так еще и угрожает.

— Ты срываешь работу всей смены! — Семаков шагнул к Бесфису.

— Шестерок ищешь!.. — процедил сквозь зубы Дербенев и поднял зажатый в руке клевак. — Хочешь, чтобы на носилках вынесли?

— А ну разойдись! — Михеичев растолкал их в стороны, рванул из рук Бориса клевак. — Где нужно, пошустрей управляйся им!

— Если сейчас же вагонетка не будет стоять на рельсах, п-п-пеняйте на себя! — Семаков повернулся и быстрым шагом пошел по штреку.

Шаги его затихли, за ближайшим выступом потерялся луч надзорки, в забое повисла тягостная тишина. Михеичев крутил переключатель на конюгонке, устанавливал то ближний, то дальний свет, но делал это не потому, что так надо было, а чтобы хоть чем-то занять руки. Борис сопел, затягивая тугой ремень на спецовке, Вадим осторожно шарил лучом по блестящему рельсу и все старался поднять свет на Виктора, посмотреть на выражение его лица, но почему-то боялся это сделать.

Сзади Михеичева, с кровли, крупными блестящими каплями плюхалась о почву вода, и Витка зачем-то начал считать шлепки, но сосчитал до шести и с досадой бросил это занятие.

Не понравился ему этот инцидент с самого начала. Во время разговора бригадира с Семаковым он никак не мог четко определить свое отношение к спору. Когда говорил Михеичев, думалось, он прав, но выдвигал свои аргументы мастер — и справедливость оказывалась на его стороне.

Виктор не хотел вступать в спор, слушать спорящих было неприятно, но и идти поднимать эту пя-

титонную машину тоже не ахти как хотелось, однако же, коль такое случилось, то должен же кто-то поступиться и временем и заработком, но аварию ликвидировать. Дело тут не в профессиональной гордости или в главенствующем положении, а в том, чтобы уголь бесперебойно шел на-гора. И в этом, самом важном, Виктор был согласен с мастером.

— Сейчас по телефону главному на нас настукает, — изрек Гайворонский.

— Пусть доносит! Пусть хоть самому господу богу жалуется! — Борис потер грязным кулаком нос, отчего все лицо его вигг изменилось, будто он наддел смешно разукрашенную маску.

— Шум будет... — мечтательно, с каким-то восхищением протянул Вадим. — На всю шахту прогремим. Про нас, может, даже в газете напишут.

— Только этого нам не хватало! — резко сказал Михеичев. — Он зло отбросил кайло. — Чего зря время терять? Пошли...

Около вагонетки, невесте как забурившейся на разминковке, в двух метрах от погрузочного люка, с распилами в руках копошились Семаков и машинист электровоза. Колеса вагонетки по самым осям врезались в почву, между шпал хлупала густая холодная грязь — смесь размокшей породы и угольного штыба.

Мастер с ног до головы был забрызган липкой грязью, мокрый распил вертелся в руках, а он, пытая и оскользясь, старался подsunуть его под ось вагонетки. Машинист черными руками толкал ее в бок с другой стороны, но делал это нехотя, больше для вида, потому что ни на капельку не верил в успех этой затеи.

Залепанная черной жижей, наааленная доверху серыми породными глыбами машина даже не вздрагивала, стояла, будто намертво зацементированная. Да и сам Семаков суетился с распилом скорее от отчаянной безнадежности что-либо сделать такими чрезмерно малыми силами.

Он вконец выдохся от бесплодных попыток засунуть вагу под ось. Грязь брызгала ему в лицо и вместе с потом текла к подбородку, холодными липкими ручейками ползла за ворот спецовки. Семаков глухо и как-то обреченно костерил и эту трижды проклятую вагонетку, и несговорчивых проходчиков, и то, что надо же всему этому случиться именно в его смену и именно тогда, когда в лаге все в порядке, лишь нажимаешь кнопки и на всю мощь качай антрацит. Теперь же крупного разноса, притом в крутых выражениях, на которые был не скуп главный, не избежать.

Александр Иванович поскользнулся и упал, каким-то бабим писклявым голосом выругался вслух и, совсем подавленный и обессиленный, смахивая со спецовки грязь, поднялся.

— Плавать в муляге учишься? — Михеичев стоял с другой стороны вагонетки и шарил по колесам лучом света, прикидывая, с чего начать.

С толстыми распилками подошли Гайворонский и Тропинин. В глубине штрека мерцал приближающийся огонек Дербенева.

— Самоставы есть? — спросил бригадир.

— К-к-какие тебе с-с-самоставы! Не видишь, по самый пуп села. В-в-вагами н-надо...

— Домкрат бы сюда, — осторожно посоветовал Вадим.

— А еще лучше подъемный кран, — подтрунил бригадир. — Со стрелой. Пак — и готово! А над головой солнышко горит. Куда подsunешь домкрат?

— Так разгрузить ее, ко всем чертям собачьим, едри те три дыры! — Гайворонский аж каску сдвинул набекрень.

— Слушай, Вадим батькоич, да ты же гений! — воскликнул Семаков.

— А породу по карманам рассуем или этому гению за пазуху нагрузим, — сквозь зубы процедил подошедший Борис.

— Го, за пазуху, что за пазуху! — обиделся тот. — Подгоним погрузочную машину, навалим ей в ковш, а потом...

— Бегом! Гони машину! — радостно гукнул бригадир, подталкивая Витьку в спину. — Вправду говорят, одна голова хорошо, а две лучше.

Витька вернулся без машины, угрюмый и злой.

— Рационализатор... — ворчал он. — У нее кабельто не безразмерный. Всего и хватило на двадцать метров.

— Сам бы мог пораньше сообразить. А если пустую вагонетку подкатить поближе и в нее перегрузить? — на удивление Гайворонский.

— Пупок развяжется от таких каменюк! — набросился на него Борис. — Ближе десяти метров не подгонишь вагонетку!

— У кого он слабо завязан, пусть газдовичкой торговать отправляется, — поддел Дербенев мастер и решительно скомандовал: — Ну, братцы-кролики, взялись!

Оступаясь и падая, обдирая ладони об острые края породы, чертыхаясь и подшучивая друг над другом, они перегрузили породу из одной вагонетки в другую, поставили забурившуюся на рельсы и, уставшие, в мокрых снаружи и изнутри спецовках, вернулись к себе в забой. Хотя и чувствовали проходчики удовлетворение оттого, что авария ликвидирована, добычная бригада может включать струг и качать уголь, как говорится, сколько влезет, — на душе у каждого было мутно.

С левой стороны штрека, у самого забоя, белели сваленные в кучу шпалы, сиротливо и, будто обидавшись на своих владельцев, лежали у недоделанных канавок клевачи, молчали колонковые сверла, и сам забой казался хмурым и неприветливым.

«Они-то могут наверстать, — грустно размышлял Михеичев, краем уха уловив звук включившегося струга и за ним конвейера, а через некоторое время уже отчетливый хрустящий стук падающего в вагонетки угля. — Наш график полетел ко всем чертям!»

Бригадир подумал, что непонятно как-то иной случается в их шахтерской жизни. Надо поступиться своими интересами и выручать других. А упущенного времени им никто не вернет, да и денег не доплатят и головоломку хорошую устроят, коли задания не выполнят, и если бы они отказались разбуривать вагонетку, то никто бы не заставил, закона такого нет, а они вот, хоть и поворачали, но собрались и пошли и сделали то, что надо сделать. Да и с самого начала и они, проходчики, и, наверное, Семаков, пусть смутно, но были не то чтобы уверены, а по крайней мере понимали: дело это надо сделать, и они его сделают, иначе и в глаза друг другу будет стыдно смотреть и на-горы им невесело выезжать.

Мысли вели шахтера дальше, и понемногу спала тяжесть с души. Что ни говори, а приятно было, что его коллеги, ребята, только-только начинающие рабочую жизнь, пошли за ним без лишних разговоров, значит, поступили тоже по велению совести.

На какой-то миг Михеичеву стало по-отцовски жаль их, но он тут же отогнал это чувство.

«Чушь какая! А если бы мой сын был здесь и поступил иначе? Да я б с него семь шкур спустил! Мы ж шахтеры, а не какие-нибудь там...»

Где и кто «какие-нибудь», Петр Васильевич не стал определять, потому что действительно вспомнил своего сына, а вспоминать его совсем не хотел, хотя и давно смирился с тем, что Валерий не пошел по стопам отца — не получилось желанной шахтерской династии, — а двинул (по его же выражению) в финансисты. Торговый институт тоже ничего... Но горный...

Любовь старого шахтера к своему сыну не уменьшилась от этого, но в последнее время он все чаще стал задумываться над тем, что слишком рано у современных юнцов появляется какой-то сухо-рациональный подход к жизни. Грустно было видеть свое чадо и его друзей, которые в пятнадцать лет уже переболели романтикой и неотвратимо превращались в расчетливых старичков.

«Пап, ну что хорошего в твоём погребё? — Эрт он о шахте. — Тетя Эмма, парикмахерша, зарабатывает больше тебя. И над головой у нее ничего не висит. И на пузе не надо ползать. Грязища, темнота...»

«Валера, ты же мужчина! Неужели не хочется почувствовать себя сильным, нужным? — Он не любил громких слов, а по-иному объяснить свою любовь, гордость за многострадальную, опасную, но безмерно милую его сердцу профессию горняка не мог. — Это ж, знаешь, вот этими руками в нутре земли... тепло и свет... а на-горы выскочишь, человеком себя чувствуешь...»

«Ах, ах, ах! А Владимир Евстигнеевич, тот, что сосед наш справа, без всяких страстей-мордастей, чистенький, гладенький, складиком небольшим зазедует, и во дворе у него «Лада» стоит, а около реки дача. Вот там, я думаю, он очень хорошо себя чувствует. Солнце, воздух и вода, и автомобиль в придачу».

«Тебе бы бабой родиться».

«Папуля, среди баб ряды романтиков очень поредели. Поскорее бы замуж выскочить за преуспевающего в жизни жениха и воспользоваться своей эмансипацией. В смысле, на его шее покатайся».

«Святые-то хоть есть что-нибудь за душой?»

«Люблю своих предков, то есть тебя с мамулей, и хочу обеспечить их старость, хоть самую малость. Сами этого не сумели сделать. Ты, я думаю, не откажешься, если я подкачу на собственном автомобиле и приглашу тебя в лес, на речку, шашлычком побаловаться, на природу полюбоваться, в город, в театр смотать. Витрины, магазины, ярмарки, базары...»

«Снаружи все это. Маета, блеск, а внутри что?!»

«Внутри магазинов красивые товары для народа, в театрах — спектакли».

«Допустим, дача сгорит, машина разобьется, что останется?»

«Но ведь в твоём погребё каждую минуту может случиться что-нибудь похуже. Жмяк — и в ящик...»

«Я тридцать лет работаю в шахте, и если завтра случится то, о чем ты говоришь, люди скажут: он честно прожил свою жизнь. И совсем не ради бабарахла. Не за побрякушками приходит человек на эту землю».

«Я понимаю: сделать ее лучше, жить для других, посадить...»

«Просто каждый день чувствовать себя человеком, а не скотом!»

Они говорили на разных языках...

Михеичев встал со шпалы, привычно поплевал на руки, поднял клевач.

— Ну, ребятки, пора за дело. Витя с Борей, ставьте колонки, мы с Вадиком нарастим рельсы.

Штрек разом ожил, наполнился шумом, стуком, казалось, что он повеселел и забыл обиду. По

кровле, почве, по черным распилам и серой породе, металась лучи коногонки, скрещивались между собой, будто острые длинные клинки, резали на крутые ломти поднимающуюся от забоя пыль.

Виктор поставил колонку, заправил бур, подошел к пускателю, мгновение помедлил, потом с удовольствием вдавил тугую, холодную кнопку в корпус. Бур вздрогнул, сердито уркнул и взвыл высоким, звенящим звуком. Виктор потянул рычаг на себя, давая ход штанге, та со звоном чиркнула по камню, а потом начала медленно ввинчиваться в забой. Серой пудрой плеснула порода и туманом поползла по штреку. Рядом взревела колонка Бориса, звук слился в сплошной оглушительный вой, пыль вздыбилась стеной, и мечущийся свет коногонки уже походил на матово расплывшиеся лучи прожекторов в дымном, разбомбленном небе.

Неистовый азарт схватывал в такие моменты Тропинина. Ему и самому хотелось орать что есть мочи, голыми руками наброситься на забой, ломать и крушить породу. Он торопил бур: скорее, скорее, глубже, еще глубже! Штанга медленно ввинчивалась в вековую твердь, парнем овладевало нетерпение.

«Неужели нельзя придумать что-либо побыстрее?» — зудело внутри.

Порой Витька затягивал песню. И, еле улавливая свой голос, сливающийся с ревом бура, он вдруг переставал различать, кто поет — он или бур, или кто-то другой, запрятанный в этой таинственной каменной глубине.

Витьке приходили на память рассказы старых шахтеров о том, что в шахте якобы живет злой шахтерский дух — Шубин, который крадет зазевавшихся горняков, затаскивает в глухой забой и губит там. Он не верил в эти сказки, невеста для чего придуманные. Но говорят, что дух — это душа шахтера, погибшего в завале, да так и не извлеченного оттуда. Вот он и мстит живым. Что ни говори, но от этих мыслей становилось страшно. Витька успокаивал себя: не может такого быть!

Но в чудо Тропинин верил. Надеялся, что когда-нибудь, где-нибудь, неизвестно на каком километре его подземных дорог он встретится с ним. Нет, не испугается — удивится, и многое в жизни станет понятнее. Ведь светило здесь когда-то солнце, если росли леса, из которых явился вот этот уголь.

Сегодня ему петь не хотелось. Не пелась почему-то песня.

Бур шел ровно, без срывов, из шпура горячим серым ручейком текла породная пыль. Колонка дрожала и надсадно выла.

«Ни черта не успеем сделать, — уныло думал Виктор. — Михеичева жаль. Целый месяц без выходных вкалывал. Взял отгулы, один день с засолкой огурцов и помидоров душу отвел, бросил все, спустился в шахту — и вот тебе... График ломаем — разворочится аж до самого дома... Хуже зубной боли».

Колонка Бориса начала давать перебой, потом смолкла.

— Что у тебя? — крикнул Виктор.

Борис нервно дергал ручку подачи, но штанга только чуть-чуть вздрагивала. Витька отключил уставку, подошел к Дербеневу. Тот, чертыхаясь, пытался повернуть застрявший бур.

— Какой олух придумал затаскивать коронки! Была бы она новая, черта с два застряла...

— Не скажи, — вяло возразил Тропинин, а в уме прикинул: «Минут на пятнадцать возни хватит, вполне. Одно к одному». — Если хорошо заточить, не хуже новой визжать будет, — добавил он, убеж-

даясь, что пятнадцать минут, хочешь не хочешь, потерять придется.

— «Визжать, визжать...» — передразнил Борис. — Если бы там, в полированных кабинетах, мужики получше головами думали, то не решили бы победитовую коронку наждаком точить. — Он дал обратный ход штанге, но мотор только обиженно мыкнул, как голодная корова, а бур и не вздрогнул.

— Крутнем вручную, — предложил Витька. — Это верней, а то чего доброго мотор спалим. Ну и вежачая у нас сегодня смена...

— Почему стоим, братва? — подал голос Михеичев.

— Бур застрял, — даже не сказал, а как-то обиженно прокудахтал Тропинин.

— Час от часу не легче. — Михеичев торопливо двинулся к ребятам. — Сила есть, ума не надо. А тут и то и другое потребно. Придавил что есть мочи, дак и защемило. Сколько раз повторял: легче нужно переть на забой, надо с умом спешить. Камень, он ведь тонкого обхождения требует.

— Ты мне коронку новую дай, а потом про обхождение толкуй! — взвился Борис. — Камню инструмент острый нужен, а не это трижды переточенное дерьмо! Какой-то охладом не заточил как следует, а тут возись с ним, да еще с диспутами лезут, воспитывают.

— Такой же, наверное, как ты или он, — Михеичев кивнул на Виктора. — Может, дружок ваш, вместе на танцы шастаете, футбол пинаете, в столовке за одним столом борщ стебаете. Вот отыщите его и как шахтер шахтеру скажите: что же ты, мол, охладом иваныч, подводишь нас! Я, мол, за такие штуки, знаешь, что с тобой сделаю!

Под нажимом ключа бур помаленьку поворачивался вокруг оси, а Тропинин и бригадир, будто заправские пушкары, тянули его из шпура, как шомпол из ствола орудия, и он подавался.

— Или на собрание его, голубчика, вызовите, поставьте лицом к людям и спросите: что же ты вытворяешь, паразит?! Мы работаем, а ты нам палки в колеса... — Голос бригадира удерживался на какой-то грани, отделяющей серьезный тон от шутилого, и Борис не мог уловить ее, эту грань, путался в догадках: то ли Михеичев шутит, то ли высмеивает его или просто издевается над ним.

Бур наконец освободили, и все разошлись по своим местам. Вновь взвыли моторы колонок. Тут-гим гудом дрожал вентилятор, конец полиэтиленовой трубы бился на свежей струе, будто пытающийся взлететь лебедь. И тут под левой гулко стукнулись буферами вагонетки, воздух в штреке качнулся, упругой волной ударил в забой и, мелко дрожа, откатился назад.

«Вторую партию потянули на опрокид», — подумал Виктор, и стало ему радостно, что в лаве дела идут хорошо, уголь плывет к стволу состав за составом, значит, участок выполнит план, и ребята выедут на-гора веселыми, с шутками-прибаутками, гоготом — молотки!

Виктор посмотрел на часы и подумал, что, наверное, вот сейчас на поверхности, над восточной окраиной поселка, восходит солнце. Огромный красивый шар выползает из-за горизонта, багрово блестит в окнах домов, освещает еще не совсем ярким малиновым светом шкивы на копре и тупорылый конус террикона.

В донецкой степи стоит росная тишина, и огромные, длинные тени от строений как бы подчеркивают этот покой и умиротворенность, но потом тени отползут, степь расправится, смехнет сонную дрему и зазвенит и заискрится под слепящими лучами.



Виктор почувствовал себя сильным и немного пожалел, что о состоянии этом нельзя никому рассказать, даже Вадиму. Да и возможно ли поведать об этом скупым человеческим языком, слов не хватит...

И тут он вдруг вспомнил, как однажды в ночную смену в бригаде случилась непоправимая поломка и им ничего не оставалось делать, как выехать на-гора.

Занималось утро. От правого скоса террикона отрывалось, набирая высоту, солнце. Шахтерский поселок спал, и только кое-где дымились трубы. Дым как-то несмело стлался над крышами, будто боялся подняться вверх, опередить солнце. С балкона трехэтажного дома звонко прокричал петух. И миг этот и его неповторимость волновали. Со стороны лесопосадки тянуло легким ветерком. Воздух пах созревшей клубникой, молодым донником, топо-

лями. Тропинин стоял, широко расставив ноги, сняв с головы каску, ветер трепал его волосы, щеkotно обдувал потную грудь, чумазое улыбающееся лицо. Он неотрывно смотрел на пылающий красной медью диск, будто впервые видел такое диво: совсем не яркое, не режущее глаза солнце у истока нового дня.

...«Обурить забой мы, пожалуй, успеем,— подумал, вернувшись к действительности, Виктор.— А что толку? — тут же возразил себе.— Пока рельсы не наростим, все равно палить забой никто не будет. Порода вручную не нагрузишься. Для машины нужны рельсы».

Он переставил штангу, начал бурить последний шпур. Бур находился у самой почвы, и шахтер знал, что бурить будет легче, потому что порода там немного мягче. Отирая со лба грязный пот, к забою подошел Михеичев.



— Поднажмите, ребята, может, управимся. Авось господь бог поможет.

Он поднял палец вверх, и Витька невольно вскинул голову: луч коногонки осветил низкую кровлю с набрякшими, готовыми сорваться волдырями воюющей сероводородной воды, крупную трещину, полоснувшую камень наискосок от забоя к арке, и рядом размытый предыдущим взрывом, нечеткий отпечаток то ли доисторического животного, то ли окаменелого листа.

Михеичев отошел. Штанга действительно шла в породу легче. Но в забое отчего-то стало вдруг темно. Тропинин переключил фонарь на другую спираль и увидел, что она медленно, как догорающая спичка, гаснет. Он поспешно вернул переключатель в прежнее положение, но и первая спираль светилась блеклым красноватым светом.

«Аккумулятор сел».

Виктор шарахнул кулаком по коробке на поясе, но света не прибавилось, наоборот, он с каждой секундой тускнел.

«Беда не ходит в одиночку...» — тоскливо подумал парень и на мгновение размяк, захотелось все бросить, махнуть рукой на долг, на график, сесть возле забоя, закрыть лицо руками и завывать.

Работать у колонки без света — такое же безумие, как пускать дрова в бешено вращающийся зубастый диск циркулярки с накрепко завязанными глазами.

«Болван! — клял себя Тропинин. — Вчера спешил и, наверное, не очень плотно включил аккумулятор на подзарядку».

Он отключил колонку, подбежал к бригадиру.

— Петр Васильевич, аккумулятор сел. Коногонка совсем не светит. Ей-богу...

— Как не светит? — оторопело спросил тот.

— Ну, вот... — Тропинин щелкал переключателем и виновато морщил лицо.

— «Сел, сел...» — с досадой и как-то по-детски, со слезой в голосе передразнил его Михеичев. — Работнички, тоже мне! Ну смена выдалась! Вадим, живо к колонке! Да не жми на подачу, как мерин, бур ломаешь. Ну смена... Бери клевак, с моим светом работать будем. Да смотри по ноге не угоди, — прикрикнул на Виктора, потом, будто извиняясь, но все тем же бранным голосом добавил: — Сапоги жалко, ногу — нисколько. Вот уйдем, а тебя тут оставим. Как до ствола-то доберешься?

— По свежей струе, — как на уроке ответил Витька.

— Ишь, догадливый какой! До обеда на ощупь ползти будешь, миллион шишек набьешь, если вообще дурную голову не сломишь.

— Так аккумулятор же сел. Я виноват, что ли... техника... — соврал Виктор и в темноте почувствовал, что покраснел.

— Проверять зарядку Шишкин будет? Нет, наверное, пока сама жизнь не научит, дак проку от слов мало. Какой же ты шахтер, если у тебя огонька нет! Ты же беспомощней, чем слепой в дремучем лесу. Пропадешь в два счета ни за пюнь табака. Да еще как пропадешь!

Гайворонский добуривал последний шпур и, как всегда, лихачил. То освобождал штангу, оттягивая ее на себя, и мотор вскрикивал на высоких оборотах, то давил на нее изо всех сил, тогда двигатель задыхался, стонал, как от боли, то вновь отпуская... С машинами Вадим обращаться не умел, будто хотел испытать их долготерпение, издевался над ними.

«Вот ты, железяка, крепкая, как сто чертей, а я что хочу с тобой, то и сделаю. Кто сильнее? Визжишь? Вот то-то!»

Михеичев подсвечивал Виктору своей коногонкой, работа шла без задержки.

— Сейчас что... Теперь электрика. А вот раньше... Тогда керосинки. Ух, чертвы бестии! Ну и привередливы. Сильная струя подует — тушит. Ненаарком стукнешь дном — пламя с фитиля фьють — и будь здоров. Беда одна, да и только. Да к лет пятнадцать назад, на сто пятьдесят три-бис работал...

— В проходке? — спросил Виктор, но не для того, чтобы узнать, где работал его нынешний бригадир пятнадцать лет назад, а чтобы извиниться перед старым шахтером за свою неоправимую промашку.

— В проходке, — довольно ответил тот, мол, а где же еще, незачем даже спрашивать, само собой... — Иду, значит, по штреку, забой зачищал, задержался трошки, отстал от бригады. Топаю себе, думы меня обуяли. Не помню какие, но хорошие. Приятные. Когда на-горь идешь, дак всегда приятность на душе устанавливается. Рот раззявил и... тюк керосинкой об стойку... Что делать? Темень в глаза давит, аж моргать больно. Ну, решаю, на ощупь по свежей струе пойду. Ветер, значит, чтоб на-встречу дул. Иду, падаю, поднимаюсь, локти, лоб, колени — все понес до крови.

— Сели бы, подождали, — жалобно посоветовал Витька.

— Кого? — с иронией в голосе протянул Михеичев.

— Кого-нибудь...

— Да к делу-то было под выходной день, а наша смена последняя. Кого ждать? Никто не пройдет. Хоть садись, как ты говоришь, и пропадай задарма.

— Далеко до ствола? — вновь пожалел Виктор.

— В том и вопрос, что километра три с гаком, да не по одной выработке, а с переходом еще на три. По штреку на бремсберг, потом по ходку на квершлаг. Вот я на одном из переходов дак и заплутал.

Бригадир говорил медленно, стараясь подсветить и себе и напарнику. Они почти заканчивали долбить клеваками углубления, укладывая в канавки шпаль, при одном свете было проще.

— Иду, чувствую, дышать стало трудней. Что за чертовщина! Неужели устал? Да не в усталости, чую, дело. Что-то не так. И в голове будто кружится. Да как вспомню! Где-то брошенная выработка была, без проветривания уже полгода стоит. В нее залез. Задохнись к чертовой бабушке. Повернул назад. Да кхочу бежать, а сил нет. Один етрах. Ноги заплетаются, воздуха не хватает...

— Не упали? — нетерпеливо спросил Виктор.

— Выкарабкался... Часа четыре шел до ствола. Шишки уже и считать перестал. Рад без памяти, что жив остался. Зато на всю жизнь запомнил: шахтер без света под землей — как без глаз и без рук, а то и без ног — все вместе. Электрика — дело хорошее, но за ней глаз да глаз нужен.

От лавы по штреку пыл неумолчный гул струга, с хрястом бились о днища вагонеток крупные куски угля, в забое тоскливо подвывал вентилятор, повело сырым воздухом, стало легче дышать, и Михеичев, вытирая пот с лица, пожалел о том, что при всем их желании задержаться в забое, чтобы помочь товарищам наверстать упущенное, они не смогли.

А в том, что ребята остались бы еще на часок-другой, он не сомневался. Поворчали бы, конечно, особенно Борис, но остались. Да Борис, что Борис?... Такой у него характер и даже не характер, а взгляд на жизнь, что ли. Вот и... Мысль Петра Васильевича вильнула на другое.

«А Семаков молодец! Напористый парень. Руководитель таким и должен быть. А то, что бы... Да кх вышло бы хуже».

Борис с Вадимом снимали колонки и громко переговаривались.

— Слушай, Борь, чего ты не женишься? — интересовался Гайворонский.

— Мне без жены баб хватает, — отговаривался тот. — Детей нарожает. А при такой повышенной зарплате, как у нас сегодня, без штанов останешься.

— На свадьбе во как охота погулять!

— Свадьба, ребятки, дело серьезное, — откликнулся Михеичев. — И то надо, и это необходимо, и того пригласи, и без этого не обойтись. Голова кругом пойдет. Туда кинешь, сюда бросишь, а сто человек приглашать необходимо. Больше тысячи средств потянет. Одно разорение. Лучше эти деньги отдать молодым: нате, как хотите, так и распорядитесь. Желаете — вещи-барахло приобретайте, хотите — в путешествие или на курорт отправляйтесь, воля ваша. Да кх ведь осудят люди, пожадничал, скажут. И опять же, что мы — хуже других? У тех пир горой, а мы единственного сына и...

— Петр Васильевич, что-то вы так вплотную к этому вопросу? — спросил Витька.

— Да как же иначе? — Бригадир подсветил ему, ловко ткнул топором по шпале, чуть повернул ее, уложил в канавку. — Плотнее некуда. Так и скажи: «Кончаю свою холостую, безалаберную жизнь, добровольно в лапы эмансипации прущу».

— Кто, сын? — опять спросил Тропинин.

— Не сосед, ясно...

Михеичев было рассердился на себя: отчего ни

с того, ни с сего разоткровенничался? Нужны им его отцовские заботы-хлопоты с предстоящей свадьбой! Может, вовсе не поймут, высмеют старика. Зубоскалить ишь как поднаторели. Палец не то что в рот, на расстоянии не показывай — руку отхватят.

Но эта минутная отчужденность сразу прошла, и Михеичев захотелось поделиться с ребятами своими переживаниями, потому что был почти уверен: не станут они подсмеиваться над ним. Вновь вспомнил сына, но за какой-то зыбкой пеленой, и опять на душе стало скверно, предстоящие хлопоты показались чрезмерно трудными, почти непреодолимыми. Теперь вообще уйдет Валерка из дому, окончательно оторвется от родителей.

Во всех своих помыслах Петр Васильевич желал сыну счастья, даже был уверен, что счастлив он будет, но каким-то другим счастьем, не тем, каким счастлив он, его отец. И горько и непонятно было от этого.

Взять Виктора, Вадима, они будут счастливы? Конечно. В этом он почему-то не сомневался. То ли оттого, что были они не сыновьями, а просто товарищами по работе, то ли потому, что видел: крепкие ребята, жадные до работы и профессию выбрали что надо. Это счастье было понятно. И он чуть-чуть позавидовал им.

Недалеко от забой по-прежнему тяжелыми шлепками билась о почву капель. В месте ударов в камне образовалась неглубокая воронка, и через ее края вода тонким ручейком текла к сточной канавке, мутнела, смешиваясь там с размоченной и измелченной породой и медленно ползла дальше к стволу, к булькающему хрипу водоотливных насосов.

Под лавой ухнул состав, груженный углем, вслед ему завыл на холостых оборотах мотор струга и разом стих. Работа в лаве закончилась.

Воздух под напором вентилятора шуршал по трубам, обвевал забой и широкой бесшумной рекой тек по штреку, заворачивал в лаву и тянулся через нее к запутанным лабиринтам горных выработок.

Проходчики приумолкли. Стучали топорами, клевками, спешили уложить шпалы, нарастить рельсы, но никто уже не надеялся на то, что они успеют закончить цикл к приходу сменщиков. Чертовски нелегкая работенка выдалась сегодня. Ныли руки, болели спины, и пот уже не испариной, а ручьями полз по лицу, смешанный с пылью, лип к телу. Витька, как заведенный, бил и бил кайлом по почве, а порода как никогда казалась твердой и неподатливой.

«Надо успеть, успеть», — твердил он, но клевак с каждым ударом становился все тяжелей и тяжелей. И тогда само по себе приходило: — Нет, не успеем, хоть лопни — не успеем».

Видел Витька, что и Михеичев не так шибко тюкает топором по шпалам и все чаще разгибает спину, закладывает руки назад, пытается подпереть, выпрямить ее. Вадим балагурил, но Витька-то знал, чего это ему стоит. Борис, тот может бросить инструмент, сесть и сказать: все, братва, больше не могу, выдохся. Нет, Вадим будет падать, но такого не позволит. Шутить только будет зло. Впрочем, и Борис сегодня на высоте. Умывается потом, но вкалывает на совесть. Но что они могут сделать, если время неумолимо, а силы не беспредельны?

Мутрно было на душе у проходчиков. И без того выбившийся из темпа штрек отстанет еще на несколько сантиметров, а то и на метр — полтора, если у следующей смены дела пойдут так же. А хорошо они просто не могут пойти. Придут в забой с взрывником — палить нельзя, и завертятся

кутерьма. График проходки окончательно рухнет, как карточный домик. И начнутся бурные собрания, шумные до оголтелости наряды, косые взгляды рабочих лавы.

«Ну что, зашились?! Кишка тонка! Источниками в бойлерную идите!»

И собрания и наряды еще можно как-то перетерпеть, но эти взгляды коллег-шахтеров, их высказанные и невысказанные укоры переносить будет обидно и больно. Зачастит в забой начальство, пойдут суэта, толчея, работать придется с нервотрепными перегрузками.

А вот и они, сменщики. Впереди всех, шурша пересохшими брезентовыми штанами, шел Дутов. Глазок коногонки держал в руке и щарил им по боковинам выработки, будто что-то искал. Он всегда делал так, и каждый раз его спецовка издавала звук трущихся друг о друга кирпичей, все в бригаде знали об этом, вначале подсмеивались, потом привыкли — такая уж у человека походка. Ростом Иван был невелик, но суетлив и задирист.

Сзади двигались еще три ярких луча. Свежезаряженные аккумуляторы калили лампочки на всю мощь. Справа шел Кошкарев. Его тоже можно было безошибочно узнать на расстоянии видимости луча коногонки. Он и на поверхности ходил, низко опустив голову, но там это, как ни странно, не так бросалось в глаза, как здесь, в шахте. Съехавшая на лоб каска с глазком светильника высвечивала впереди четкий круг, и, казалось, Кошкарев, идя по штреку, только тем и занят, что изо всех сил старается догнать убегающий светляк и наступить на него. Над Гаврилой подшучивали.

«Ты — как Олег Попов в цирке. Тот ладошками свет в кучу сгребает, а ты ногами затоптать норовишь».

«Что же, мне в кровлю светить прикажете? В цирке светло, тепло и мухи не кусают, а тут без божьей помощи лоб расширить можно», — полушутя, полусерьезно отговаривался шахтер.

Чуть сзади, конечно же, мерцала коногонка Чернышева. Ее свет так же спокоен, уравновешен, как и он сам. Светит нацеленно, ровно, не мельтешит зря по сторонам, не обращает внимания на мелочи, сосредоточена на главном.

Четвертым был, вероятно, Гриша Ефимов, недавний пэтэушник с длинной, как у гуся, шеей. В его походке было что-то прыгающее, будто шел он по батуту или, дергаясь на своем оркестрантском стульчике, отмерял шаги в такт ударам по здоровенному белому барабану.

— Так, так... — подойдя, проговорил Дутов и начал деловито вставлять глазок коногонки в каску.

— Здравствуйте, во-первых. — Михеичев будто укорил его и вместе с тем извинился.

— Не за что здоровья-то желать. — Дутов, не сумев вставить глазок, снял с головы каску и завертел ее в руках.

— Ты пойдй Семакова спроси! — выкрикнул, не сдержавшись, Гайворонский.

— Я твоего Семакова, знаешь, где видел!.. — зло, но тихим голосом сказал подошедший Кошкарев.

— Сейчас взрывник подойдет, нам что прикажете делать? — Федот Изотович шмыгнул носом.

— Где он, взрывник-то? — спросил Тропинин, вытянув шею, и весь подался в сторону Чернышева, надеясь услышать от этого рассудительного человека какую-то утешительную весть, вроде той, что взрывник надолго задержится или по дороге к ним завернет и отпалит другой объект.

— На складе взрывчатку получает, — каменным голосом бросил Дутов. — И первая путевка, у него в наш забой.

— Запальщик кто? — спросил бригадир.
— Павло! — как камнем, пульнул в него Кошкарёв.

— Хлопцы! — воскликнул Виктор. — Может, его перевстретить и попросить сменить маршрут? Быстренько на другом участке отпалит, а потом у нас...
— Другой его участок у черта на куличках, на Восточном крыле. Может, ты ему поможешь таскать шестьдесят килограммов горенита туда-сюда?! — Дутов вставил наконец глазок, броском напятил каску.

— Да я...

— Ты, я вижу, шибкий очень! — оборвал его Дутов. — С коногонкой вон управиться не можешь. Шахтер... — Он презрительно сплюнул. — С любой помощью Павло докостылит с Восточного крыла до нашего к концу смены. Помощник нашелся! Чтобы носить по шахте взрывчатку, нужно иметь разрешение. Первому попавшемуся охладому не доверят.

— Диспуты, как говорит ученый народ, проведем на-гора, когда со временем попорсторнее будет. — Чернышев отложил в сторону самоспасатель. — Наверстать упущенное необходимо.

— Мне эти «наверстанья» в печенке сидят! — Кошкарёв старался говорить спокойно, но привычка жестикулировать сбивала его на резкий тон.

— Ты, Гаврилка, как мальчишка... — урезонил его Михеичев. — Если бы не эта треклятая вагонетка, дак мы бы...

— Хватит языками муку молоть... — примирительным голосом сказал Чернышев. — Этим делу не поможешь.

Сменщики раздевались, примеряли инструменты, готовились к работе. Помолчали.

— Что там, на-гора? — спросил Михеичев.

— Солнышко вззошло... — со вздохом ответил Чернышев. — День новый начался. Хорошим, ведренным будет. На небе ни облачка, и птицы летят стая за стаей, на юг, стало быть, кочуют. Красота... Так что поспешайте.

Проходчики медленно, с трудом переставляя не померно отяжелевшие ноги, шли по штреку к стволу. Они были похожи на людей, преодолевших мучительно трудную дорогу, в конце которой надеялись встретить что-то радостное, утешительное, но обманулись в своих надеждах, и усталость со всей беспощадностью навалилась на их изнуренные, изошедшие потом тела.

Громко звоня колоколом, промчался мимо состав порожняка. Все четверо инстинктивно прижались к боковым затяжкам, пропустили поезд и, ни словом не обмолвившись, пошли дальше. Встретилась группа добычников. Все белолицые, пахнувшие свежим воздухом осени. По докладам третьей смены они наверняка знали: струг идет, как часы, успевай отгружать уголь. Работенка предстояла горячая, руки чесались. Шахтеры спешили.

Около ствола толпилась группа горняков, ждали клеть. На черных лицах белели только зубы да белки глаз. Умаялись хлопцы в ночную смену.

На кровле, у пульта стволового, маятник был лампочка, заключенная в толстый стеклянный колпак, крест-накрест перепоясанная железным каркасом, и тени людей, стоявших неподалеку, беспорядочно шарахались из стороны в сторону по тесному пространству двора, и казалось, что мечутся они не потому, что качается лампочка, а слезба-ет их и треплет упругая вентиляционная струя, пытается оторвать, закрутить и утащить невесту куда, в чернеющие провалы горных выработок.

Клеть почему-то задерживалась на верхней приемной площадке, и стволовой, низкорослый сердитый

человечек, облаченный в блестящую от воды прорезиненную спецовку с капюшоном, колотил по рычагу телефонного аппарата и что-то кричал в трубку, вызывая дежурного с поверхности.

Струя рвала на нем капюшон, била по телефонной трубке. И он, кривя лицо, с ожесточением отбрасывал капюшон в сторону, будто тот был чужой, опротивевший и ненужный. Наконец, ему надоело воевать со своей водозащитной фатой, он повернулся лицом к воздушному потоку, но теперь струя срывала с трубки слова, которые он силился прокричать, и на поверхности его не слышали.

— ...людей... дей... дей... да пойми ты!.. Порода... рода!.. — кричал стволовой, поворачиваясь к ветру то задом, то передом.

Струя была не холодной, но свежей и влажной. Взмокшие спины ребят остывали. Хотелось есть, курить, поскорее добраться до общежития и плюхнуться в мягкую постель. Вадим стоял рядом с Виктором, ветер бил им в грудь, обвевал лица, и, несмотря на усталость, друзья были наполнены какой-то спокойной, тихой гордостью, что закончилась еще одна подземная смена, прожит короткий, но насыщенный трудом отрезок жизни, и они хотя на малую толику, но уже не те, что были вчера, потому что на незримые миллиметры подвинулись к понятию того, зачем они живут в этом мире.

Грохнув о цапфы, пришла наконец клеть. Диспетчер на поверхности явно самовольничал, нарушал ПБ — правила безопасности — и во время подъема людей решил опустить в шахту лес. Вот почему нервничал стволовой и задерживалась клеть. Шахтер, торопясь, открыл дверки, включил толкач, выкатил вагонетку с крепежным лесом и заспешил еще больше.

— Скорее, братцы, скорее садитесь! — частил он, слегка подталкивая каждого в спину. — У меня сорок вагонов породы скопилось. Ее же, проклятую, немедленно качнуть нужно. За грудки трясут: давай порожняк. А где он? Вот стоит, породой забит. Поживее, братцы. — Он замкнул клеть, бегом метнулся к пульта, всей своей маленькой блестящей фигуркой налег на кнопки.

Клеть дернулась, канаты задрожали, напряглись, как струны, вверху что-то ухнуло, засвиристело, и в следующее мгновение шахтеры ощутили привычную тяжесть в теле, как будто в жили им плеснули свинца и он придавил их к полу, да так, что согнулись колени, отяжелели веки, отвисли щеки, сдавило грудь. Клеть стремительно рванулась вверх, на семисотметровую высоту, неся их к поверхности, к земным тропинкам, застланным осенними листьями, навстречу восходящему солнцу.

Глава третья

Осеню Борис всегда чувствовал себя скверно. Он сам не знал, отчего. В нем поселялось какое-то беспокойное чувство, почти физическое ощущение приближающейся беды. Страх за здоровье или саму жизнь не было. Он даже не думал об этом. Но томительное ожидание изменений в жизни, с которыми надо бороться, становилось невыносимым.

В шахте Дербеневу было немного лучше. А здесь, на поверхности, пространство казалось непостижимо огромным, загадочным, тающим в себе необъяснимую опасность. Это раздражало и пугало. И отчаянная яркость солнца и пронзительная синь бесконечно высокого неба казались обманчивыми, и было достаточно какого-то неуловимого

движения, чтобы все вдруг изменилось. Поползут черные тучи, заполнят окружающий мир мокрым, липким хаосом и слякотью. И тут непременно что-то изменится в его судьбе. Так было в детстве, потом в юности и обязательно случится в зрелые годы.

И вот это письмо от сестры. Оно было коротким, Борис перечитывал его несколько раз, стараясь понять что-то недосказанное, но подразумеваемое между строк.

«Сбылись твои пророчества, милый Боренька,— писала Ольга.— Одни мы остались с Настенькой. Упорхнул Вася-Василек. Что ж, не мы первые, не мы последние. Жизнь, она такая... Кому босичком по мягкой травке, а кому по грязище в кандалах. И ты от нас далеко».

Тогда, перечитывая письмо, Борис вспомнил не сестру, нет. Он смотрел на исписанную страничку, а в голове вдруг с поразительной четкостью всплыл тот дождливый осенний день, неистовый стук в дверь, вскрик обезумевшей Оли и то, как он в майке и комнатных тапочках бежал сквозь колючие, холодные струи, разбрызгивая лужи, и там, далеко впереди, басили длинные, заунывные гудки.

Их было двое, и лежали они рядом — в грязных спецовках, с измазанными углем лицами, только без касок, и Борис сразу узнал отца, но ни на капельку не поверил, что он мертв. Ему показалось, более того, он был уверен, что оба шахтера встанут, привычно отряхнутся и, улыбаясь, скажут: ну, хватит, хлопцы, пошутили, а теперь по домам, чего зря толпиться.

Но шли секунды, минуты, а они бездыханно лежали, устремив подбородки вверх; Борис шарил взглядом по их телам в поисках следов смерти и не находил их.

А дождь, не переставая, сек по грязным лицам погибших, ручьями тек по слипшимся волосам, и лица под струями дождя начинали белеть, в голове у Бориса шумело, и кто-то настойчивым голосом твердил: так нельзя, так не положено. Ему показалось, что говорит это он сам, но подойти к отцу и прикрыть ему лицо боялся. И все вокруг отупело смотрели на этих двоих, будто замерли, приросли к земле.

Шахтеры отравились в нарезной печке от внезапного выброса газа.

В тот год Борис окончил восемь классов, а Ольга перешла в третий. Не увидел отец аттестата зрелости сына, не порадовался его успехам и, наоборот, при жизни не предполагал, что Борис пойдет по его трудному, так трагически закончившемуся шахтерскому пути.

«Эх, Ольга, Ольга, зачем тебе был нужен ребенок, да еще от такого пьяницы, как Василий? — думал Борис, шагая чуть в сторонке от Михеичева. — Ведь советовал, предупреждал. Ну, ничего, только не болей, лисенок. Действительно, не ты первая, не ты последняя...»

...Михеичев, шурша болоньей, приблизился к Дербеневу с Тропининым.

— Давно хочу спросить: почему ты из мастеров ушел? Пять лет лямку в институте тянул и... простым проходчиком...

— Вы сами всю жизнь в проходке работаете, и ничего, не жалуетесь, — ответил Дербенев.

— «Вы, вы»... Я без образования.

— Одни рвутся в начальство, вожжами не удержишь, другие... — Тропинин развел руками. — Нерезьно это.

— Серьезным постоянно быть скучно, — тихо сказал Борис. — Люди могут узнать, о чем ты думаешь, чем терзаешься.

— Государство тебя учило, рассчитывало, что специалистов будет больше, — заговорил Тропинин, — грамотнее станет управление производством. А что получается на деле? Чтобы вкалывать простым рабочим, институтского образования не требуется.

— Дураком круглым был, вот и поперся в институт, — резко сказал Дербенев.

— Твоя дурость слишком дорого обошлась народу, — будто рассуждая с самим собой, произнес Петр Васильевич.

Мимо них, играя солнечными бликами, промчалась белая «Волга». За рулем сидел главный инженер.

Проходчики посторонились на обочину, а потом вновь развернутым строем зашагали по асфальту.

— За эти пять с лишним лет из тебя в институте все жилы вытянут. — Борис сплюнул, засунул руки в карманы брюк, подтянул их. — Зубришь, недосыпаешь, недоедаешь, а придешь сюда на производство — оказывается, твои знания никому и не нужны. Надо уметь вышибать план, и ничего больше. Все твои сопроматы, начерталки, трехэтажные формулы, из-за которых ты психом стал, коту под хвост выброси.

— Не надо преувеличивать. Не надо. — Михеичев говорил мягким голосом и выставленной вперед ладонью правой руки будто осаждал кого-то. — Ведь кто-то же конструирует новые машины, прогрессивные системы разработок выдумывает, надежную крепь разрабатывает, графики работ составляет и прочие мудреные аппараты для облегчения шахтерского труда изобретает. Я, например, без образования всего этого сделать не могу, хоть убей.

Дербенев посмотрел на Михеичева. Хитрит старик или действительно не понимает, о чем речь?

— Всем этим занимаются на-гора, в чистеньких, светленьких кабинетах с кондиционированным воздухом, а не в погребе. — Полуобернувшись, он внимательно посмотрел на бригадира. — А из погреба уголь качать нужно. Уголь... С людьми работать. С живыми, капризными, чересчур грамотными. Как раз этому-то в институтских аудиториях не учат. Не хотят или не могут.

— Машины организовать тоже по-научному необходимо. Чтобы взаимодействие имели. Где, какую, как повыгоднее поставить. Дак и машины эти знать и понимать надобно. А они вон какие сегодня! Одна хитрее другой. Разве можно ее сразу, без образования постигнуть? А если их на участке уйма? Дак и любой конструктор-изобретатель не сразу с карандашником за стол уселся. Как он сможет конструировать, если шахтных условий не знает, если душу тех, кто на этих машинах должен работать, не поймет?

Опять удивился Борис и никак не мог уяснить себе, куда клонит бригадир.

— А Витька-то с Вадимом больше нашего в жизни смыслят, хитрее оказались. — Борис махнул рукой в их сторону.

— Каким образом, поясни! — попросил Михеичев.

— Окончили восемь классов, три года в ПТУ — и будь здоров! Его величество рабочий класс, с дипломом, с квалификацией!

— Нашел чему завидовать. — Тропинин даже приостановился. — У меня, может быть, мечта всей жизни — в горный институт поступить. Может, я сплю и во сне...

— Не пыжься, лапочка, не тяни из себя жилы, — насмешливо оборвал его Дербенев. — Учти опыт ближнего. Ты сколько сейчас зарабатываешь?

— Ну, двести пятьдесят... в среднем...

— Без «ну» триста. А горный мастер сколько? — Борис склонил голову, прищурился.

— Тебе лучше знать, ты им работал.

— Конечно, лучше. Двести двадцать рублей минус подоходный и бездетный, прибавь к этому комсомольские, профсоюзные взносы, присовокупи плату за общежитие... Чистыми выходит сто семьдесят рз. А если у человека семья?

— Но у тебя ее нет.

— Вот поэтому, может быть, и нет... пока...

— Не все в жизни деньгами измеряется, — сказал Петр Васильевич. — Далеко не все.

— Есть и другие интересы, — поддержал бригадир Витька.

— Какие? — быстро спросил Борис.

— Ну, например...

— Что, что «например»? — не дав тому продолжить, выкрикнул Дербенев. — Власть? Удовольствия? Богатство? Положение в обществе? Слава? Ради чего ты спускаешься в погреб и вкалываешь, как скаженный?

— За эту разницу в зарплате упираться горбом в забое нужно, а не покрывать с надзорочкой в руке, — вставил Вадим.

— Тебе потом отвечу. Хотя не маленький, сам должен видеть и соображать. Физически ты не намного больше горного мастера вкалываешь. Машины за тебя управляют. А мастер за смену разов пять на пузе по лаве прошвырнется, и выжимай его, как поролоновую мочалку, и мыло с него капает... Так что... Для чего ты идешь в шахту? — Борис повернулся к Тропинину. — Ради славы? Смотрите, девочки, какой я отчаянный, под землей шастаю, падайте к ногам! Ради почетной грамоты? Ответь тогда мне на такой вопрос. С завтрашнего дня за каждую отработанную смену тебе в торжественной обстановке будут вручать грамоты и ни копейки денег. Согласен?

— Чего ты в крайности прешь! — попытался остановить его Вадим.

— Помолчи! — зыркнул Борис, вновь напирая на Витьку. — А что дальше?! На руках тебя будут под оркестр от койки до забоя носить, свежими розами дорогу устилать, но заметь — ни копейки денег. Через пару недель на твоих штанах дырки на заднице образуются, кишки сохнут, потому как задарма тебя кормить никто не станет. И так дармоедов развелось, хоть пруд пруди. Что дальше? — Дербенев настойчиво требовал ответа, почти убежденный в том, что Тропинин смят и ответов на его вопросы ему не найти.

— Тебе бы, Боря, провокатором у какого-нибудь ренегата служить, едри те три дыры! — Вадим захохотался, как бойцовский петух. — Чего ты ерунду несусветную несешь! Ребенку понятно: без денег прожить пока нельзя. Пока... — нзжал он на последнее слово. — Каждому и славы хочется, и одеться по красивее, и пожрать по вкуснее.

— На все это нужны деньги, деньги, деньги! — Борис будто устал, на лице появилось разочарованное выражение: «Какие вы все бесполовые!» — И в погреб ты лезешь в первую очередь за червонцами, чтобы потом купить все остальное.

— Хорошо! — ответил Виктор. — Завтра тебе прикатят пультан денег, сторублевыми ассигнациями. Целый вагон. Доверху.

Борис безразлично махнул рукой.

— И что будешь делать? Купишь машину? Хорошо. Сто костюмов? Ладно. Стереофонический магнитофон? Цветной телевизор? Дальше что?

— Самолет реактивный, — подсказал Вадим.

— Они у нас не продаются, — отмахнулся Тропинин. — Все, что можно купить, купишь, дальше что? Славу на эти деньги купишь? А уважение людей? Ощущение, что ты не трын-трава, а что-то можешь в жизни совершить, за деньги приобретаешь?

— У вас в ПТУ хороший преподаватель политэкономии был. Видать, толковый мужик попался. Выдрессировал. — Борис ехидно скривил губы.

— По истории СССР тоже ничего!.. — не сдавался Тропинин. — Вот насладишься всеми земными благами, которые можно купить за деньги, дальше что? Ради чего будешь жить? К чему стремиться?

— Мне пультан денег не требуется. Я и тремястами обойдусь. Но почему я, как мальчик на побегушках, в горных мастерских маяться должен? Физически вкалывать не меньше простого рабочего, а получать половину? За что? За то, что диплом инженера имею? Плевал я на такой диплом!

— Сейчас много говорят о техническом прогрессе. Да и не только говорят, на деле видно, вон сколько новой техники, — вступил в разговор Михеичев. — Кто его двигать будет? Создать машину — это еще не все. Ее научить работать надо.

— Найдутся энтузиасты.

Некоторое время шли молча. От соседней шахты наискосок к балке пылил самосвал, и солнце брызгало от его стекол светло-малиновыми бликами. Навстречу проходчикам зачистили люди. Шли аппаратики, или, как их называли, «управленцы» — работники бухгалтерии, планового отдела, преимущественно женщины.

Витька увидел ее сразу, ту черноглазую, что обожгла взглядом у автобусной остановки. Он опустил глаза, боясь встретиться с ее глазами, потом быстро поднял и зарделся краской.

Женщины прошли. Тропинин немного отстал и дважды украдкой оглянулся. На ней были длинная серая джинсовая юбка, коричневый жакет. Темные волосы, собранные в небольшой жгут, игрушечной короной венчали голову.

Дорога опять опустела. Самосвал скрылся за посадкой, и над оранжевой листвой увядающих деревьев висело облачко пыли.

— А что вы вообще знаете о работе горного мастера? — нарушил молчание Борис. — Только то, что он план вышибает.

— Да как кое-что известно... — ответил бригадир.

— Вот именно «кое-что»...

Борис замолчал. Человек он был замкнутый. Ни своими горестями, ни радостями не привык и не любил делиться. Все нес в себе, считая это единственно правильной линией поведения. Иногда сомневался, начинал оправдывать самого себя перед собой же за эту замкнутость и скрытность перед людьми, как щитом прикрываясь услышанной однажды от кого-то фразой: «Кому нужны чужие радости и горе, в этом мире всяк сам по себе». У каждого своих забот хватает, и лезть в душу, прибавлять огорчений по крайней мере жестоко и нетактично. Так думал и верил в это Борис.

Жалости к собственной персоне он не терпел. И вот теперь мысленно клял себя за то, что ввязался в этот никому не нужный спор. Доказать ничего не доказал, да им и не докажешь, просто незачем доказывать.

В дальнем конце поселка, над школой, висели облака и сверкали в лучах солнца ослепительной белизной. Облака располагались слоями друг над другом и до удивления были похожи на крутой разлом пласта фантастически белого антрацита. Слои растягивались, расплзались вширь, хрусталь-

ный уголь крошился, на нем появлялись голубые трещины.

В местах этих изломов и над ними клубилась серебристая пыль, но не оседала вниз, на белый пласт, а легкой дымкой таяла в небе. Облако делалось все тоньше и длиннее и походило уже на гигантский меч.

Справа, из-за терриконов соседней шахты, огромной ватной горой, беспорядочно клубясь, катилась сизая туча. Было непонятно, откуда она взялась и какая сила гонит ее, взлохмаченную, злую, навстречу этой — тихой и чистой. Еще минута — и они обнимутся, схлестнутся, смешаются и закружатся в донецкой выси, то ли в радостном танце, то ли в мучительной схватке.

Тропинин увидел это одним взглядом, и все его существо наполнилось смешанным чувством удивления и восхищения. Открылось вдруг что-то новое, непонятное; будто спал он до этого момента и ничего не видел вокруг себя, не чувствовал, а теперь его разбудили и показали такое, что объясняло ему весь смысл рождения и бытия на этой земле.

«Вот в чем смысл жизни...» — размеренно гудело вверх, в синем бездонном небе, и Витька напряженно вслушивался в этот гул и все пытался угадать, где он, в чем этот смысл.

— Смотри, Вадь! — Витька сцепился в его руку и остановился. — Что делается-то...

— Где? — не сразу понял тот.

Клубящаяся гора, кружась, накренилась, будто наткнулась на что-то твердое, тяжело осела одним боком на острие меча, застопорилась, и тогда белоснежное лезвие вонзилось в сизую вату, скрылось наполовину, потом вздрогнуло и, влекомое мутной круговертью, разломилось пополам, осыпая искрящимися брызгами и разбойную тучу и небо вокруг себя.

Искры же погасли в сизой пучине, будто костер, щедро залитый водой. Туча замедлила бег, словно пережевывала своей серой мутью хрустальный пласт, и, растворяя в себе его сияющую белизну, медленно и важно поплыла вдаль, за поселок, клубясь горбатыми глыбами.

Вслед за первым облаком из-за горизонта показалась целая гряда других. Все они были темными, наливались свинцовой тяжестью, плыли навстречу солнцу, и Виктор с сожалением подумал, что к полудню они закроют все небо, а к началу их смены пойдет дождь.

Ему подумалось о том, что, наверное, не обратил бы внимания на эти облака, не будь он шахтером, не зная чувства стесненного пространства и висящей над головой каменной толщи планеты.

Проходчики степенно шли по поселку. Из раскрытой форточки на первом этаже вкусно несло запахом жареной картошки. Вадим шумно потянул носом, сладко причмокнул губами.

Сверкая никелированными частями, на большой скорости прохатила «Ява». В голубом шлеме с лихо нарисованными стрелами по бокам, слегка пригнувшись за рулем, сидел Игорь Малахов, которого земляки за звонкий и в общем-то приятный голос прозвали Карузой.

Обгоняя шахтеров, с тугими ранцами за плечами, с пузатыми портфелями в руках стайками и в одиночку спешили школьники.

Воздух наполнился звонкими голосами, мальчишки и девчонки перебегали друг друга, спорили о прическах, газовых зажигалках, о кино и хоккее. «Мне бы в свое время ваши заботы», — с горькой усмешкой подумал Борис.

Вверху, в самой выси, продолжали густеть облака.

Глава четвертая

В кабинете директора шахты было так накурено, что в дыме мог застрять не только топор, но и увесистая кувалда. Курили все разом с какой-то обреченной жадностью, будто каждая затяжка была последней в их жизни или по крайней мере они заключили жестокое пари: кто меньше всех выкурит — тому голову с плеч.

Директор шахты, тощий, изможденный человек с желтым, осунувшимся лицом, вытирал платком шею, крутил чубатой головой, будто хотел освободить ее из тесных объятий воротника, и болезненно морщил лицо. Станислав Александрович, главный инженер шахты, седой мужчина средних лет, с аскетическим лицом, на котором блестяли маленькие бесцветные глаза, придававшие взгляду сверлящую и хищную пронзительность, беспокойно ерзал в кресле. Казалось, он вот-вот вскочит, грохнет кулаком по столу и задаст такой разгон, какого еще никто не видывал. А повод для этого действительно был.

На западном бремсберге, самой ответственной и напряженной горной выработке, по которой текла добыча всего крыла и поступал весь груз со всеми необходимыми материалами для лав и проходческих забоев, на этой артерии-хормилице, произошли ЧП.

Многотонный состав породы, сорвавшись с каната, с сумасшедшей скоростью ринулся вниз, сметая все, что попадалось на пути. Вагоны сошли с рельсов, перевернулись и, влекомые собственной тяжестью, кубарем катились вниз. Ломались стойки, ухала освобожденная от крепи порода, металл и камень свились в невообразимой круговерти, в какой-то дьявольской пляске, остановить которую было выше человеческих сил. Зловещий «орел» делал свое недоброе дело.

В пяти местах были выбиты арки крепления, там образовались непролазные завалы. Рельсовый путь был разворочен, будто взрывом.

Арсентий Георгиевич Машенко, директор, перестал вытирать шею, поднялся с кресла, подошел к окну.

— Так что будем делать? — сказал, медленно обводя всех взглядом. — Сообщать в комбинат или как?

Главный стукнул ладонью по столу, резко астал, сунул руки в карманы, шагнул по кабинету.

— Может, горноспасателей вызвать? — осторожно предложил начальник ВШТ — внутришахтного транспорта, и сам, наверное, не поверил в реальность этой затеи, потому что опустил голову и быстро забарабанил пальцами по столу.

— Ты чем думаешь, Когут? — сверкнул глазами главный. — Что они будут спасать? Твою репутацию? Обвалы без человеческих жертв спасатели не разбирают. Это не их функция. Самим выкручиваться надо.

— И как можно скорее, — добавил Машенко, подошел к креслу, сел, прикурил от догорающей папиросы другую. — Если завалим план этого месяца, со всех нас и с каждого в отдельности портки снимут и одерут крапивой. Будь оно трижды проклято!

Никто не понял, что означает это «трижды проклятое оно».

— Может, есть смысл перебросить часть рабочих на Восточное крыло? — опять не то спросил, не то предложил Когут.

— Что ты этим выиграешь? Может, посоветуешь,

как увеличить производительность струга? — Директор снова достал платок и вытер мокрый лоб. — Восточное крыло полностью обеспечено рабочей силой.

— Что это ты все предлагаешь, Когут? — Главный погасил окурок в пепельнице и остановился рядом с начальником транспорта. — Ты когда канат проверял?

— Мастер докладывал...

— Меня не интересует, когда его осматривал мастер, я спрашиваю, когда ты сам, лично осматривал канат?

— У меня нет оснований не доверять горным мастерам, — твердо сказал Когут, поднял голову, пристально посмотрел в глаза главному, но не выдержал его колющего взгляда, отвернулся, как провинившийся школьник, спрятал руки под стол. — И вообще...

— Что «вообще»? — Главный почти кричал. — Меня ничто не интересует вообще... Мы поставлены перед фактом остановки трех лав, а не вообще!

— На весь комбинат прогремим, тыфу ты, мать честная! — Директор горько покачал головой. — Только было наладилось, и вот тебе...

— Канат был в п-п-порядке. — Семаков смутился, покраснел, и получилось так, что он будто бы оправдывался сам и защищал начальника шахтного транспорта.

— Тебя никто не спрашивает, Семаков! — крикнул Станислав Александрович и опять повернулся к Когуту. — Ты когда в шахту лазил?

— Вчера две смены торчал... — обиженным голосом сказал тот и поджал губы. «Себя не жалеешь, из шахты почти не вылазишь, и вот тебе, получиай благодарность. Дождешься ее от этого Мефисто-феля!»

— Ты можешь торчать там сколько тебе заблагорассудится. Это меня не касается. Ты мне обеспечишь безаварийную работу транспорта. Безаварийную! — повторил главный и постучал согнутым пальцем по столу.

— Кто в предыдущую смену проверял путевое хозяйство бремсберга? Где начальник ВТБ? — Мащенко заметил сидящего за столом Игнатова, кивнул головой в его сторону. — До тебя мы еще доберемся.

Директор недолюбливал начальника участка безопасности. Слишком часто им приходилось встречаться, и встречи эти, как правило, происходили в конфликтных ситуациях. Такова уж была должность у Игнатова — самая что ни на есть каверзная и скандальная на шахте.

ПБ — свод правил техники безопасности — суровый закон жизни и работы под землей. Малейшее отклонение от этих правил, а тем более нарушение их грозит очень серьезными последствиями. Надзор за пунктуальным соблюдением правил безопасности каждым рабочим, как и руководителем любого звена, возлагался на участок ВТБ во главе с начальником, горным инженером Сергеем Сергеевичем Игнатовым. Был он энергичен, вспыльчив, но трудолюбив и честен по высшей мерке этих человеческих качеств.

Игнатов ерзнул на стуле, погладил вспотевшую лысину.

«Пожалуй, на всю катушку врубят. Пощады не будет».

Фактически его участок не был виновен в случившемся. Но... кто же ее определит, эту грань ответ-

ственности. Сейчас все пойдет по пословице: лес рубят — щепки летят.

«Надо немедленно спускаться в шахту, ликвидировать последствия аварии, а не искать виновных. Что от этого изменится? Я виноват, или Когут, или главный механик, роли большой сейчас не играет. Завалы расчищать нужно, а виновника в спокойной обстановке отыскать».

Сергей Сергеевич вытащил платок, тщательно промокнул им лысину. У сидевшего рядом начальника участка Плотникова по полным щекам обильно тек пот. Он не вытирал его и, почти беспрестанно жмуря глаза и выпячивая губы, сосал сигарету. Сигарета, как нарочно, была вонючей, с густым, едким дымом.

«Чего, дурень, психуешь? Ты-то наверняка не виноват», — подумал Игнатов и отмахнулся от облака дыма.

Секретарь шахтного комитета комсомола сидел напротив Сергея Сергеевича и, очевидно, подражая главному, пытался тоже сверлить окружающих взглядом. У него это плохо получалось, как в неотренированном школьном спектакле, но он не догадывался об этом и старался вовсю. Кулькова первый раз пригласили на важное совещание, и он был горд этим. Встречаясь взглядом с главным инженером или с директором, Кульков сразу как-то снижал, острый его носик еще больше заострялся, будто сам, против воли хозяина, тянулся к начальству, и все лицо выражало сплошную готовность к услуге.

Игнатов покосился на него и почувствовал какую-то неловкость, будто в порядочном обществе сидел перед ним неприлично одетый человек или, того хуже, совсем голый.

«Тебе-то тут чего нужно, сынок? — взглянул на Кулькова Игнатов и тут же забыл о нем: мозг был занят другим, и Сергей Сергеевич опять с грустью подумал о не существующей для него и его коллег «графе особых заслуг», а то сколько бы добрых дел, сколько несвершившихся аварий, предупрежденных жертв было бы записано там на их счет! — До меня он еще доберется. А чего добираться? Не любит директор меня. Может, придется подыскать другую работу, на соседней шахте?»

Последняя встреча начальника ВТБ с директором состоялась на прошлой неделе. В Первой западной лаве, на участке Плотникова, непозволительно далеко отстала подрыжка вентиляционного штрека. У бригад пошел большой уголь, и о штреке на время забыли. Руки, как говорится, не стали доходить. Ситуация складывалась не то чтобы катастрофическая, но чреватая большими неприятностями.

Дело в том, что выход людей из лавы был серьезно затруднен, и, пока там шло все своим чередом, пока не произошло ЧП, шахтеры спокойно выползали на штрек. Так могло длиться сколько угодно. Но, не дай бог, случится беда, и людям придется покидать свои рабочие места в аварийном порядке, когда секунда промедления может стоить жизни, — в такую узкую и непомерно длинную щель бригаде трудно протиснуться — не то что за секунды, за час не управившись.

Это грубое нарушение правил было обнаружено мастером ВТБ. Дежурившего Семакова тут же предупредили.

Вечером Игнатов позвонил Плотникову:

«Иван Емельянович, тебе докладывали...»

«Послушай, дорогуша, Сергей Сергеевич, подожди пару дней, уголь пошел, почти два месяца чужих плана выдадим».

¹ ВТБ — вентиляция, техника безопасности.



«В штреке грубое нарушение...»

«Ничего не случится, уверяю тебя. Дырка там есть, чего еще? Первый год замужем, что ли!»

«Она настолько мала, что в лаве воздуха не хватает. Неужели ребят не жалко, они задыхаются».

«Да не жалея ты их, не жалея! Работают, как черти, удержу нет. Соскучились по настоящей работе».

«А если что случится?»

«Вы там, на ВТБ, все склонны преувеличивать...»

«Иван Емельянович, распорядитесь подогнать подрывку. Не надо нам ссориться. Есть правила, и мы обязаны их выполнять. Речь идет о безопасности людей, работающих в лаве. Отставание штрека надо немедленно ликвидировать».

«Да нет у меня людей для этого! — Плотников помолчал и добавил: — А то что, доложишь Мефистофелю?»

«Обязан».

Утром Игнатов спустился в шахту и нашел положение на вентиляционном штреке Первой западной лавы угрожающим. Штрек отставал от лавы более чем на десять метров, что превышало допустимые нормы почти в шесть раз. В тесной, узкой щели свистел ветер и, насыщенный угольной пылью, как песчаный вьюн, сек лицо. Сергей Сергеевич с трудом протиснулся в щель, залез в лаву, с горькой усмешкой отметил про себя:

«Плотников со своей комплекцией, пожалуй, не пролезет. Застранет, закупорит лаву, и все останутся без воздуха. Зарапортовался, козел!»

Внизу на всю мощь скрежетал конвейер, с грохотом врезался в пласт струг. Потные, черные, как черти, шахтеры, с глазками коногонки на лбу работали с каким-то лихим остервенением. Многие были без курток, блестели голыми спинами, будто загнан-

ные черные кони. Игнатов спешил, но залюбовался ими, на миг замер, сидя на коленях.

«Может, не надо отрывать шахтеров от работы? — одолели сомнения. — Я же лишу их радости». На это наплыло другое: «А если что случится? Все могут остаться здесь...»

Он громко позвал к себе бригадира.

— Немедленно остановите лаву и выведите бригаду вниз, на откаточный штрек!

— Вы что, Сергеевич, рехнулись?

— У вас нет верхнего выхода из лавы.

— Только и всего-то... Чуешь, ветерок веет?

— Разбираться будем на-горь, а сейчас выполняйте приказание!

— Да вы знаете, что с вами Иван Емельянович сделает за такие выверты! Он же вас при помощи директора в порошок сотрет!

— Я этого козла!..

— Это кто же «козел»?

Игнатов подполз к стругу, цвякнул кнопкой отключения.

— Все вниз. Кто посмеет включить струг, пойдет под суд!

Вместе с бригадой он спустился вниз на штрек, нехотя пошел к телефону, попросил соединить его с директором. Ничего хорошего для себя Игнатов не ожидал. Это был как раз тот случай, когда ВТБ становилось костью поперек горла у руководителей добычных участков, а заодно и у руководства шахты.

— Я остановил Первую западную лаву.

— Кто это — я?

— Игнатов.

Очевидно, ему уже доложили о случившемся.

— В шахту поехал Плотников, решайте на месте.

— Решать нечего. Работы в лаве я запретил.

— Немедленно поднимайтесь на-гора, пишите объяснительную записку. Я жду у себя в кабинете.

Мащенко был один. Видно, решил поговорить с глазу на глаз. Игнатов вошел, молча положил на стол объяснительную, не дожидаясь приглашения, сел.

— Палку в колеса решил вставить? — спросил директор и отодвинул записку.

— Нет. Предупредить ЧП. Достаточно...

Арсентий Георгиевич не дал ему договорить.

— Чего там достаточно, чего нет, мне лучше знать! — Он посмотрел на бумагу, но по всему было видно, она его мало интересовала.

Начальник ВТБ не искал его взгляда. И так все ясно.

— Ты остановил по-ударному работающую лаву, формально ты прав, поступил по букве подземного закона, но мог бы не делать этого, если бы болел за план добычи. А то, видите ли, против своей совести пойти не могут. За уголь шею намылят мне в первую очередь, а вы со своей чистой совестью останетесь в стороне.

Сергей Сергеевич достал сигарету, чиркнул спичкой. Директор вскочил, хлопнул по столу.

— Где ты был вчера, позавчера, когда штрек отставал на два, три метра, а не на двенадцать, как сегодня?!

— Я предупреждал Плотникова, думал, что...

— Видите ли, вы думали! Чем ты думал? — переходя на «ты», спросил Мащенко.

— Плотников был предупрежден, когда штрек отставал на четыре-пять метров. — Игнатов встал, посмотрел директору в лицо: «Мне нечего бояться». Тот не отвел взгляда: «Каков наглец!»

— Почему ты не остановил лаву, когда отставание превысило норму на пятьдесят сантиметров, на десять миллиметров?

— Все зафиксировано в путевках мастеров, в которых расписывается начальник участка. Плотников не принимал мер.

— Я спрашиваю, почему ты не остановил лаву, когда отставание штрека превысило норму?

Игнатов не ожидал такого поворота дела. Будучи человеком порядочным, он той же меркой мерил других и полагал, что начальник участка сам поймет сложность ситуации и примет меры. Просто должен был, обязан был по долгу службы принять их.

— Ты мог это сделать?

— Мог.

— Почему не сделал?

Конечно же, начальник ВТБ мог остановить лаву, когда подрывка штрека отставала на пятьдесят сантиметров. Но кто же прибегает к столь жесткой мере по такому небольшому нарушению? Не приняв так... Смешно получается. Да и сам Мащенко скажет: «Придираешься к мелочам, палки суешь...»

— А потому, что ликвидировать отставание в пятьдесят сантиметров можно в считанные часы, а двенадцать метров — за сутки не управиться. Ты знал это. Знал, что участок недодает тысячи тонн угля, и ударил Плотникова под дых.

— Он сам себя ударил.

— Дурачок, значит! Он уголь качает. Уголь!

— А я слезу за техникой безопасности! — Сергей Сергеевич разозлился. — Чтобы на кладбище поменьше звездочек было. Меня люди интересуют, а не тонны!

— Резонно! Так кто тебе мешает следить за техникой безопасности? Почему вовремя не уследил?!

Игнатов сел, раздавил окурок в пепельнице. Директор поправил пышный седеющий чуб, тоже сел.

— Спускайся в шахту и там на месте с Плотниковым разрешите проблему. Ошибки надо сорбца исправлять. — Голос его примирительно подобрел. — Как начальник ВТБ, я не разрешу никаких работ в лаве до тех пор, пока...

— Ну, что ж... — поджав губы, зловеще сказал Мащенко. — Горная инспекция тебя поддержит. Иди, ты мне больше не нужен.

Неприязнь Мащенко к Игнатову после этого случая усилилась. Он не преследовал его по службе, но чувства свои скрывать не считал нужным. Не любил директор строптивых. Во всем хотел, а зачастую требовал беспрекословного выполнения его распоряжений. Ему бы полком командовать, а он в горячки поперся!

Характер у шахтеров не мед, иной раз нужно и голос повысить и крепкое словцо употребить, но все-таки шахта не армия, рабочий процесс там подразумевает коллективное и добровольное начало.

И вот новая стычка. Игнатов поерзал на стуле, опустил голову. Главный инженер и Кульков сверлили его взглядами. Воротник рубашки Плотникова до того взмок, что его хотелось выжать, и весь он был похож на человека, только что вынырнувшего из воды. Лицо блестело, пот каплями выступал на носу, тек к подбородку и собирался в воротнике.

Дым почти закрыл люстру и валил в форточку, наружу, как из трубы. Курить таким манером было заведено самим хозяином этого кабинета. На некурящих здесь смотрели подозрительно.

«И надо же этому чертову канату оборваться в самый неподходящий момент, — подумал Игнатов, готовый к тому, что сейчас начнутся поиски «козла отпущения», и скорее всего им станет он или Когут. — Уйду я с этой богом проклятой должности. Вот Плотников, Когут живут как люди, в кино ходят, а Когут ухитряется по месяцу в шахту не опускаться. Главный что-то пронюхал, ишь, как ярится. Когда в шахте был? Санечка Когут туда ходит, когда авария случится или большое начальство нагрянет. Плотников — добряк и трудяга, совесть имеет. Вон как взмок, козел».

В кабинет вошла секретарша, с независимым видом приблизилась к столу директора, положила перед ним какие-то бумаги и молча удалилась. На дым она привыкла не обращать внимания, к тому же сама рьяно курила: двух пачек сигарет на день не хватало.

Мащенко на минуту умолк, отложил бумаги в сторону и повторил вопрос:

— Так кто проверял путевое хозяйство бремсберга?

— Мой мастер, — робко отозвался Когут.

— Кто именно? — попросил уточнить главный.

Память на лица и фамилии у него была феноменальная. Он знал на шахте почти всех шахтеров в лицо и по фамилиям, а ИТР и подавно.

— Малахов, — ответил Когут.

— Певец, что ли?..

— Он самый.

— Что он отметил в путевке? — В допрос опять включился Мащенко.

— Было все в норме. На трехсотом метре небольшое вздутие почвы. Оно там с прошлого года. — Когут развел над столом руками: такая мелочь! — Нарушений не было. Малахов врать не станет. Опытный мастер.

— На каком месте оборвался канат?.. — Главный не спросил, выкрикнул.

— Метров на тридцать ниже этой отметки, — тихо сказал Игнатов и совсем опустил голову.

Ему надоело ждать, когда до него доберутся, решил сам вступить в этот не то вопрос, не то спор, не то черт его знает что.

— Ты был на месте аварии? — спокойным голосом спросил главный, и все повернули головы в сторону Игнатова.

— Да.

— Когда?

— Через час после «орла».

— Доложи, что произошло. — Главный опять встал, сунул руки в карманы.

Сергей Сергеевич медленно поднялся, отодвигая в сторону стул, в нерешительности потоптался.

— Мы ждем, — поторопил Машенко.

— Вздутие почвы на трехсотом метре значительно больше, чем это показалось мастеру с ВШТ.

— Нас не интересуют теоретические выкладки! — прикрикнул директор.

— Так вот... — Игнатов успокоился, начал говорить уверенно.

Кульков вытянул нос в сторону начальника ВТБ, прищурил глаза. Плотников наконец достал платок и вытер лицо. Семаков пошарил пальцем в пакете от сигарет, смял ее в кулаке, положил в пепельницу и попросил курева у Плотникова.

— В том месте, где вздулась почва, одна сторона рельсового пути оказалась сантиметров на пять выше другой. — Он покашлял в кулак и продолжил: — Направляющий ролик, что лежит между рельсами и по которому катится канат, оказался перекошенным.

— Ну и что из этого?.. — как спросонья, буркнул Когут.

— Помолчи, — кивнул главный.

— Перекошенный ролик искатал канат до прорези. — Игнатов повернулся к Когуту и объяснял ему: — На канате, вероятно, перетерлось несколько витков...

— Без гипотез, Игнатов! Нам нужны факты. Объективные данные. — Директор откинулся в кресле, пустил облако дыма.

— Эту гипотезу нетрудно доказать. Канат оборвался в том месте, где были порваны несколько витков. Эти витки застряли в ролике, собрались в прорези спутанным клубком, и когда этот моток стал большим, он затормозил скольжение каната, тот намертво застрял и оборвался. — Игнатов умолк и сел.

Несколько секунд в кабинете держалась тишина. Плотников вытирал платком шею. Кульков метался взглядом по лицам главного, директора, Игнатова, и по его растерянным глазам было видно, что он так и не понял, кто тут прав, кто виноват... Впрочем, разобраться в этой ситуации было трудно не только Кулькову.

Когут порывался что-то сказать или спросить, но только ерзал под столом ногами и не решался. Начальнику транспорта было отчего волноваться. Маленький, полненький, он походил на колобок. Когда Саня шел мелкими быстрыми шажками, то казалось, что он не идет, а катится по чуть-чуть неровной дорожке. Шахту он не любил, боялся ее, и было непонятно, что заставило этого человека, больше предрасположенного к работе ресторанной или торговой, пойти в горный институт. Бегать бы ему в белом передничке, с бантиком поперек горла по хмельным залам, а не — Санечка поперся под землю.

В шахту он опускался крайне редко. Но когда появлялся там, то катился из одной выработки в другую и шум создавал вокруг себя невероятный.

— Резонно! — вслух, но будто сам себе сказал Машенко.

— Все просто, как все гениальное! — ни на кого не глядя, тихо сказал главный. — А почему опрокинулись вагонетки?! — выкрикнул он. — Какого хрена они кубарем катились по бремсбергу? — Stanisлав Александрович смотрел на Игнатова.

— Этого я не знаю, — ответил тот.

— Кто знает? Когут, может, ты знаешь? Почему по твоим выработкам вагонетки кандибобером летят?!

— Динамический рывок... — пролепетал Саня и перестал сучить ногами.

— У тебя голова на плечах или кочан капуста? «Динамический рывок»... — передразнил главный. — Рельсы в бремсберге кривые, вот они и сползлись! По прямым рельсам они бы скатились на плиты и уже там грохнулись бы. И... бремсберг цел был бы!

На столе зазвонил телефон. Директор поднял трубку с черного аппарата, поднес к уху. По этому телефону звонили из шахты. Машенко что-то невнятно бормотал, потом оживился, закивал головой.

— Да, да. Все здесь. У меня. Да, да. Сколько, говоришь? Не меньше? Вагонов много? Прикажи разгрузить. Да, да, прямо на штрек. Все до единой! От разминки далеко? Да, да... И главный механик. Это он от фитилей спрятался... Не уйдет. Нет, нет... В полной мере! — Он оторвал от уха трубку, бросил на рычаги. — Звонил Клоков, — сказал, обращаясь ко всем. — Он в шахте.

— Какая нелегкая понесла его в такую рань?! — Главный сморщил лицо, как от зубной боли.

— Егор Петрович до всего сам желает дойти. Работы, говорит, более чем на двое суток. Вот так, мил-дружки. Влипли, как кур в ощи! Надо сообщать в комбинат. Такую аварию с остановкой трех лав на двое суток не утаишь. Теперь подтягивай покрепче портики и успевай встречать комиссии. Черт бы все побрал! Кто же из вас просмотрел этот паршивый ролик? Кто? Ты, Игнатов?

Сергей Сергеевич опустил голову; от бессонной ночи набрякли веки, табак корявой щеткой скреб горло, он чувствовал, как по лысине ползет муха, но прогнать ее то ли не хотел, то ли стеснялся. Наверное, это было смешно, и на душе у него стало совсем скверно.

Начались поиски «козла отпущения». Как же без него. Не будет «козла» — самим придется отдуваться перед высоким начальством. А то... вот он, виновник. Недоработал, недосмотрел... «Конечно, и мы, но... Накажем по всей строгости и впредь не допустим».

— Мои мастера за прошедшие сутки никаких нарушений техники безопасности на Западном бремсберге не обнаружили, — твердо сказал Игнатов, но головы не поднял.

— Но оно было! — напирал директор.

— Оно могло появиться после осмотра выработки мастером ВТБ. При резком вздутье почвы...

— Ты не разводи теорий! У тебя там, на ВТБ, одни профессора собрались! — жестко оборвал его Машенко.

— При резком вздутье почвы... — твердо повторил Игнатов, глядя в глаза директору, и, сам не зная зачем, рубанул ладонью воздух. Он вспылел, но вовремя почувствовал это и сдержался. Не надо грубостей. Необходимо спокойно и обстоятельно объяснить. — ...И резком перекосе направляющего ролика, при постоянной большой нагрузке на него он мог износиться за считанные минуты. А то, что канат в нем застрял и оборвался... это компетенция

главного механика, это его хозяйство. У него спросите.— Игнатов сел.

— Что же, по-вашему, почва — резиновый пузырь?! — с непонятной обидой в голосе сказал Когут, будто эта почва была живым существом, близким ему, а ее оскорбили.

— Главный механик свое получит. — Директор подтянул к себе лист бумаги, что-то записал. — Когда было обнаружено вздутие почвы на трехсотом метре?

— Не помню уж... — нерешительно начал Когут. — С полгода назад.

— Какие были приняты меры? — Машенко продолжал писать и задавал вопросы, не отрываясь от листа бумаги.

— А какие меры? Никаких мер принимать не нужно было, потому что вздутие совсем незначительное и рельсового хозяйства никак не нарушало. — Когут говорил заискивающим голосом, и оттого слова его еще больше, чем обычно, казались гладенькими и скользко-кругленькими. — Перекрепление выработок — забота не моя. Это — хозяйство ОКР¹.

Станислав Александрович вышагивал по кабинету за спинами сидящих у стола. Он был крайне раздражен. И только присутствие Машенко, которого уважал и стеснялся, не позволяло ему сорваться на ругань. Тогда ему стало бы легче.

За эти бранные выходы в присутствии рабочих, а то и женщин его критиковали и в официальных кругах и на собраниях ИТР, а партийный секретарь Егор Петрович объявил ему настоящую войну; он прислушивался, обещал прекратить, на некоторое время затихал, а потом срывался.

— Что вы киваете друг на друга? — Станислав Александрович остановился позади Когута. — Меня интересует: почему вагонетки сошли с рельсов? Бремсберг прям, как стрела. Хоть и на большой скорости, но они должны были скатиться на колесах.

— Игнатов докладывал... перекося там... от вздутия... — Когут дергался на стуле, хотел встать, но не решался, повернул виноватое лицо к главному.

— Ты первый обнаружил вздутие. Почему не принял немедленных мер? Почему, я спрашиваю?!

Начальник транспорта втянул голову в плечи, будто ждал удара. Он чувствовал, нужны какие-то веские доказательства, что ВШТ тут ни при чем, но от испуга не находил ни единого аргумента в защиту самого себя.

— А машинист не мог превысить скорость спуска? — сказал Когут, посмотрел на главного и тут же сник, поняв по его виду, что ляпнул очередную глупость.

— Наиболее вероятно то, о чем говорил Игнатов, — высказался молчавший до сих пор Плотников.

За окном пошел дождь. Крупные капли барабанной дробью ударили по подоконнику, извилистыми струями потекли по стеклу. Ветер шваркнул в окно горсть рыжих листьев, большой кленовый лист прилип к стеклу, забился на ветру огромной коричневой бабочкой.

Через равные промежутки времени вверх и справа тяжело ухало — это скип высыпал очередную порцию угля в бункер, подняв ее на-гора. От многотонного удара вздрагивало здание, и на столе директора ознобно звенел большой граненый стакан, ударяясь о край такого же большого и тоже граненого графина. Машенко осторожно отодвигал стакан в сторону, но того словно магнитом тянуло к графину. Он приближался, тихо замирал и, ког-

да снова ударял скип, радостно вздрагивал и, тонко попискивая, заводил свою стеклянную мелодию.

Отодвигал стакан директор просто так, машинально. Этот звон никогда не надоедал ему, он любил его. Более того, наверное, не мыслил ни этого кабинета, ни своей деятельности в нем без постоянного перезвона стекла о стекло. Когда звон стихал, а это бывало не так уж часто, но бывало, в груди директора поселялась тоска, падало настроение. Значит, где-то там, под землей, случилось ЧП, оборвалась производственная цепочка, прекратился поток антрацита, скип бездействует...

В такие моменты Машенко становился хмурым и раздражительным. Первое время секретарша не могла понять причину столь быстрого и резкого изменения настроения шефа. Потом связь его поведения с работой скипового подъема была обнаружена, но пожилая женщина никак не могла понять, откуда так быстро директор узнает об остановке скипа. Телефонных звонков из шахты будто бы не было, устных докладов тоже не поступало, а он безошибочно и почти мгновенно знал: подача угля на-гора приостановилась. Не могла она также понять, почему Машенко постоянно требует графин с водой и граненый стакан, хотя еще не было случая, чтобы он ими воспользовался. Директор любил кофе.

Директор встал, подошел к окну. Ныло еще в войну простреленное плечо, тупой болью давило в затылок.

«Ах, ты черт! Неужели на пенсию пора? Доктору и на глаза не попадайся, сразу уложит в постель. «Куда вы, голуба, с таким давлением?..» Плотников вон насмеяется: «У вас давление, как у трансформатора напряжение — двести двадцать на сто двадцать семь». Это точно. Не меньше. Горчичников сейчас на затылок и на икры — сразу бы полегало. Может, пора на «заслуженный», дорогу молодым, пока не поздно, уступить?»

Он вспомнил, как позавчера от нестерпимой боли в голове свалился прямо здесь, в кабинете, на диван, рванул воротник, успел позвать секретаршу и потерял сознание. Он даже не испугался — так скоро и неожиданно все случилось. Испугался потом, когда, очнувшись, увидел рядом с собой людей в белых халатах.

Глазами проводил секретаршу за дверь, стеснительно спустил брюки, сжал веки в ожидании знакомой режущей боли от укола магнезии.

«Сейчас скажет, чтобы приложил грелку».

И действительно, молоденькая белокурая медсестричка робким голосом посоветовала употребить грелочку, потому что укол этот плохо рассасывается и потом долго болит.

«Всю жизнь только тем занимался в этом кабинете, что грелочки к заднице прикладывал», — невесело подумал Машенко; от предложения поехать домой или в больницу отказался, немного полежа; зазвонил прямой телефон, он медленно поднялся и приступил к своим директорским обязанностям.

«Как бы опять не сплеховать, — подумал директор, стоя у окна. — Может, и вправду пора на пенсию? Стар стал. Нервы не те. Нагрузки теперь не по силам. Споткнусь вот так однажды и... привет. Наместник найдется. Свято место пусто не бывает. Вот хотя бы Игнатов. Противный, как сто чертей, но хорошего главного инженера ему в подмогу и... Нет, со Станиславом не сработается. Оба как норовистые кони. Плотников? Милый человек, но мяжок для директорского поста, да и опыта маловато. Эх, меня занесло! Так и в гроб лечь недолго. — Он

¹ ОКР — отдел капитальных работ.

вздыхнул, правой рукой потер грудь около сердца, боль в затылке не отпускала. — Проклятая погода! А что я буду делать на этом самом заслуженном отдыхе? Ну, там, шуки-караси, отосплюсь, к морю съезжу, детей-внуков провожаю...»

Ни рыба, ни море не привлекали Мащенко, потому что не знал он как следует всех этих удовольствий, а в глубине души был уверен: загнется в первый же год, как останется без дела. Затоскует и помрет.

Никто не помнит, когда пришел он на шахту директором. Казалось, что так было всегда, с незапамятных времен. Когда даже и этой шахты не существовало, он уже нес свою хлопотную службу. Пожилые шахтеры, те, кто давно на пенсии, тоже пожимали плечами.

«Мащенко? Да он всегда был. Спокон веков. Помню, сразу после войны, в гимнастерочке с орденами и медалями бегал по праздникам. Но тогда он был уже директором. Да, вояку директорствовал. Спроси у Спиридона, он шахту эту рыл. Может, он помнит. Нет, кажется, и Мащенко рыл ее тоже».

Отличался директор необыкновенной щедростью души по отношению к шахтерам и ко всему рабочему люду. Знал все их беды и заботы. И у кого сын родился (встретит, пожмет руку, поздравит), и у кого сарай завалился (подойдет, расспросит, видит — нужда, пообещает материалами помочь и непременно выполнит обещание), и в семье, если мир и согласие нарушены (зайдет, выслушает, пристыдит), а нерадивых на работе, лодырей, тех, кто к горному делу относится нечестно, к такому столбу перед всем народом выставит — на всю жизнь запомнят. Шли к нему шахтеры и с бедами и с радостями, потому что как видели в нем свою и первую и самую последнюю инстанцию власти и справедливости.

Устал сегодня Мащенко, устал. Не железный ведь. Не слушается его чудом не облезший, густой седой чуб, рассыпается по сторонам на прямой пробор, и кажется ему, что волосы налились чугунной тяжестью и давят на череп.

«Хорошие, работающие люди сидят в кабинете. Грамотные руководители производства. Но вот прозвал же кто-то из них этого проклятого «орла», не предотвратил большой беды. Кто? Кого? Игнатов? А может, не Игнатов? Может, валю на него вину, потому что лично не симпатичен? Так не имею права. Он честный мужик. Кого? Скользкий парень. Виллет. Наказать придется обоим. Нельзя не наказывать».

Директор поправил чуб, помассировал затылок, сел. Сколько их, этих аварий, и больших и малых, пережил он! Случались они и по вине его подчиненных и без их вины, по причине коварной сложности нелегкого шахтерского труда в постоянно меняющихся грозных условиях. Хоронил друзей, не спал ночей, избегал глаз шахтерских вдов.

Не меньше было радостей. И первая врубашина, под аплодисменты опускаемая в шахту, а потом, через несколько лет, под такие же, не менее горячие, вывозимая за ненужностью на поверхность, и с цветами провожаемый в забой первый комбайн, и вот пришло время и их выбрасывать на-гора, а в лавы затягивать струги и целые горнодобывающие комплексы. Были рекорды, с цветами, с громом оркестра, с восторженными речами, с принятием еще более высоких обязательств...

Арсентий Георгиевич вспомнил вчерашний обморок, свел брови, потому что думать о случившемся не хотел и было неприятно вспоминать о том, что уже сегодня на шахту понаедет великое множество

инспекторов и проверяющих самых разных рангов — разбирающихся в горном деле и таких, которые ничего в нем не мыслят, — и каждому из них необходимо объяснять причину случившегося, а сделать это без нервозности невозможно, и слегка пожалел, что не послушался доктора и не лег в больницу. Но в следующее мгновение мысль показалась подленькой, нелепой, он посмотрел на главного.

«Ему, что ли, за все отдуваться? Нет уж, терпи казак — атаманом будешь! — Он мысленно усмехнулся. — Атаманом... Если бы все, что я перетерпел, записать в эту атаманскую ведомость, то меня бы давно надо назначить генералиссимусом всех атаманов. — Директор опять покосился на главного инженера, заметил его изможденный вид, молча пожалел: — Прилепят же люди: Мефистофель...»

— Мы так до третьих петухов виновника не отыщем, — сказал Мащенко. — Предлагайте меры по скорейшей ликвидации аварии. — Он взял карандаш, что-то записал. Нажал кнопку — в приемной послышался звонок, в кабинет тут же вошла секретарша.

— Я слушаю.

— Немедленно распорядись опустить в шахту канат, рельсы, шпалы, арочную крепь, лес для рам и костров. Все! Леса побольше.

Секретарша вышла.

— Семаков, иди и проследи, чтобы не было задержки. В случае чего — звони прямо мне или ему. — Он кивнул на главного.

Директор, как до поры до времени сжатая пружина, теперь, решившись, начал действовать.

— Я думаю, — поднялся Плотников, — прежде всего нужно создать штаб по ликвидации аварии. Для координации действий.

— Резонно, — поддержал его Мащенко. — Станислав Александрович возглавит его. Ты, — он указал пальцем на Ивана Емельяновича, — будешь помощником. Я с Игнатовым спущусь в шахту. Кого останется на связи или тут, или в шахте — где удобней. Все.

— Может, я в шахту, а вы здесь?.. — предложил главный.

— Разницы нет. Руководи здесь. Этот участок шахты я лучше знаю. Все согласны?

— Все.

— Теперь предлагайте.

— К первому завалу надо подойти сверху, — продолжил Плотников. — Породу качать на откаточный штрех Первого запада и там ее ссыпать.

— А крепь, рельсы как доставлять? — спросил главный.

— По людскому ходку, — ответил тот.

— Очень долго... — будто рассуждая с самим собой, тихо возразил Мащенко.

— А что сделаешь, — развел руками Плотников.

— Я предлагаю, — поднялся Игнатов, — попробовать перекинуть канат через завалы и начать снизу. И с породой легче управляться, и все необходимые материалы будут под рукой.

— А если лебедка через завалы не потянет? — усомнился директор.

— Поставить направляющие, — сказал, словно чего-то попросил для себя, Игнатов.

— Новый канат каким образом думаешь подтянуть к лебедке? — уставился на него главный.

— Размотать обгоревший до предела, стянуть его вниз, счалить с новым и намотать на барабан.

— Резонно, — опять сказал Мащенко.

— А кто будет стягивать вниз этот канат в аварийных условиях?

В кабинете стихло. Стучал по стеклу и подоконнику дождь, за окном мутным облаком курился промокший терриконт, ухал скип и тихо звенел стакан.

— Иного выхода нет. — Игнатов вздохнул и сел.

— Надо обратиться к комсомольцам, — предложил Кульков.

— Резонно... — с расстановкой сказал директор, помолчал, опустил голову. — Отвечать кто будет?

— За что? — не понял Кульков.

— За то... если не вернутся из завала. — Арсентий Георгиевич не поднимал головы.

— Так... добровольно... — оправдался комсорг.

— Иного выхода нет, — повторил Игнатов. — Обрушение уже улеглось. Все, что могло упасть, упало. Если хотите, я сам...

— Что сам? — громко спросил главный.

— Канат стяну вниз.

— За тебя кто будет отвечать? — как-то безразлично спросил Машенко и поднял голову. — Кто?

— Я сам.

— Отчаянный какой! А если тебе не придется отвечать? Если тебе станет не до дискуссий? Там останешься. Тогда кто? Ты о тех, кто вот тут сидит, подумал? А надо думать.

— Но ведь не обязательно лезть в незакрепленное пространство. — Игнатов вновь встал.

— Резонно! — Директор бросил карандаш на стол, тот с легким стуком откатился в сторону. — Резонно.

— В этом есть смысл! — Главный вскочил. — По всем завалам, снизу вверх пробить временную крепь, и тогда можно перетянуть канат без риска для жизни. Да у тебя башка на плечах! — похвалил под конец.

— Ну! — отрывисто мыкнул Сергей Сергеевич.

— Товарищи! — засуетился Кульков. — Послушайте меня, товарищи! Я думаю, сейчас очень подходящий момент, чтобы дать проявить себя комсомольцам.

— Каким образом? — хмуро спросил главный.

— Надо немедленно создать комсомольско-молодежную бригаду для ликвидации аварии! Это всколыхнет всю шахту. Ребята почувствуют ответственность, доверие... — Кульков распалялся все больше.

— Обожди, Василий, — тихим голосом остановил его директор, обращаясь к Плотникову. — Иван Емельянович, сколько наскребешь квалифицированных проходчиков? Чтобы одни асы...

— В бригаде Михеичева почти все асы, и старые и молодые. Думаю, не подкачают.

— Следует подключить ОКР, — предложил главный.

Кульков сидел будто на раскаленной сковородке, и внутри у него все закипало. Он сгибал спину, разгибал, ерзал по стулу, чесал затылок, кашлял, бледнел, краснел, пытался поднять руку вверх, как школьник, сгорающий от нетерпения получить пятерку раньше всех, но на него не обращали внимания.

Василий хлопнул кулаком в раскрытую ладонь. Ах, черт! Какой момент! И тут же успокоился. Клокочущая в нем жажда деятельности потухла, вступило в силу другое правило, которому он следовал беспрекословно: если с ним не соглашались старшие, он не настаивал. Более того, немедленно переходил на их сторону и активно поддерживал.

— Работенки всем хватит, — вздохнул директор. — Скорее бы расхлебать все это. Может, не сообщать

в комбинат, а? — спросил он, тая надежду, но, очевидно, понял, что она очень слаба, и добавил: — Потом хуже будет. Три лавы не фонт изюма. Ай-я-яй, влипли-то как... Живком в фонт изюма.

Арсентий Георгиевич подумал о том, что в его пятьдесят девять лет, может, уже хватит ползать в шахте. Может, лучше гипертонии подлечить. Вдруг чего не додумаешь по старости, а люди стерпят, простят, пожалеют за заслуги прошлых лет... Пару уколов еще надо бы принять. До чего же болючие, оканные! Будто побитое стекло под шкуру вдавливают. Сегодня надо горчичники на икры и банки на спину... Жена это мастерски исполнит. Хлестче любого доктора.

Нервное напряжение, охватившее поначалу засевавших, постепенно спадало. Ровнее дымилась сигарета, спокойнее звучали голоса. Растерянность от внезапно пришедшей беды улеглась, надо было действовать, исправлять ее последствия, и все настраивались на напряженную, без сна и покоя работу.

Так было почти всегда в этом кабинете. Умышленно ли это делалось, или так получалось случайно, судить трудно. Но руководство шахты и подчиненные казались азартными боксерами, которые перед ответственным боем искусственно взбадривают самих себя, доходят до белого каления, чтобы в предстоящей схватке выложить все, на что способны. Разница состояла в том, что все они, сидящие в этом кабинете, должны были объединить весь свой опыт, что накопили за долгую и недолгую службу в суровых подземных лабиринтах, всю свою энергию, талант и умение.

— Мне кажется, нет необходимости затягивать на лебедку новый канат, — грузно качнулся Плотников.

— Чем же собираешься материалы вверх тягать? Паровозом? — Когут глупо хихикнул и, поняв это, засмущался.

— Счалить старый. Зачем новый канат тереть по завалам? Ведь можно дать гарантию, — Иван Емельянович оживился, — что после ликвидации аварии канат придется заменить.

— Плотников прав! — Игнатов шмыгнув носом и провед ладонью по лысине, прилагивая воображаемый чуб.

— Скажи, Игнатов, сколько метров каната надо выбросить как негодного? — спросил главный.

— Метров тридцать.

— Это уже лучше. На барабане есть запас. — Всем показалось, что Станислав Александрович чуточку повеселел.

— Но счалка может не выдержать. — Директор глубоко затянулся папиромой. — Тогда второй «орел», а на бремсберге будут работать люди. Много людей.

— Без постоянного контроля это дело нельзя оставлять. — Плотников выпустил клуб вонючего дыма и помахал на него ладонью. — Нужно назначить человека, который бы постоянно следил за состоянием каната.

Директор резким движением нажал кнопку, вошла секретарша.

— Срочно разыщите главного механика, пусть доставит в шахту лучших счалщиков.

Кивнув головой, та молча вышла.

— Механик как-то хвастался: не счалщики у него, а артисты высшей категории. Счалку, говорит, днем с огнем не отыщешь. Что твой новый. — Машенко усмехнулся, вспомнив, что в своей далекой молодости был отличным счалщиком.

Зазвонил красный телефон. Директор привстал, жилистой рукой сорвал трубку.

— Слушаю.

Звонили с Восточного крыла. Начальник участка докладывал, что пошел большой уголь, не хватает порожняка.

— Сколько нужно? — спросил Арсентий Георгиевич.

— Сколько дадите, все загрузим!

— Так уж и все! — довольно хохотнул директор. Помогите порожняком, три плана дадим.

— Поможем, дорогой, поможем. Отдам все, что есть. Сам прибегу, в карманах носить буду, каской выгребать! — Машенко шутил и широко улыбался.

— Когут, беги к стволу, распорядись от моего имени приостановить подъем и спуск людей. — Главный инженер, не дождавшись окончания разговора директора, принимал решение. — В срочном порядке пусть качают на-гора вагонетки с породой. Их там собралось черт знает сколько. Собери весь резерв, все до единой вагонетки и немедленно отправь их на Восток. Понял? Действуй!

Когут шариком выкатился из кабинета.

— Давай, милочка, давай... — ласковым голосом бубнил в трубку Машенко. — Дашь три плана, гусь с меня причитаться будет! Слово даю, слово. Будет, будет, Когут побежал. — Он положил трубку, устало отер лицо. — Ну, слава богу, может, Восток выручит с планом.

— Выручит, — уверенно сказал Игнатов. — Там жирный пласт пошел, без занюхав, без присухи. Жаль, что сто вагонов порожняка на Западе без дела стоят.

— Нашел о чем плакать! — бросил главный. — Три лавы без дела стоят, а он — «сто вагонов»... Восток мы порожняком обеспечим — кровь из носу, а снабдить надо.

— На шахтном дворе... у погрузки... вагонеток двадцать, с прилипшим штыбом... — Кульков запинался, никак не мог четко высказать свою мысль.

Станислав Александрович вытянул шею в его сторону, сощурился и терпеливо ждал.

— Может... организовать субботник и отбойными молотками очистить их?

— Дело говоришь, — сразу поддержал его главный. — Только зачем ждать субботы? Немедленно нужно действовать.

— Вот я и говорю... прямо сейчас... Выделите нам компрессор, отбойные молотки, а мы всем бюро... кто свободен... — Василий от волнения не находил нужного тона.

— Собирай бюро, молотки и компрессор будут! — решительным голосом сказал главный. — Я обещаю.

Кульков поспешно, но тщательно расчесал чуб, сунул расческу в карман и быстрыми шагами вышел из кабинета.

Некоторое время держалась тишина. Дождь то усиливался, то ослабевал, прерывистыми наплывами выл главный вентилятор, тяжело ухал кузнечный пресс в механических мастерских. Мимо окна прострекотал бульдозер, и вслед за ним по мутным лужам, разбрасывая ноги в стороны, прикрыв голову газетой, пробежала женщина. От террикона густо несло вонючей смесью пара с едким сернистым дымом.

«Будто резиновым жгутом мозг передавила, проклятая! — мысленно ругнул свою гипертонию директор, вдавливая папиросу в пепельницу. — И ее, эту заразу, бросить бы!» А рука машинально потянулась за другой папироской, он ее достал, привычно покатав в пальцах, но в последний момент зло кинул на стол, поднялся и подошел к окну.

Плотников сопел, то и дело переворачивал платок, тер им шею. Игнатов медленно затягивался сигаретой, отрывисто кашлял в кулак. Машенко обвел их взглядом, остановился на Станиславе Александровиче, и у него как-то горько и вместе с тем приятно защемило в груди. Он посмотрел в окно на дождь, на террикон, на голые и мокрые деревья, вздохнул.

«Рановато мне на «заслуженный». Как я без них?.. Без всего этого — я покойник. Это точно».

Арсентий Георгиевич подумал о том, что пойдут сейчас эти люди, снимут свои чистенькие пиджаки, белоснежные рубашки, натянут брезентовые робы, опустятся в шахту и будут работать, не щадя ни сил, ни здоровья, ни времени, порой пренебрегая опасностью, и сделают все, что нужно сделать, не требуя ни похвал, ни наград, ни других привилегий, но станут счастливы тем, что потечет на-гора уголь широкой рекой, а где-то глубоко в груди, таясь от посторонних, горячим родничком забьет радость от честно исполненного долга, от того, что совесть перед самим собой чиста: сделал все, что мог.

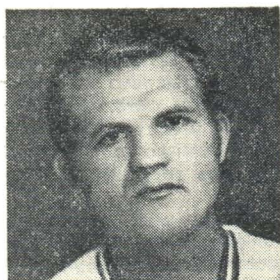
Директор вдруг пожалел о том, что слишком резко разносил их, но, подумав, прогнал жалость: «Не барышни кисейные. Поймут. А коли поймут, не обидятся. Какие обиды? Общее дело делаем».

Машенко представил себе, как с каждой минутой набирает темп заведенная им машина по ликвидации аварии, как решительно закипает бой с каменной стихией, увидел людей, опускающихся в шахту, канаты, рельсы, шпалы, как горняки осторожно подбираются с клеваками в руках к опасно притихшим завалам, шарят лучами конопонок по кровле, будто ошупывают взбунтовавшийся камень, и сам весь сжался от нетерпеливого желания поскорее включиться в эту схватку, и боль, что давила в затылок, отступила, показалось, что мышцы налились прежней упругостью, глаз напрягся остротой, чаще забило сердце... «Годков бы двадцать сбросить с плеч».

Арсентий Георгиевич постоял у окна, потужил о быстротечности лет, утешил себя тем, что не все еще у него осталось позади, вот и сейчас людям нужен его опыт, умение организовать шахтеров, заставить делать то, что срочно необходимо.

— Теперь за дело. Все свободны. — Он отпустил подчиненных, грузно опустился в кресло, потер виски, поднял трубку зеленого телефона. — Оля, соедини меня с комбинатом. Да. С управляющим.

(Продолжение следует)



БОРИС НОВОСЕЛЬЦЕВ

☆☆☆

Рокочут пилы неумно,
И лес гудит над головой.
А бревна — гладки и объемны.
Пропахли небом и смолой.

В лесу работаю впервые.
Как эти бревна тяжелы!
И далеко до перерыва,
И далеко до тишины.

А бригадир на эстакаде
Смеется: «Взялся, успевай!»
Запишет что-то там, в тетради,
И вновь кричит: «Давай, давай!»

И я даю на всю катушку,
На бригадир злюсь и злюсь.
Но — пусть с меня снимает стружку —
Я все сильнее становлюсь!

☆☆☆

Еще не выпали снега,
Хоть время их давно пришло,
И голова моя пока
От тех снегов не побелела.

А если сердце вспыхнет вновь
И загорится, как бывало,
То это будет не любовь,
А копия с оригинала.

☆☆☆

Дождь лил и лл, раскидывал дорогу,
На берегу бездействовал паром.
Наш бригадир клял небеса и бога
За то, что план горел со всех сторон.

А дождь дубасил бешено по трассе,
Не признавая утренний прогноз,
Дорога, перемешанная с грязью,
Держала цепко каждый лесовоз.

Водители судачили, ворчали,
В конторе леспромхозовской скучали,
И выпавший на долю их покой,
Они, бородачи, воспринимали,
Как грубое насилие над собой.

Транзистор надрывался. Пьеха пела,
Потом зарокотал там чей-то бас,
Ну, а душа и слушать не хотела,
Ей не до песен было в этот час.

Эвакуированный

Лешка

Эвакуированный Лешка,
Приехав к нам в глубокий тыл,
Никак не мог забыть бомбежку,
И все за «воздухом» следил.

Недружелюбный и сердитый
Блуждал по небу Лешкин взгляд,
Не верил он, что «мессершмитты»
Сюда уже не прилетят.

...Когда я вспоминаю Лешку,
С чьим детством мысленно дружу,
Я подхожу тогда к окошку
И в небо синее гляжу.

☆☆☆

Спросил он: — Что, достиг ты цели!
Скребешь напильником металл.
Смотри: и кудри поредели.
Ты даже ростом ниже стал.

Вот я живу теперь — куда там!
А ты был первый ученик.
Да я с твоим-то аттестатом
В любую б щелочку проник!

Он говорил мне, рад стараться,
А я жалел, себя виня,
Что не могу я с ним подраться —
Он с детства был слабей меня.

Березка

А я по-прежнему люблю
И человека и букашку,
Любого зверя накормлю,
Любую вырuchu дворняжку.

И то, что раньше не жалел,
Теперь жалею я до боли —
И лес, что рано пожелтел,
И травы, скошенные в поле.

И ту березку, что чуть свет
Гнездо на веточке качает,
Птенцов в гнезде давно уж нет,
Она же в них души не чаает.



МАРГАРИТА КИРИЛЛОВА

☆☆☆

Скакалка ждет!
Как птица рвется
Нетерпеливая душа:
Все пьет прохожий, не напьется
Воды из нашего ковша.
Все пьет прохожий, не напьется,
И вдруг блеснуло, как звезда:
Сейчас уйдет, не обернется
И не вернется никогда.
Но пусть вдали ему приснится,
Куда б его ни занесло,
Такая вкусная водица,
Такое доброе село,
Где я, вихрастая, как галка,
Стою на самом ветерке.
В одной руке моей скакалка.
И ковш в другой моей руке.

Ночь

За окном беспечно бродит лето.
За окном — лирический закат.
Но идет на дуло пистолета
Муж мой, милицейский лейтенант.
Утихает мирный стук калиток.
Беззаботно ходики стучат.
Покачнулся под ножом бандита
Муж мой, милицейский лейтенант.
Соловей выводит трели бойко.
Сонная прохлада входит в сад.
Умирает на больничной койке
Муж мой, милицейский лейтенант.
...Ночь прошла. Звучат такие гимны!
И такие радуги горят.
А в дверях — живой и невредимый
Муж мой, милицейский лейтенант.

☆☆☆

Кто безумно любит марки,
Кто — охотничьих собак,
Я люблю дарить подарки
В праздники и просто так.
Встану утром. Мир так ярко,
Так в березах светел путь...
Сделаю себе подарок —
Подарю вам что-нибудь!

☆☆☆

День уходит, медленно сгорая...
Хорошо всей улице видна,
Маленькая женщина седая
Села у открытого окна.

Отдохнуть ли просто захотелось,
Вспомнить ли про давнее житье!
Вот звезда печально загорелась
Над окном распахнутым ее.
Наливая соком хлебный стебель.
Кто-то лел за полем на тропе.
И одна звезда светилась в небе.
А другая — на ее избе.

☆☆☆

Наверное, что-то случится.
Проклонится розовый след.
По белым моим половицам
Пройдет долгожданный рассвет.
Протянутся руки к побегу.
Откроется солнцу окно.
А я удивлюсь человеку,
Которого знаю давно.

☆☆☆

Улыбнусь через десять лет.
Друг негромко начнет беседу.
Из души его летит свет.
Долог путь к золотому свету!
Я скажу: «Как ты стал богат!»
И беседа у нас прервется:
Я легко оглянусь назад.
Друг мой, вздрогнув, не обернется.
Там горяч и тревожен след
От разлуки и до утраты.
Там и шел он все десять лет,
На ходу становясь богатым.
Там устали его любить.
Там друзей раскололось братство.
...Чем придется еще платить
За невиданное богатство!

Первый хлеб

Убрали хлеб. Закончилась страда.
И сны твои просты необычайно:
Горит над полем поздняя звезда,
И льется песня твоего комбайна.
...Пустынно в поле, тихо и светло,
Но ты приходишь в поле, мой ровесник,
Другие песни спускает село,
А над тобой страды не молкнет песня.
Устало ты проходишь у межи.
Ты знаешь цену многому на свете.
В тебе самом, когда — ты не заметил,—
Произошло взросление души!

☆☆☆

Я всмотрюсь в человека простого.
Бригадира. Героя страды.
Он в беседе смущением скован.
Бугорки на ладонях тверды.
На ветру полиняла рубашка.
Чуб пшеничный. Бесхитростный взор.
Но внезапная музыка Бэха
Вдруг врывается в наш разговор.
Все забыв, застывает на месте
И светлеет лицом бригадир.
И в свободном раскованном жесте
Бьется птицей неведомый мир.

г. Бор, Горьковская обл.



**ВАСИЛИЙ
КАЗАНЦЕВ**

☆☆☆

Своей наивной полнотой
К себе притягивая взгляд,
Во мгле белеющей, густой
Крутые яблоки сквозят —
Полуприкрытые листвою.

...И в каждом — яблонево́й сад.

☆☆☆

Окопы старые оплыли.
Травой высокой поросли.
Окопы старые забыли,
Что были рубежом земли.

Взошли пыреем темнолистым,
Осокой. Холодом речным.
Необозримым полем чистым.
...Высоким голосом над ним!

Рассвет

Во мгле сырой, густой, румяной
Лежит урман.
В глуби урмане
Течет туман.
В глуби тумана
Течет река.
В глуби реки —
Дыминкой красной! —
Плавники...

☆☆☆

На небе чисто.
А капли летят.
Заросли пусты.
А птицы галдят.

Ветер холодный.
А солнце — палит...
Счастьем
Пахнуло!

...А сердце —
Болит.

☆☆☆

— Живу себе, тружусь,
Других не беспокоя.
В начальники не рвусь.
Не зарюсь на чужое.
Но никаких похвал
Ни от кого буквально.

— А кто тебе сказал,
Что это все — похвально!

— Ценю в работе лад.
Чтоб все надежно, к сроку.

— Да и на это, брат,
С какого глянуть боку...

— А разгильдяйство — враг.
Зараза — не иначе.

— Смотри-ка, твердо как.
А мог бы и помягче.

— Юлить! Кривить душой!
Простите. Не по силе.

— Вот видишь, ты какой.
А хочешь — чтоб любили.

☆☆☆

Незаметно родился.
Под сусликом ржанным.
Незаметно учился.
Под навесом лесным.
Незаметно трудился
По-над плесом речным.
Незаметно... простился,
...Поле
Стало
Пустым.

☆☆☆

— О, как же я охотно стал
Теперь читать романы!
— А почему читать их стал!
— А потому, что я узнал,
Как пишутся романы.

— А я навеки перестал
Теперь читать романы.
— А почему ты перестал!
— А потому, что я узнал,
Как пишутся романы.

Фронтóвичка

В страде военной, обгорелой
Рука грубела, мысль черствела.
...Но коль случалось подходить
К реке — смолкала. И светлела.
И улыбалась. И смотрела
Легко. По-детски.
...И не смела
На ответ зыбкий
Наступить.



СЕМЕН
БАБАЕВСКИЙ



ПОВЕСТЬ

ПЕСНЯ

А где мне взять такую песню —
И о любви и о судьбе,
И чтоб никто не догадался,
Что это песня о тебе.

Маргарита АГАШИНА

I

Давно перевалило за полночь, когда мужчина тихо, по-воровски, взобрался на клуню, прилег там и притаился. Небо было в плотных тучах. Над уснувшей станицей Краснокаменной повисла та особенная темень, какая бывает ночью только в горах и только осенью. Не было слышно ни собачьего лая, ни мычанья телки, ни людского голоса. Лишь тягуче и сонно шумел перекал — мимо станицы протекала Кубань. Мужчина отдышался и начал взламывать кровлю, сильными руками рвал жесткую солому, пахнущую прелью и застаревшей пылью. Работал усердно, и наконец-то пальцы коснулись сухого шершавого дерева — стропил. Задышавшись, мужчина припал ухом к разрытому месту. Тишина. «Спит... Это хорошо, ежели спит, — подумал он, с трудом сдерживая дыхание. — Только бы не разбудить, только бы не спугнуть...»

Он снял кубанку, полый пиджака вытер мокрое горячее лицо, подобрал упавший на глаза влажный чуб и, желая окончательно успокоиться, полегал еще. Ему не терпелось побыстрее пролезть сквозь крышу, и он еще с большим старанием принялся за дело. Каблуками сапог пробил небольшую — лишь бы можно было пролезть — дыру и, крепко держась за стропило, опустился. Некоторое время висел на жилистых сильных руках, не решался прыгать, и ему казалось, что вот-вот кто-то схватит за ноги. Одолевал страх, и мужчина, не зная, как ему поступить, вытянулся и тут же носками коснулся пола.

Постоял, стараясь не дышать и не шевелиться. В клуне было еще темнее — воистину хоть глаз выколи! Затем он осторожно сделал два шага в ту сторону, где, как ему казалось, должна была стоять кровать Васены. Остановился и прислушался. Тихо. «Хорошо бы подойти неожиданно, обнять ее сонную, да и сказать ей все, что скопилось на душе, — думал он. — Вот, Васена, и пришел, спустился, как ангел с неба. Обещал же навещать твое жилище... Жаль, что пришлось лезть сквозь крышу, двари-то ты надежно заперла, не войти...»

Мужчина смело протянул руки, словно бы желая раздвинуть ими темноту, и сделал еще два шага. И вдруг что-то упругое, жесткое со свистом полоснуло его по лицу. Удар был таким точным и таким сильным, что мужчина повалился навзничь и ударился затылком то ли о корыто, то ли о бочку. Ладонями он закрыл лицо, чувствуя на глазах и на пальцах липкую кровь. Мимо него кто-то прошмыгнул, загре-

Рисунки
В. Шилова.

мел, открываясь, засов, резко, как выстрел над ухом, хлопнула дверь. В ту же секунду все вокруг стихло, будто ничего и не происходило, и все так же немолчно и сонно вблизи шумела Кубань. Мужчина поднялся и, пошатываясь, вышел из клуны и направился к берегу. Издали слышал резкий, непрерывный стук в окно, дребезжание стекла и истощенный голос Васены:

— Мама! Мама! Открой, мама!

2

Спросонья Зоя не могла понять, кто ее звал и зачем звал. Она вскочила с постели, зажгла свет, открыла дверь и, увидев плакавшую, босую, в ночной сорочке и с растрепанной косой дочку, всплеснула руками и простонала:

— Ой, господи! Ой, Васена! Ой, что случилось, доченька?!

Васена повалилась на кушетку и залилась слезами.

— Ну чего плачешь-то, девонька моя? — обнимая вздрагивающие плечи дочери, спрашивала мать. — Кто тебя напугал? Кто обидел? Да скажи хоть одно слово!

— Он, он, — глотая слезы и не поднимая головы, говорила Васена. — Он залез в клуню...

— Кто залез? — допытывалась мать. — Да говори же толком, кто — он?

— Твой Федор...

— Да ты что, Васена? — Зоя перекрестилась. — Не, не! Не верю! — Она побледнела и, не в силах удержаться на вдруг ослабевших ногах, присела на кушетку. Да и как же такому можно верить? — Ить Федор еще перед вечером уехал в рейс и обещался вернуться только завтра ночью. Откуда же он взялся? И как мог залезть в клуню?

— Как? — Васена посмотрела на мать заплаканными глазами. — Крышу разрыл, проклятый боров, и залез...

— Да тебе это привиделось, — говорила Зоя. — И зачем ему туда залезать? Об этом ты подумала? Зачем ему разрывать крышу? Да ну тебя, ты шуткуешь... Чем крик поднимать, надобно подумать: зачем ему разрывать крышу и пролезать сквозь нее?

— Известно зачем.

— Ох, не мели, Василиса, всякую ерунду, не грешил!

— Я говорю правду.

— Какая же это правда? — с видимым спокойствием спросила Зоя, вставая. — Ну, хорошо, зараз сама проверю, узнаю твою правду.

Она проворно обулась, на голову накинута полушалок, взяла коробок спичек и побежала в клуню. Через некоторое время вернулась и, наигранно улыбаясь, сказала:

— Ну вот, проверила, осмотрела. Пусто в клуне. Доченька, тебе, мабуть, привиделось. Али приснилось. Бывает.

— Как же такое может привидеться или присниться? — Васена всхлипывала. — А дырку в крыше видела? Откуда она взялась, дырка-то? Тоже, скажешь, сон или привидение?

— Может, кто другой разломал крышу, но только не Федя, — уверенно заявила Зоя. — Нет, не Федя! Он же в рейсе. Как он, находясь в рейсе, мог разорвать крышу? Смешно! Я обшарила всю клуню и никого там не нашла.

— Вербку, случаем, не увидела, ту, какой я попосонула по противной его морде?

— Значит, ты ударила того, кто залез, бечевой? — спросила Зоя. — И ты уверена, что ударила Федора?

Он что, сам тебе сказал, кто он? Как ты в темноте узнала, что это был именно Федор?

— Узнала, и все.

— Ну вот что, Василиса, — не желая продолжать разговор, строго сказала Зоя. — Тебе надо кончать с ночеваньем в клуне. Довольно! Хватит! Не забывай, ты уже девушка, а девушке сподручнее всего спать в хате. Спокойно и безопасно. Зараз же пойдем и перенесем постель.

— Утром сама перенесу.

«А что ежели и в самом деле у нее был Федор? — мелькнула у Зои страшная догадка, и в груди тотчас похолодело, появилась тупая пугающая боль. — А что ежели Васена говорит правду? Ежели это он, мой Федя, полез в клуню? И к кому полез, сатанюка? Да что же это такое творится на свете? Как же он посмел? Да что это я, с ума схожу... Нет, нет, не Федя, не он. Федя же в отъезде. — Чувствуя слабость во всем теле, она легла в постель, прикрыла лицо одеялом. — А может, это уже начинает сбываться мое давнее опасение? Отвращается Федор от меня. То заявился, красавец, на своих «Жигулях», увлек, отбил от мужа, а теперь уже начал ухлестывать за другой. И за кем же? За моей же дочкой. Ах, подлюка, ах, кобелюка. Выходит, для него я уже не гожусь. Подавай ему, красавчику, молодую да свежую. Выходит, права была сестра Надя, когда говорила, что никакой любви у меня с Федором нет и не будет... Да что это я, ненормальная? Ить Федя в рейсе...»

— Мама, я полежу возле тебя, — сказала Васена. — Все одно уснуть уже не смогу...

— Ложись, доченька, полежи...

Ах, как же давно Васена не просилась под мате-ринский бок. Кажется, еще с той памятной поры, когда в доме появился Федор. Тогда Васена, пятнадцатилетняя школьница, стала дичиться матери, была с нею неласкова, молчалива. Думая сейчас о своем, горьком, Зоя никак не ждала, что Васена попросится к ней в постель. Ласково, как бывало и раньше, укрыла ее одеялом, потушила свет, обняла, как обнимала когда-то, и вдруг удивилась: так вот оно что, возле нее лежала не девочка, а женщина, словно бы младшая Зоина сестра. Ей стало и радостно и страшно.

«Милая моя, какая же ты стала большая, — думала Зоя, а мысли ее снова обращались к Федору. — Ах, Федя, Федя, да неужели это ты разорвал крышу? Как же тебе не стыдно? И как же ты посмел забраться в клуню к Васене? Да нет же, нет! Что это я, дура, такое думаю? Это не Федя. Быть того не может. Федора нет в станице. А кто же? Наверное, какой-нибудь станичный парубок. Мало ли их... А перепуганной Васене показалось, будто это был Федор. А Федор в рейсе и вернется только завтра. И все же, почему Васене показалось, что это был именно Федор? Вот загадка: почему? Может, в ту минуту она подумала о нем, а может, и поджидала?.. А может, еще и рада была, что сквозь крышу пролез он? Тогда зачем ударила бечевой? Зачем убежала и сказала мне? Неужели это она так, для отвода глаз? Ну что я, совсем уже сдурела. Бог знает, что со мной творится и какие страшные думки лезут в голову. Да ить Васена моя не такая. Я же знаю Васену, она не из тех, она не позволит, она девушка строгая. Да к тому же есть у нее Ванюшка Головин. Разве Васюта позволит такое? А почему бы и не позволить? Ванюша уехал из Краснокаменской, и неизвестно, вернется ли... И опять я о своем, ненормальная...»

Чтобы не думать о Федоре, она прикоснулась гу-

бами к маленькому теплому уху Васены и шепотом спросила:

— Доченька, а как у тебя с Иваном? Пишет?

— Мама, не надо об этом,— ответила Васена.— Лучше скажи, если знаешь... Скажи, как жить на свете?

— Господь с тобой, ты о чем?

— О том, как жить на свете. Скажи, если знаешь.

«Вот так новость,— подумала Зоя.— Как жить на свете? Разве я знаю как? Да и, признаться, не ждала такого вопроса. И зачем ей знать об этом?»

— Как надо жить на свете? — нарочито ласково и весело спросила она.— Тю, дурочка! Что тут такого непонятного? Живи, как живут все люди. К примеру, как живут наши соседи или твои подружки... Что тут непонятного?

— Я не о том, мама. Не о соседях и не о подружках.

— Так о чем же? Не понимаю.

— О том, мама, как жить мне! Вот об этом я часто думаю.

— Нечего об этом думать, нечего. Да и зачем думать?

— И не хотелось бы, а думки сами лезут в голову.

— Напрасно.

— Почему же, мама? Мне пошел уже девятнадцатый,— говорила Васена чуть слышным голосом.— А кто я и что я значу в жизни? Никто и ничего. В институт не поступила — провалилась. Чересчур много нас туда приехало. Все одно кому-то надо было возвращаться домой — всех принять не смогли. Вот и я вернулась в станицу и все думаю: как же мне жить? Читать, писать, думать научила школа, спасибо ей. А кто же научит жить? Кто?

— А! Так ты, доченька, вот о чем печалишься? — все так же весело спросила мать, а в голове у нее: «Да нет же, не верю, не Федя был в клуне, нет».— Доченька, зараз многие остаются в станице, и ничего — живут, работают. Советую тебе, иди на птицекомплекс, становись к бройлерам, рядом со мной. Сперва будешь у меня ученицей, а потом со временем выйдешь и в мастера и заживешь не хуже других. Согласна, а?

Васена не ответила. Уткнулась в подушку и молчала.

У Зои свое на уме. «А что ежели это он, Федор, пробуровил крышу? — думала она, чувствуя в груди противный холодок.— А что ежели Василисе он нравится? Вполне возможно. Ничего такого удивительного в этом нет. Мужчина видный, красавец, каких в станице поискать, своя легковушка. На него, как на картину, заглядываются станичные бабы. Вот и моя дочка, надо полагать, загляделась на Федора. Оттого и спросила, как ей жить. Раньше никогда об этом не спрашивала, а сегодня спросила. Почему спросила? Ить все люди знают, как надо жить, а она грамотная, разные книги читает и, выходит, не знает, как надобно жить на свете. Эх, запуталась девочка. Может, сам Федор подсобил запутаться, заморочил голову — на это он мастак. Да что это я? Нет же, нет, зачем она нужна Федору. И не он, нет, не он был в клуне. Я же все осмотрела, все проверила. Но чего, скажи, лезут в голову дурные думки? Федя зараз в рейсе, далеко отсюда, может, едет себе по дороге, а я тут клянусь его...»

— Можно было бы, мама, пойти и на птицекомплекс, работы я не боюсь,— совсем тихо и грустно сказала Васена.— И научилась бы выращивать бройлеров — наука-то не хитрая.

— Так и приходи,— сказала мать.— И просись прямо в наш цех. Тебя там с радостью встретят.

— И в ваш цех можно было бы попроситься,— все так же тихо и так же грустно говорила Васена.— Да вот беда, не могу я оставаться в станице. Нельзя мне дальше жить в своей хате...

— Это почему же нельзя? — удивилась Зоя.— То было можно, а зараз нельзя. Почему?

— После того, что случилось в клуне...

— А что там случилось? — быстро спросила мать.— Говори, говори, что случилось в клуне? От матери ничего не утаивай.

— Нечего мне от тебя утаивать. Ты же все знаешь.

— А что я знаю? Ничего не знаю.— Зоя помолчала, хотела успокоиться, а боль в груди давила, щемила.— Не поступила в институт — ну что ж, не всем быть учеными. Кому-то надо и бройлеров выращивать. Я, к примеру, семилетку не окончила, всю жизнь имею дело с птицей, и ничего, живу хорошо, при достатке. И еще скажу: девушка ты красивая, а красивые, по себе сужу, в девках не засиживаются. Найдется муженек по сердцу. Может, за Ивана выйдешь замуж...

— Мама, не надо об Иване,— ответила Васена.— Иван далеко, аж в Барнауле, а я в станице.

— Пишет Иван?

Васена усмехнулась невесело. Промолчала.

— Васена, скажи мне, как матери, и скажи только правду.

— Неправду я никогда тебе еще не говорила.

— Эта правда особенная. Скажи: Федор к тебе пристаёт? — Зоя задохнулась, ей так хотелось услышать ответ дочери, а та молчала.— Ты чего онемела-то? Знать, мой вопрос попал в самую точку? Так надо понимать твое молчание? Боишься признаться. Так?

Васена отвернулась от матери и заплакала.

3

Эх, Зоя, Зоя, какая же ты мать, ничего-то в жизни не смыслишь. Кому-кому, а Васене как раз и есть что сказать, да только она боится и стыдится. Она даже не могла открыться в том, как ей больно и как невыносимо тяжело видеть свою мать рядом с ненавистным мужчиной. Обидное это чувство застарело, очерствело, и избавиться от него Васена уже не сможет. И еще: стыдно было сказать матери, что Федор не только «пристаёт», а называет своей дочкой и лезет обниматься. Она злится, а он наигранно усмехается и смотрит на нее своими голубыми бесстыжими глазами. Не в силах была Васена заговорить и о том, как вчера Федор остановил ее перед калиткой и спросил:

— Ну как, милая доченька, спится в клуне? Невось, одной страшновато?

Васена отвернулась, хотела пройти в калитку. Федор преградил дорогу.

— Не дичись, дочка, не пугайся. Я же добра тебе желаю. И по причине этой своей природной доброты приду к тебе ночью, чтоб самолично, на правах отца, проверить твоё жильё. А то боюсь, перепугаешься, ночуя в одиночестве. Не прогонишь отца, а?

— Какой же ты отец?

— Ну, извиняюсь, отчим. Кривти одно и то же.

— Пусти! Дай пройти! — крикнула Васена.— И в клуну, слышишь, не заявляйся!

— Батюшки, какая грозная! Это почему же не заявляться? А я возьму да и приду.

— Только сунься!

— И что же будет?

— А тогда увидишь.

— Васена, какие у тебя колючие глаза. Вот такая, неприступная, нравишься мне еще больше.

— Уйди с дороги!

Васена так покосилась на Федора, что тот отступил, и она прошла во двор.

— Обязательно приду, так что дверь на засов не закрывай,— вслед сказал Федор.— Но ежели заперешь дверь — ничего, в щель пролезу!

«Зоя, Зоя, до чего же ты дожила,— думала Зоя, лежа с закрытыми глазами.— Родная дочка переходит тебе дорогу. А как ладно у нас с Федей текла жизнь, пока Васюта подрастала. Катались на «Жигулях», он — за рулем, я — рядышком. Сколько раз ездили аж в Домбай. По вечерам ходили в кино. Нарочно, чтоб все видели, брала Федю под руку. Станичные бабонки зеленели от зависти...»

— Зоя, и где отыскала такого симпатягу?

— Не искала, а сам отыскался. Аж из Сочи прикатил на «Жигулях».

— И надо же, а?

— А вот так! — гордо отвечала Зоя. — Миленок, а не мужчина!

Зоя шутила, смеялась, ей было весело. Отчего же грустно теперь? «Выходит, дочка выросла на мое же горе. В груди у меня сидит боль, в глазах — слезы. Чует, чует мое сердце, нет, неспроста появилась дырка в крыше, неспроста... Что-то или уже было, или еще ожидается...»

Понимая, что нельзя лежать молча, Зоя повернулась к Васене и, щекоча губами ее ухо, ласково спросила:

— Еще не спишь, доченька?

— Какой может быть сон?

— Все думаешь и думаешь. А о чем? Или секрет?

Василиса молчала. А Зое хотелось, чтобы Васена сказала бы по-простому, открыто, нравится ли ей Федор или не нравится. Мужчина-то представительный, глаза голубые, а в них дна не видно, чуб русский, курчавый, так и хочется щекой прикоснуться к нему. Молчала Васена, а мать не смогла, не пересилила себя повторить свой вопрос. Да и не знала, какими же словами сказать, чтобы дочь поняла ее. И снова подумала: от него, от вопроса, не уйти. Если не сегодня, то завтра спросить придется. Так зачем же ждать, мучиться? Зачем оттягивать, откладывать то, что непременно должно произойти? Немного помолчала, подумала и сказала:

— Доченька, сознайся, как родной матери.

— Опять? В чем же должна сознаться?

— Он тебе нравится?

— Кто?

— Ну кто же... Федор.

— Мать, ты с ума сходишь! — Васена горестно усмехнулась и опустила на пол босые ноги. — Ну как тебе не стыдно?

— А чего стыдиться? Обе мы бабы, разговор у нас свой, бабский. Да к тому же имею я право, как мать, спросить? Имено! Можешь не отвечать, твое дело. Но спросить я могу.

— Отвечу.— Василиса отошла от кровати, остановилась возле окна, зябко скрестила на груди руки. — Мать, неужели этот тип совсем ослепил тебя и лишил разума? И еще хочешь знать, нравится ли он мне? Так знай: ненавижу твоего Федора! Слышишь, не-на-ви-жу! Ну что? Удовлетворена?

— Чего злишься? Я же пошутила.

— Ох, мать, шутки-то плохие. Думать о нем противно.

— Это хорошо, ежели так, ежели думать противно,— повеселев, сказала Зоя.— И все же, не как дочь, а как девушка, можешь сказать — нет, будто не матери, а подруге: по-твоему, красив Федор?

— Опять о своем? — Васена с горькой улыбкой

посмотрела на мать. — Не понимаю, никогда не пойму, что ты нашла в нем? «Жигулями» прельстил?

— Прельстил — верно, только не «Жигулями».

— Чем же?

— Сказала бы, да ты еще молодая, не поймешь,— ответила Зоя. — Но у него скоро будут не «Жигули», а новая «Волга». А под Сочами на берегу моря свой дом имеет. Так что, а?

— А то, что «Волгой» да еще и домом на берегу моря ему легче будет увлечь еще какую-нибудь влюбчивую, извини, дуру.

— Это ты о матери — дура? Ну ничего, стерплю. Только скажи: откуда тебе известно, что Федору легче, а что тяжелее? — через силу усмехаясь, спросила Зоя. — Федя что, али сам поведал тебе свою тайну? Али как надо понимать твои слова?

— Мать, да ты ревнуешь? — Василиса рассмеялась. — Чудно!

— Ревную, потому как имею право,— согласилась Зоя. — Но ревную не к тебе, не бойся, а ревную вообще, потому как из-за него, из-за Федей, я на все решилась и никому его не отдам. Никому и ни за что!

— Эх, мать, мать... Придет время, он сам от тебя улизнет.

— Тебе-то откуда это известно?

— Найдет помоложе, и был таков.

— Допустим, кто же она, та, каковая помоложе? — глотая слезы, спросила Зоя. — Случаем, не ты ли? Так ты сознайся, чего боишься?

— Ну что ты говоришь, мать. — Васена накинута на плечи шаль и повернулась к начинавшему белеть окну. — Видно, стареешь и глупеешь. — Васена смотрела на чуть приметные контуры посветлевших за станицей гор, ждала, что же еще скажет мать. — Хочешь, как матери, сознаюсь? Я боюсь их...

— Кого боишься?

— Мужчин. И больше всех — твоего Федора.

— Ой, господи! Так это же хорошо, ежели боишься, — со вздохом облегчения сказала Зоя. — Хорошо, доченька, потому, что ты уже заневестилась, подходит пора замужества, и меня радует, что мужчин ты боишься. С замужеством не надо торопиться, необходимо все хорошенько обдумать и выйти за любимого. Подождешь Ванюшку Головина, вернется с учебы...

— Рассветает, — сказала Васена, не слушая мать и глядя на горы, отчетливо выступавшие на фоне побелевшего неба. — Скоро поднимется солнце, наступит день. А что изменится в моей жизни?

— Ну, мне пора к своим бройлерам, — не отвечая дочери, сказала Зоя. — Сегодня я в первой смене. — Зоя подошла к Васене, обняла ее горячими руками. — Не дуйся, не сердись на мать. Не надо. Доченька, ты у меня грамотная, умеешь калякать по-чужому, не по-нашему. Скажи, откуда взялось в станице слово «бройлер»? И шо оно означает? Попервах наши птичники выговорить не могли, застревало то слово в зубах. Зараз ничего, привыкли. Но до сей поры так никто и не знает, отчего обыкновенных петушков надобно называть бройлерами. Они же от рождения петушки. И пусть бы ими оставались.

Васена молчала, не переставая смотреть на рождавшийся над станицей день.

— Мама, бройлеры — слово нерусское, а почему оно пришло к нам, не знаю, — сказала Васена. — И не до них, не до бройлеров мне сейчас.

— А ты не тоскуй, Васена, и не обижайся на мать, — ласково говорила Зоя. — Побеседовали, пооткровенничали и забудем все.

— Трудно, мать, забыть. — Васена отстранила руки матери и отошла от окна. — Ох, как же трудно.

Васену пугало то, что в ее юной, по-девичьи робкой душе уже успело скопиться столько непонятных житейских вопросов. Странные эти вопросы пришли неведомо откуда, беспокоили, нагоняли то страх, то уныние. И как их понять? Как разгадать и как узнать, что к чему? У кого бы попросить совета? У матери нельзя, не поймет и ничего вразумительного не подскажет. Отец далеко, да и отвык он от своей дочери. У него есть от новой жены дочка и сыночек. Хорошо бы поговорить с Иваном. Иван умный, рассудительный. Он все знает. Но где он? Уехал в Барнаул и точно бы сгинул — ни письма, ни весточки. Думая об Иване, Васена теперь смотрела на освещенные зарей далекие вершины — они как бы подпирали небо своими острыми зубцами. «Что же делать? — спрашивала она, видя перед собой Ивана. — Надо, надо на что-то решаться. Нельзя же так жить, нельзя. Мать предлагает пойти на птицекомплекс. Так как же, Ваня? Что посоветуешь? А может, бросить все и улететь к тебе? Как скажешь, Ваня, так и сделаю...»

— В станице без работы не останешься. И на птицекомплексе и повсюду требуются молодые сильные руки. — Зоя успела выпить стакан чаю с печеньем, подошла к высокому, во весь рост зеркалу и стала прихорашиваться. — Вот, Федин подарок. Купил в Ставрополе и привез на «Жигулях»... Не пожелаешь выкармливать бройлеров — не надо. Становись на линию по сбору яичек — работа совсем легкая. Будто белые мячики, яички плывут и плывут по резиновому пояску, как по ручейку, а ты бери их, еще тепленькие, и складывай в ячейки — для отправки. Я сегодня же замолвлю о тебе словечко с Леонидом Ивановичем, нашим начальником цеха. — Зоя умелым движением руки тронула карандашом тонкую согнутую бровь, помадой подкрасила губы. — Уверена, Леонид Иванович обрадуется. Теперь почетно, когда молодежь сразу же после десятиго класса остается на селе. Так что завтра мы вместе пойдем на комплекс. Как, а? Согласна?

Васена все так же задумчиво смотрела в окно и не слышала, о чем говорила мать.

«А может, и не надо Васене оставаться в станице? — думала Зоя, отойдя от зеркала, стройная, еще молодая, красивая. — А то что же получится? Будет жить дома, у Федора на виду. Лучше всего уехать ей к отцу в Рошинскую. И ей будет хорошо, и мне спокойно... Узнать бы, что она думает о Федоре. Но как узнать? Чужая душа — потемки, и часто на языке получается одно, а в душе совсем другое. Так что же у нее на душе и на уме? Давно замечаю, Федор, кобелью проклятый, поглядывает на нее, как кот на сало. Крышу просверлил, в клуню забрался... Хоть и не верится, что это его проделки, а душа болит, ноет — чувствует беду. Через то и не следует мне просить Леонида Ивановича о Васене. По всему видно, под одной крышей нам с нею уже не ужиться...»

С этими тревожными мыслями Зоя и ушла, как всегда, хлопнув калиткой. А Васена, оставшись в хате одна и не зная, чем бы ей заняться, пошла в клуню. Дверь была раскрыта. Недалеко от кровати лежала та, вчерашняя, веревка. Сквозь узкую дыру в крыше пробивался столбик света, и был виден лоскуток синего неба. Васена не стала рассматривать ни веревку, ни столбик света, ни лоскуток неба. Взяла матрац, одеяло, подушку, свернула все это, связала простыней, положила на плечи и быстро, почти бегом вернулась в хату. «А если я ошиб-

лась, если это был не Федор? — почему-то подумала она. — И я, выходит, ударила не Федора, а кого-то другого. Но кого? Нет, это был он, Федор...»

Положила постель на тахту и подошла к высокому зеркалу, возле которого только что прихорашивалась мать. Вспомнила ее слова: «Доченька, красивая ты у меня уродилась...» Внимательно смотрела на себя в зеркало, приглядывалась и ничего красивого в себе не видела. Лицо как лицо, совсем обычное, глаза грустные, заплаканные, под ними тенью легла бледность. Цвет глаз показался ей слишком голубым, может, оттого, что в зеркале отражалось только что выглянувшее из-за горы солнце. Васюта вспомнила: цвет ее глаз Иван любил сравнивать с голубиной небой в такое раннее погожее утро или после грозового ливня. «Васена, ты замечала: прошумит ливень над горами, тучи разойдутся, небо станет необыкновенно голубым, ну точно таким, как твои глаза». Ну и что? Иван любил все преувеличивать. «Наверное, кто-то нарочно чересчур много положил в твои глаза небесной голубизны». Это тоже сказал Иван. Ему нравились не только Василисины глаза, а и ее светлые волосы, ее походка, ее голос. Он любил слушать, когда она пела. Особенно нравилось ему, как она лихо отплясывала лезгинку. Но больше всего он восторгался ее зубами.

— Васена, у тебя их полон рот, — говорил Иван. — И все такие белые, будто сахарные, и так их много! — И с улыбкой добавил: — И тут кто-то перестался.

Ее радовала похвала Ивана, и в те минуты, когда он находил в ней столько необычного, удивительного, ей всегда казалось, что у ее подруг волосы были не такие волнистые, как у нее, глаза не такие голубые, ходили они не так, как ходила она, не так, как она, пели, не так танцевали, не так, как она, улыбались. Зубы у нее — и тут Иван был прав! — не такие, как у всех, не потому, что они белые, а потому, что их много и поставлены они тесно, один к другому... Васена нарочно улыбнулась перед зеркалом, и теперь белизна и плотность зубов еще больше удивили ее, словно бы она увидела их впервые. И еще Иван говорил: брови у нее приметные, не такие, как у всех.

— Васена, они у тебя не черные, а серенькие, под цвет стрижиного крыла, — говорил Иван. — И лежат не как обычно, а словно бы перечеркивают лоб твердыми бугорочками.

«Ну и Ванюшка, ну и выдумщик, надо же такое сказать — бугорочки, — думала Васена, пальцем трогая свои брови. — И правда, бугорочки. Ванюша хоть и не притрагивался к ним, а определил точно».

Ей захотелось пойти на берег Кубани и постоять там, на круче, где бывало, она стояла с Иваном, посмотреть на несущиеся по камням буруны, подумать, погрузиться. Чтобы переодеться, она сняла рубашку, в которой прибежала из клуни, осталась в одних темно-синих трусиках с белыми полосками по бокам, остановилась перед зеркалом. «Вот какая я, — думала она. — Совсем уже большая...»

Васена еще никогда не разглядывала себя голую — не вообще, а вот в этом высоком зеркале, освещенном бьющими в окна солнечными лучами. Ей казалось, будто там, в зеркале, стояла не она, Васена Васильчикова, а какая-то другая, знакомая ей девушка. У этой, у другой Васены фигура была стройная, как у спортсменки, и Васена уверяла себя, что видела не свои красивые плечи, не свои врозь торчащие груди с крохотными коричневыми сосками, не свои смуглые в коленях ноги. «Так вот я какая, — снова невольно подумала Васена. — Но это же не я, нет, не я. А кто? Соседская девушка.

Или приезжая. Вчера приехала в станицу. А как зовут ее, соседскую или приехавшую девушку? Оказывается, тоже Василисой... Так, значит, это я, только совсем другая... Мать сказала: заневестилась. Слово ласковое и смешное. А знает ли Ванюша, что я уже заневестилась? Он-то такую меня еще не видел. Как же, видел, видел. Помню, летом, перед тем как ему уезжать в Барнаул, я купалась, заплывала на быстрину Кубани, а Ванюшка прятался за камнями и оттуда поглядывал на меня, как из засады...»

Точно бы желая показать, как она плавала тогда на быстрине, Васена вскинула перед зеркалом руки, взмахнула ими, будто бы над бурунами, и рассмеялась — так, без видимой причины. Ей было и весело, и радостно, и немного стыдно смотреть на себя в зеркале. Она быстро, через голову натянула платье, обулась, кое-как причесалась, на плечи накинула шерстяной жакет и, стуча каблуками по выложенной плитам дорожке, направилась к калитке.

5

Кажется, пришла пора вернуться к началу нашей истории и сказать просто, без обиняков: да, точно, сквозь крышу в клуню пролез Федор Нагорный, и никто другой. Верно и то, что когда Зоя прибежала в клуню со спичками, то она не нашла там своего мужа, да и не могла найти, ибо Федор, не будь дураком, успел оттуда улизнуть. Также необходимо пояснить, почему Васена, девушка образованная, начитанная, не знала, как ей жить на свете. И почему ни днем, ни ночью ей не давали покоя мысли о несчастной любви и разбитой семейной жизни. Она знала, в ее родной станице Краснокаменской немало было женщин, которые неудачно вышли замуж. Одних мужья бросили с детскими, у других и с мужьями была не жизнь, а слезы. А тут еще родная мать со своим Федором... И хотя Зоя не раз уверяла Васену, что настоящая любовь — это песня, и петь ее хочется всегда, и что именно такой любовью она любит Федора, и что только эта любовь-песня заставила ее бросить мужа, — Васена ничему этому не верила. «Нет, не любовь и не песня, — думала она. — Да и как же любовь можно сравнивать с песней?» И Васена говорила себе не раз, что так любить мужчину, как мать Федора, она никогда не сможет, да и не пожелает. Ивана Головина она любит как-то иначе. Как-то по-своему. Но как иначе? Как по-своему? Васена не знала.

Васена вспомнила ту осень, когда в Краснокаменскую приехал не то из Сочи, не то из Сухуми шофер на собственных «Жигулях». Никогда не забыть Васене того пасмурного дня, когда она пришла из школы, а в хате у них почему-то находился чужой мужчина с красивым чубом и с узенькими, подобранными усиками. Он стоял возле стола и острыми зубами откусывал от большого яблока. Сок брызгал на усик-шнурочки, а мужчина улыбался, продолжал грызть яблоко и как-то странно поглядывал на смутившуюся и до слез покрасневшую Васену.

— Васена, доченька, подойди к Федору Павловичу и поздоровайся, — сказала Зоя, улыбаясь с какой-то нарочитой веселостью. — Федор Павлович — хороший человек, он мой муж, а твой новый батюс.

Маковым цветом зарделась девочка, и глазенки ее наполнились слезами. Ничего не сказав, она побежала в соседнюю комнату, бросила портфель с книгами, упала на кровать и проплакала до ночи, и все это время перед ее закрытыми мокрыми глазами стоял, откусывая от яблока, мужчина с тоненькими, забрызганными соком усиками. Зоя несколько

раз припадала к ней, успокаивала. Васена даже не взглянула на нее.

С этими горестными мыслями Васена и пришла на кручу, к тому месту, куда, бывало, приходила не одна, а вместе с Иваном. Внизу так же, как и тогда, бурлила, бесновалась река. Васена смотрела вниз, на скачущие буруны, и ей было хорошо здесь. Чаше всего они с Иваном приходили сюда перед вечером, когда солнце освещало левый скалистый берег. Здесь, на этой круче, Иван сказал Васене, что хочет поступить в летное училище, которое находится в Барнауле. Завтра пошлет документы.

— Станешь военным летчиком?

— Офицером. А что, разве плохо?

— Барнаул... Это так далеко. И примут ли?

— Васена, ты меня знаешь, я решительный и если задумал, то своего добьюсь. — И добавил с улыбкой: — Я же сын казака, джигит, и тогда у меня будет конь небесный.

— Мечтатель ты, Ваня. Мальчишкам легче осуществлять свою мечту. Ведь я тоже мечтаю, мне бы...

Она умолкла на полуслове. Иван не стал спрашивать, о чем мечтала Васена, знал: ей хотелось поступить в педагогический институт. Они молча смотрели вниз, на бьющиеся о камни буруны, слушали тягучую, тоскливую песню Кубани, знакомую им еще с детства. Отвесный левый берег пламенел в лучах заходящего солнца, камень-известняк весь был усыпан дырочками, как крепость бойницами, — в них гнездились стрижи. Острокрылые, проворные птички со свистящим писком вылетали из этих бойниц, падали на буруны, легко коснувшись крылом водяной пыли. Было как раз то время, когда молодые выводки, готовясь покинуть родительский кров, учились летать. Иван и Васена, каждый думая о своем, с интересом наблюдали, как стрижата с чистенькими желтыми клювами выглядывали из своих убежищ, осматривались, словно бы соображая и прикидывая в уме, куда и как им лететь. Затем решительно выскакивали из норок, раскрывали косые крылья и, во всем подражая родителям, свободно парили над бурунами, огибая круг, и тут же, поднысывая, пулями влетали в гнезда. Стрижат кружилась туча, и только один птенец неожиданно упал в воду: то ли не рассчитал круг, то ли крылья оказались еще слабыми и непослушными. Буруны, точно бы обрадовавшись добыче, укрыли несчастного стрижонка и унесли, подбрасывая на камнях. Васена вскрикнула и прижалась к Ивану.

— Жалко бедняжку. — Васена посмотрела на Ивана полными слез глазами. — Ваня, а знаешь, о чем я сейчас подумала? О нас с тобой. Мы тоже вот как эти стрижата. Скоро вылетим из родительских гнезд, поднимемся над бурунами, и со мной может случиться то, что случилось с тем несчастным птенцом.

— Да ты что, Васена? — Иван пожал плечами. — И почему именно с тобой случится, а не со мной?

— Ванюша, ты сильный, не упадешь.

— Не надо об этом, Васена, — сказал Иван. — Ну, я согласен, в чем-то мы действительно стрижата. Придет время, и мы улетим. Я — в далекий Барнаул, ты — в близкий Ставрополь. А падать зачем же? Крылья у нас надежные. Васена, давай поклянемся вот здесь, на этой круче, перед парящими стрижами, что никогда не потеряем друг друга. Ты согласна со мной?

Васена знала — Иван любил повторять: «Ты согласна со мной?» — и она всегда соглашалась с ним, утвердительно кивала и счастливо улыбалась ему. Не переставая смотреть на птиц, которые все так же тучей пронесли над бурунами, она спросила:

— Ваня, а как же мы будем жить в разлуке?

— А что? — удивился Иван. — Это же временно. Как только сдам экзамены и меня зачислят слушателем, сразу же напишу тебе. Если ты раньше меня поступишь в институт, то напиши моим родителям, а они перешлют твое письмо мне. Будем переписываться. Ты согласна со мной?

Вместо ответа Васена покорно склонила голову и вдруг заплакала.

— Что с тобой, Васена? Зачем же?

— Ваня, мне страшно... Мне кажется, что мы в последний раз стоим на этом берегу и никогда уже не увидимся.

— Васена, милая, непременно увидимся, — уверенно, как о чем-то давно решенном, сказал Иван. — Васена, присядем вот здесь, положим ладони на этот камень и поклянемся... Ты согласна со мной?

Они положили ладони на холодную плиту. Иван говорил, а Васена повторяла вслед:

— Клянемся берегами родной реки, стаями стрижей над ее берегами, своей станицей, клянемся жизнью своей, что всегда, что бы с нами ни случилось, мы будем вместе!

6

Тогда было лето и рядом стоял Иван. А теперь — осень, пора увядания, и Васена одна находилась на круче. Вид вокруг был невеселым, Кубань обмелела, приуныла и текла лениво. Поднялись из воды, оголились камни-валуны, пообсохли их горбатые спины, и лежали они кучно, как буйволы на тырле. Пропали те могучие буруны, что так шумно вскидывали свои белые гривы, вместо них остались тихие безгривые бурунчики. Красный отвесный берег стал выше, его словно бы приподняли. Стрижовые бойницы опустели — ни птичьего писка, ни стремительного полета. И Краснокаменная, готовясь к зиме, как бы припала к земле, стала ниже, а сады ее уже были охвачены неярким багрянцем.

С грустью на душе Васена оставила берег и пошла по знакомой улочке, которая вела к дому Ивана. Под ногами шелестели листья и как бы нашептывали: «А зачем ты идешь, не надо туда ходить...» Под плетнями грелись куры на нежарком солнце, возле калитки, широко зевая, стоял рыжий пес — даже не взглянул на Васену. В какую сторону ни посмотри, к чему ни обратись, всюду покой и увядание, а на душе у Васены боль и тоска. «Куда и зачем я иду? — думала она, замедляя шаги и прислушиваясь к шороху листьев. — К Ивану иду. Так его же нету дома. А может, дома, может, уже вернулся... Нету Ивана, нету. Уехал и позабыл обо мне и о нашей клятве...»

Издали она увидела белую шиферную крышу — хата родителей Ивана. Остановилась. Ей показалось, будто бы Иван никуда не уезжал, и если бы он знал, что Васена направляется к его дому, то выбежал бы ей навстречу. Нет, не выбежал Иван навстречу Васене. Далеко он был отсюда, ох, как далеко. А улочка безлюдна, только куры серели на солнцепеке да у калитки зевал рыжий пес. И Васена вдруг решила войти во двор и повидаться с Ивановой матерью.

Она смело подошла совсем близко ко двору и остановилась. Из сарайчика вышла мать Ивана, неся медный, сверкавший на солнце таз. На голове у нее, как у горянки, чалмой закручен цветной платок, платье подхвачено матерчатым пояском, на ногах чобуры из сыромятной бараньей кожи — такую удобную мягкую обувь, подражая соседям-церкесам, в Краснокаменной носили многие. Вот и мож-

но было бы войти во двор и спросить об Иване: «Ваня пишет вам? Как он там?» «Разве тебе еще не написал?» «Не пришла бы, если б написал...» Нет, не вошла Васена во двор, не заговорила — постеснялась. Наклонила голову и, краснея щеками, быстро прошла мимо двора.

Домой Васена вернулась усталая, с заплаканными глазами. Сняла туфли, жакет и прилегла на тахте. «Значит, забыл, забыл, — лезло в голову. — Почему же? Клялся и забыл...» Еще в шестом или седьмом классе она записывала в тетрадь, так, для себя, что-бы помнить: что в жизни, как она полагала, делать можно, а что делать нельзя. Была и такая, подетски наивная запись: «Всегда быть честной и правдивой». Теперь же, думая об Иване, о клятве на кубанской круче, она охотно бы записала в свою школьную тетрадь еще и о том, что та любовь-песня, о которой часто говорит ее мать, вообще не существует. Ведь даже Иван, кому она верила, как самой себе, кому доверяла свои тайны и на прощание не побоялась сказать, что будет ждать его столько, сколько нужно, уехал и забыл о ней... Так где же она, любовь-песня? Нет ее и никогда не было.

Задумавшись, Васена не заметила, как задремала.

7

Васене показалось, будто спала она совсем немного. Открыла глаза и в испуге поднялась: возле тахты на стуле сидел Федор. Широкие, пропитанные машинным маслом ладони лежали у него на коленях, и Васена подумала, что этими ручищами он разрывал крышу клуни. Кубанка из мелкого серого курпая была надвинута на брови, у переносья белела лейкопластырная ленточка и рыжели следы свежего йода.

— Васена, не бойся и не смотри на меня так, — глухим голосом сказал Федор. — На лбу отметина — пустяк. Заглянул в поликлинику, сказал, что ударился о кузов, — поверили, помазали, заклеили, и все. Иду по улице, еду на грузовике, люди смотрят на мою белую метку, а мне, веришь, так хочется сказать им, что это ты бечевой пометила меня. И причинила мне — нет, не боль, а радость. Не веришь? А ты поверь. Как бы я был рад, ежели б ты чаще была меня, чаще...

— Федор Павлович, не прикидывайся овечкой, — сказала Васена. — И зубы мне не заговаривай, они у меня не болят.

— Так и знал, не поверишь, усомнишься. — Федор задумался, поглаживая стежечку усов. — Ничего, придет время — поверишь. Сам себя кляню, что ночью, как ворюга, проломал крышу. Бес попутал! Теперь, когда поостыл, поразмыслил, сам сознаю, что это были эдакие парубочки ухарство и дурачество... Нет, нет, молчи и слушай. Мне так много надобно сказать... Я люблю тебя, Васена. Давно люблю и так, что ежели бы надо было, то пролез бы не только сквозь крышу, а и сквозь огонь.

— Да ты что мелешь-то? Какая еще любовь?

— Не веришь — не верь. — Федор задумчиво поглаживал свои тоненькие усики. — Ты подрастала, а я поглядывал на тебя и терпеливо ждал, когда же вырастешь. Ну что ж, подожду еще, потерплю. Да оно и понятно: мои слова, сказанные так, вдруг, могут показаться странными. Ничего, придет время, поймешь и оценишь.

— Никогда! — вырвалось у Васены. — И не затрудняйся этому верить.

— Так человек без веры во что-то заветное — не человек, — с видимым спокойствием продолжал Фе-

дор.— И к тому же зараз мы находимся не в клуне, а в хате, не ночью, а днем, и нас тут только двое. Ничего не надо утаивать. Все, о чем поговорим здесь, останется с нами... Ну, ну, Васена, не злись и не смотри на меня так нелюдяно. Или, может, есть желание ударить, как тогда в клуне? Сам принесу бечеву и лоб подставлю — бей! Но сперва послушай спокойно. Ить я никого еще не любил так, как люблю тебя, и никому еще не говорил о том, о чем хочу сказать одной тебе... Умоляю, послушай...

— Нечего мне слушать, нечего, — Васена скривилась, как от зубной боли. — Ишь ты, полюбил! Да ты в своем ли уме?

— Верно подметила — не в своем уме, — согласился Федор. — Потерял и ум и рассудок... Глядя зараз на меня, всякий может сказать, что Федор Нагорный сделался ненормальным. А через чего я сделался таковым? Через тебя, Васена! — Федор встал, прошелся по комнате — высокий, стройный, кубанка еще больше надвинулась на белую ленточку. — Знаю, в школе ты дружила с Иваном. Но школьная дружба — это еще не любовь. Она, как корь, бывает у всех, приходит и уходит. Иван-то уехал и забыл о тебе... А что ждешь ты впереди? К примеру, завтра, послезавтра? Станешь птичницей, займешь место рядом с матерью и будешь выращивать бройлеров. Васена, а ведь ты красавица, каких мало встретишь даже в казачьих станицах. И тебе надо жить не здесь, не в этих горах. Только пожелай, только наметь, и я увезу тебя к самому Черному морю, увезу в той самой сказочной карете, каковая в текущей нашей жизни именуется «Жигулями». Это я с виду простой шофер, а в жизни я человек дела. Умею трудиться, умею зарабатывать, и душа у меня нежная, жалостливая. И еще скажу: вблизи Сочи, в живописном местечке Лоо, на самом берегу моря стоит дом. Мой дом! Живет в нем моя престарелая тетушка. Только пожелай, и станешь хозяйкой этого дома. Мы будем ездить в Сочи, на концерты, в театры. А пожелаем — махнем на озеро Рица или в Новый Афон. Куда скажешь, туда и поедем — сами себе хозяева. — Он посмотрел в окно на стоявший возле ворот свой грузовик. — Не любишь меня сегодня — полюбишь завтра. Да, я старше тебя, но ведь это же обо мне сложена пословица: старый конь борозды не испортит. К тому же тот конь не так уж и стар. И еще поучительное сравнение: отлично обкатанный, в полной исправности грузовик легко пройдет через труднопроходимую дорогу в горах. А я и есть тот исправный, хорошо обкатанный грузовик, и ехать на таком грузовике одно удовольствие.

— Это же подло! — крикнула Васена. — Подло и гнусно!

— Не возражаю, — согласился Федор, подходя к Васене. — Стерплю. От тебя все стерплю, ибо знаю: твои слова — это заблуждение твое. Ты еще так молода, а жизнь так сложна, и чтобы понять ее, разобратся в ней и оценить то, что достойно, надо хорошенько подумать. И я не стану торопить с ответом. Не можешь уехать со мной в эту ночь — уедем завтра. Не сможешь и завтра — подождем и уедем тогда, когда сможем. В гараже стоит золотая карета по имени «Жигули». Бак залит бензином доверху, в багажнике еще три канистры — горючего хватит на всю дорогу. Поедем через Краснодар, далее — на Джубгу, дорога там новая, отличная. Одно твоё слово, даже не слово, а кивок — и мы улетим к морю. Там у меня есть все для счастливой семейной жизни. Дом на берегу моря, песчаный пляж у самого порога. Руки мои сильные, мозолистые, погляди на них — этими руками буду зарабатывать день-

ги и ими же носить тебя... Ты станешь матерью моих детей, а это такое счастье, которому вообще нет цены. Мне надоело жить пустоцветом, и то, что я полюбил тебя... Верю, верю, сразу ответить не можешь — согласен. Но придет время, и я верю, что...

— Не быть этому! — сказала Васена. — Никогда! Лучше смерть!

— Ну, глупенькая, зачем же такие страшные слова? — с улыбкой спросил Федор. — Умирать глупо. Надо жить, и жить красиво! Все то, о чем я говорю, и есть жизнь — красивая, реальная. Васена, не верь тому, что будто бы с милым рай и в шалаше. Придумал какой-то ненормальный мечтатель, а ему и поверили. Заманчивые слова, как это... лирика. А жизнь — она, как святая правда: с одной стороны сурова, без этого, без лирики, со своими железными законами, а с другой стороны развеселая, сладкая и такая красивая, как весенние цветы. И потому настоящий рай бывает только тогда, когда в шалаше, кроме милого, есть все, что требуется для райской жизни. И как раз на берегу Черного моря и стоит такой шалаш, и он твой... Поверь мне, Васена, я прожил на свете больше твоего и больше тебя знаю, что такое жизнь реальная, жизнь в достатке, когда чего пожелаешь, то и имеешь...

Васена молчала, а Федор любовался ею, не сводил с нее глаз, размышляя: «Ну, кажется, присмирела, задумалась, — мысленно сказал он себе. — И слава богу. Лиха беда — начало, а оно, по всему вижу, получилось. Радуйся, Федор Нагорный. Ласка, только ласка и еще раз ласка, и обещания, обещания. Гордыня моя, неприступная Васена, а ить какое-то мое слово все же тронуло тебя, и твоё непокорное сердечко смягчилось, а для меня это уже много, ох, как много. Даже сам не ждал такого удачного начала. И то, что она не кипятится, не злится, прекрасно. И все же жаль, что молчит, что не посмотрит на меня, не улыбнется. Но ничего, разговор у нас еще не окончен, а только начался. Окончится наш разговор, я верю, еще успешнее, и уже тогда, когда «Жигули», покачиваясь на своих мягких рессорах, унесут нас темной ночью из станицы и перед нами ляжет дорога на Краснодар. Но когда это свершится? Когда мы умчимся, улетим?..»

Случайно Васена увидела входившую в калитку мать, покраснела и выбежала из хаты. Во дворе она встретила с матерью и хотела пройти мимо. Зоя остановила и спросила:

— Доченька, куда торопишься?

Васена не ответила и прошла мимо.

8

Тревожным взглядом Зоя проводила дочь, постояла на крыльце и отворила дверь. Увидела Федора и опустилась на табуретку — ноги подкосились. Держала в руках авоську, набитую кулками и свертками, и не знала, что сказать, язык не ворочался, точно бы окаменел.

— Федя, ты дома? — упавшим голосом спросила она. — А я гляжу, чей это грузовик скачет возле нашего двора? Знать, еще не уехал в рейс?

— Зараз отправлюсь на комплекс загружаться птицей. И в дорогу.

— Федя, может, ты голоден? — спросила Зоя. — Я поджарю бройлерка, свеженького, вот он, в авоське. Я быстро, в духовке это эмг. — Зоя хотела улыбнуться так, как она, бывало, улыбалась только одному Федору, и не смогла — губы дрогнули. — Вместе пообедаем. А тогда и поедем загружаться.

— Ничего мне не надо, я сыт.— Федор сломал тоненькие усики, усмехнулся.— Бройлеры! Черт знает что! Без рюмки водки не выговоришь. И кто придумал такое дурацкое слово? Бройлеры, а? Смешно!

— Все уже выговаривают. Научились.

— А у меня язык не поворачивается. Да и ты могла бы сказать просто, по-нашему: поджарю петушка. Точно и понятно. А ты: поджарю бройлерка. Это же не по-русски.

— Не злись, Федя, к бройлеркам у меня и водочка найдется.— Зоя снова силилась улыбнуться той своей улыбкой, которая всегда покоряла Федора, и снова ничего у нее не вышло.— Есть настоячка твоя любимая.

— Какая еще настоячка? Я же за рулем.

— Ну, чего такой злющий? Ведь хочу как лучше.

— Надоело!

— Что надоело? — со стоном вырвалось у Зои.— Может, и я? Так, да?

— Не напрашивайся, Зоя, на скандал.

— Да ты что, Федя? Я к тебе с лаской, по-хорошему, как жена.— И опять, как на беду, не получилась у Зои покоряющая улыбка, губы не улыбались, а плакали.— Федя, а что это за метка у тебя на лбу?

— Пустяк. Тормознул и стукнулся башкой,— не задумываясь, ответил Федор.— Врачи осмотрели. Ничего, заживет.

— Федя, случаем, не в клуне тормознул? Ночью, в темноте.

— Допустим, в клуне. Что из того?

— А то, Федор, что девушку не тронь,— уже и не пытаясь улыбаться, побледнела и гневно сказала Зоя.— Она моя дочь, и я не позволю. Слышишь? Не позволю!

— Запрет наложила? Так?

— Сказала, к Васене не прикасайся. Огрела она тебя бечевой, этого, выходит, мало? Получишь еще и от меня, но такое получишь, что век будешь помнить.

— Не надо угрожать, я не из пугливых,— сказал Федор, усаживаясь на тахту.— Вот что, злющая мать, положи-ка своих бройлерков в холодильник, пусть они там охолонут, а мы потолкуем.

Зоя повиновалась с прежней покорностью, отнесла на кухню авоську, вернулась и спросила:

— Ну, что тебе?

— Ты присядь.

— Ничего, постою. Ну так что?

— Ничего такого, потолкуем про свое, про житейское,— начал Федор.— Про то, Зоя Ефимовна, что наше временное совместное проживание с сегодняшнего дня окончилось.

— Это как же понимать?

— Понимай так, как есть. По закону мы не расписаны. Жили, так сказать, на добровольных началах. Пожили — хватит. Добровольно сошлись — добровольно и разошлись. Все понятно, все ясно.

— Не дури, Федя! Ох, не дури!

— Не охай и не ахай, а послушай внимательно.— Федор хотел быть спокойным, улыбнулся через силу.— Только сядь... Я люблю Василису... Сядь, а то упадешь.

— О господи! — Зоя качнулась и, как подкошенная, повалилась на тахту.— Да ты что, Федор? Аль рехнулся? Как ты посмел? Как?

— Успокойся, а я объясню ситуацию: полюбил Василису так, как никого еще не любил, и, когда она станет моей законной женой, обещаю тебе, как матери, сделать твою дочь самой счастливой на земле. Это мое твердое слово!

— Ой, Федя, Федя, не позорь, не убивай! — Зоя

закрыла лицо руками и заплакала.— Васена — твоя жена? А я кто? Окаянный! Кто я? Из-за тебя Василия, законного супруга, лишилась, на позор пошла ради тебя. И теперь, выходит, я никто. Пожили — разошлись. Нет, так, Федор Павлович, не будет.

— Именно так и будет,— стоял на своем Федор.— Еще раз объясняю ситуацию, суть которой состоит, между прочим, в том, что в природе бывает весна и бывает осень, а это не одно и то же. А я, между прочим, не бесчувственное дерево, а живой человек, и меня тянет не к осени с пожелтевшими листьями, а к весне, где цветы, солнце и тепло.

— Ирод! — крикнула Зоя.— Знать, для тебя я уже стала осенью. До чего додумался, подлюка!

— Чего заладила — ирод да подлюка? — На лице у Федора появилась вымученная улыбка.— Я же серьезно и по-хорошему, а ты...

— Да разве это по-хорошему? — Зоя уронила голову на колени, согнулась, жалкая, униженная, и залилась слезами.— Так вот ты какой, мой чубатый да чернобровый?

Она хотела еще что-то сказать и не могла, душили слезы.

— Дополнительно объясняю ситуацию в том смысле, что мне осточертело быть пустоцветом. Жить так, как я жил до сей поры, лучше не жить.— И Федор снова через силу улыбнулся.— Уродился красивым себе же на горе. Бабы липнут ко мне, как пчелы к меду. Ты тоже прилипла. И я не виноват, что по-настоящему полюбил не вообще станичную девушку, каковых немало, а именно твою дочь. Знать, Васена — моя судьба, а для своей судьбы я готов на все, хоть на край света!

— Что ты, Федор? Какая судьба? — всхлипывая и не поднимая головы, спросила Зоя.— Васена — твоя судьба? Люди осмеют и тебя и всех нас.

— Пусть смеются, пусть,— сказал Федор.— Люди же не знают, в чем мое горе, им не видно, что я всегда был одинок, хотя и числился женатым. Только тот счет, что жил с бабами, отбывал безынтeресную мужскую повинность. Теперь же я хочу стать не только мужем, а и отцом своих детишек. Пойми — отцом! И буду знать, ради чего живу, почему изо дня в день нахожусь в рейсе, ночами не сплю за рулем, все еду, еду, спешу, сил не жалею, терплю в дороге всякие невзгоды. Отныне все пойдет по-новому.

— Дьявол! Ничего святого у тебя нету! — что есть силы крикнула Зоя, подняла голову и посмотрела на Федора горящими глазами.— Девушку погубишь! Меня опозоришь!

— Васена — мое счастье, какого у меня еще не было, и за это свое счастье я сумею постоять и побороться,— ровным голосом говорил Федор.— Она же красавица! А ты, мать, подумала, что ждет эту красавицу в будущем? Птицекомплекс, да? Или это противное слово «бройлеры»? А со мной она будет счастлива. У меня и «Жигули», и дом на берегу Черного моря, и живое дело в руках, и гроши завсегда в кармане и в сберегательной кассе. И люблю я Васену больше жизни. Так что же еще нужно? Тебе, матери, надо бы не злиться и не реветь, а радоваться. Уговори Васену, слышишь, скажи ей свое материнское слово. Мы сразу же распишемся, и умчимся из Краснокаменской с глаз долой, и станем жить у моря, где круглый год зелень и цветы. В будущем, ежели пожелаешь, приедешь к нам, станешь внучат нянчить. Что в этом плохого?

Не отвечая и толком ничего не соображая, Зоя прильнула к Федору и, обнимая его сильную, всегда пахнущую бензином шею, говорила, плача и заикаясь, что не перенесет разлуки с ним и что

ничего ей не надо, только бы жить так, как они жили. С перекошенным лицом, с размазанными по щекам слезами, она умоляла, просила не оставлять ее, называла его и «Федя, милый», и «Феденька, мой желанный», и «Федя, радость моя». Федор был суров, он отстранил ее цепкие руки и сказал сухо:

— Да перестань! Утихомирься!

— Федя, милый, только скажи, и Васены завтра же не будет в хате, останемся мы одни.— Зоя снова оплела руками шею Федора.— Только скажи, и Васена покинет станицу навсегда. Ты этого хочешь? Ну, скажи, этого хочешь?

— Как раз этого-то я и не хочу.— Федор отстранил руки Зои.— Я хочу, чтоб Васена уехала не одна, а вместе со мной. Только со мной,— повторил он твердо.

— Федя, хороший мой, а как же наша песня? — сквозь слезы спросила Зоя.— Помнишь, сам же говорил, что у нас с тобой любовь, как песня? Где же она, эта песня, Федя?

— Да ты что? Какая еще песня?

— Феденька, миленький, не бросай меня! — И Зоя залилась слезами.— Не переживу! Федя, без тебя я погибну!

— Ну, хватит, хватит, ничего с тобой не станет,— сказал Федор.— Да перестань! Распустила юнги!

— А-а-а! — страшным голосом заорала Зоя.— А-а! Знаю, знаю! Это не ты, нет! Нет, не ты! Это совсем другой Федор! Нарочно подосланный ко мне! Говори, кто ты и кто тебя подослал? Такого Федора я не знаю и знать не хочу. Откуда заявился? Не подступай ко мне, нечистая сила! Чужой, чужой!

Федор смотрел на неунимавшуюся Зою и пожимал плечами. Его поразили и ее крик, и странные слова, и страшный блеск в глазах. Она терла ладонями лоб, словно бы силилась что-то вспомнить, и плакала навзрыд.

— Чужой, чужой,— блестя ничего не видящими глазами, говорила Зоя.— Кто тебя прислал? Кто? Нет, ты не Федор! Уходи отсюда, поганая твоя морда! Разве мой Федя такой? Он зараз далеко. И как же я, дуручка, обманулась и приняла тебя за настоящего Федора? Мой Феденька совсем же другой. Затмение нашло на меня. Уходи из хаты, зверюга! Ишь чего захотел, увезти Васюту. Прикинулся Федором, а я-то распознала тебя. Еще как распознала! Ну, чего стоишь? Уходи, клятая твоя душа!

Федор хотел подойти к Зое, но она замахала руками, стала креститься и кричать:

— Не подходи, сатанюка! Никакой ты не Федор! Дочка моя ему приглянулась? Счастья захотел, настоящей любви пожелал! Я в милицию побегу, приведу участкового. Убирайся из моей хаты, нечистая твоя морда! Любви ему захотелось. Ловко прикинулся моим Федором. И ничего у тебя не вышло. Ну чего стоишь? Милиционера ждешь? Так я быстро сбегает.

Видя, что с Зоей творилось что-то неладное и она, накинув на голову платок, намеревалась пойти к участковому, Федор, не раздумывая, взял висевший на спинке стула свой пиджак, надвинул на брови кубанку и быстрыми шагами удалился из дома. У калитки загудел мотор, умчался грузовик, подняв по улице пыль вместе с сухими листьями. Зоя не слышала шума уехавшего грузовика. Она повалилась на пол и заголосила протяжно, побавь.

Не зная, куда бы ей пойти, Васена снова направилась по той улочке, которая вела к дому Головиных. На этот раз не постеснялась, открыла калитку. У ее ног появился кудлатый пес — любимец Ивана, и она наклонилась к нему, погладила. Мать Ивана встретила Васену приветливо, спросила, получила ли она весточку из Барнаула, и тут же, счастливо улыбаясь Васене, добавила:

— А мы получили. Ванюша пишет, что его приняли в училище. Тебе поклон передавал и прислал вот эту записочку.

Сжимая в руке сложенный вчетверо лист бумаги, Васена выбежала на улицу, остановилась за углом, осмотрелась, нет ли кого поблизости, развернула лист и прочитала: «Милая Васена! Если еще любишь, как любила, так бросай все и приезжай ко мне. Вместе нам будет хорошо. Жду. Иван». Щеки ее покрылись румянцем, ей было и весело, и страшно, нужны были и чей-то совет и чье-то доброе участие, и она, не мешкая, направилась к тете Наде. Увидев входившую во двор племянницу, Надя, повязанная белой косынкой, в переднике, вышла на крыльцо и радостно сказала:

— Васена! Наконец-то! Ну, заходи, заходи. Скоро и дядя Дмитрий зайвтся. Пообедаешь с нами.

— Тетя Надя, обедать мне некогда.

— Какие же у тебя неотложные дела?

— Пришла посоветоваться с вами и с дядей Митей.

— Васена, да что случилось?

— Я уезжаю, тетя.

— Ну, теперь это привычно, все уезжают. И куда же собралась?

— Аж в Барнаул.

— О господи! Это же далеко.

— Ванюша зовет. Его приняли в училище.

— А, понятно, понятно...— Надя обняла Васену и проводила ее в дом.— Знать, полетишь на крыльях? Выросли они, крылья-то? Да ты не тушуйся, не красней...— Лыняной негнущейся скатертью Надя застелила стол.— Если тебе нужен мой совет насчет любви, то в таком вопросе я советчица плохая. Разуверилась. Она, эта самая штукавина, может, и существует лишь в кино да в книгах. А в суетной нашей жизни ее не бывает.

— Что вы, тетя? Бывает... Как же можно без любви?

— Эх, Васена, Васена, счастливая душа.— Надя обняла племянницу, поцеловала в пылавшую щеку.— Любишь и веришь, и дай-то бог тебе всегда любить и всегда верить. Ведь ты и твой Ванюшка — не в счет, а вообще любви нету. Ее выдумывают такие влюбчивые дуры, как твоя мать, а моя полоумная сестричка. До чего дошла? Мужа выгнала из дому. Ее Василий — это же какой прекрасный человек. А ей влез в душу Федя с тонюсенькими усиками. Я еще тогда говорила: что делаешь, сумасшедшая, опомнись! Куда там, и слушать не желала. «Не могу иначе, сестра, у меня на душе песня». Какая еще песня? Увидела красавца с усиками, улыбкой поманил ее, дуру. А она: песня на душе! Бойся, Васена, такой песни, бойся!

Васена присела на стул и, волнуясь, сбивчиво рассказала о том, как Федор забрался в клуню, о своем разговоре с ним и с матерью.

— Вот тебе и песня! Знать, уже и к тебе потянулся, бабник проклятый? — Надя посмотрела в окно.— А вот и Дмитрий Антонович. Директор, с портфелем, ничего не скажешь, важное лицо.

Надя обижалась на своего мужа потому, что Дмит-

рий Антонович Осадчий был из той породы мужчин, кто совершенно не замечал не только краснокаменных красавиц, а и свою жену. Вечно был погружен в свои раздумья, всегда был занят какими-то неотложными делами, всегда куда-то спешил. В первые годы своего замужества Наде странно казалось невнимание к ней Дмитрия. Иногда, нарядившись в новое, только что сшитое платье, она становилась перед ним и, счастливая, со смеющимися глазами, спрашивала:

— Ну как, Митя? Нравится?

— Что именно?

— Ну, мое новое платье... и я.

— Надежда, некогда мне приглядываться. Готовь обед, и я побегу.

Смеясь сквозь слезы, Надя говорила:

— Митя, хоть бы влюбился в какую станичную красотку.

— Это зачем же?

— Так, людям на смех. Может, веселее жить бы.

— Некогда, Надежда, некогда заниматься пустяками.

— И детишек у нас нет. Скучно.

— Этот вопрос мы обсудим, обговорим.

Во время обеда Надя рассказала мужу, в каком затруднительном положении находится племянница, и добавила, что Васене нужен не только добрый совет, а и требуется помощь. Надя была уверена, что тут же услышит: «Некогда мне, некогда, меня ждут дела». И как же она была удивлена, когда Дмитрий Антонович по-отцовски ласково посмотрел на печальную Васену и, не задумываясь, рассудительно сказал:

— Любовь — великая благодать, и если ты, племянница, всем сердцем полюбила Ванюшку Головина, так и поезжай к нему. Так что мой совет прост: улетай в Барнаул, к Ивану. Кстати, деньги на дорогу имеешь?

— Ой, что вы, дядя, какие у меня деньги? — смутившись, ответила Васена. — Может, мать даст. Я еще не просила...

— Поможем и с деньгами, — сказал Дмитрий Антонович. — Мы с Надей дадим какую-то сумму, от матери получишь, поезжай к отцу, попроси у него. — Он встал, прошелся по комнате. — А Зоя, выходит, начинает пожирать плоды? Несчастная. А почему? По своей же дурости. Ну, мне пора. Пойду. И не падай духом, Васена. У тебя не то, что у матери. Твоя любовь — это прекрасно! Ничего другого не скажешь.

Он взял портфель, сказал, что сегодня приготовит для Васены справку, и ушел. Надя с пониманием дела начала пояснять Васене, как ей ехать, что из вещей взять с собой, а что пока оставить дома.

— Знай, Васена, Барнаул, ох, как далеко, и неизвестно, какой там климат, какая потребуется одежда, — поучала Надя. — Возьми мой вязаный жакет, захвати простыни, полотенца — пригодятся.

Васена была грустна, она слушала, соглашалась с тем, что ей говорила тетя Надя, и лишь тихонько, пристыженно призналась, что у нее даже нет чемодана.

— Выручу. — Надя принесла из чулана обтянутый коричневым дерматином чемодан. — Не велик и не мал, а как раз все уложишь в него. Харчишки — в авоську. Сегодня же — слышишь, сейчас же! — отбей Ивану телеграмму. Коротко: вылетаю, и все. Пусть ждет. Последний автобус в Роцинскую отправляется часов в десять — времени еще много. В Роцинской переночуешь у батюка, пусть и он подсобит деньгами, а из Роцинской прямо на аэродром.

Там автобусы ходят. Вечерком я навещу сестру, принесу чемодан, и мы быстренько сладимся в дорогу. Я провожу тебя до автобусной станции.

Васена зашла на почту, послала Ивану телеграмму и, возвращаясь домой, уже жила мыслями о поездке в далекий и загадочный Барнаул. В калитку вошла, когда с гор на станицу наполнили сумерки, и увидела мать не в комнате, а в кладовке, где та, сидя на корточках, возилась с бутылкой, прикрывая ее мокрой тряпкой. Увидев дочь, Зоя испуганно подняла голову, юбкой закрыла бутылку, смотрела тревожно блестящими глазами.

— Кто ты? — спросила она, не отходя от бутылки. — Будто и Васена и будто не Васена. Говори кто?

— Что ты, мать? Не узнаешь? И что прячешь?

— Ее, ее, песню свою, укрываю. Боюсь, чтоб не убежала. — Зоя как-то странно, судорожно повернула голову, губы ее скривились в горестной улыбке. — Доченька, а отчего бывают пожары? Э, не знаешь! А я знаю — от керосина и от серника. Плесни на клуню керосин и брось туда серник. А рядом гараж и хата. Все сгорит, и песня моя тоже. — Зоя снова сделала судорожное движение головой. — От греха укрыла бутылку тряпкой. Нет, ни за что не дам сгореть песне, ни за что, Васена, а ты где так долго была?

— Мама, я уезжаю.

— Куда?

— Сперва к отцу, в Роцинскую. А потом в Барнаул, к Ивану.

— Сама решилась? Или Ваня позвал?

— Да, позвал.

— Ой, добре, добре, дочка. Поезжай к Ванюше, поезжай. Что тут, в станице? Ванюша любит тебя, а с любовью, доченька, ничего не страшно, ничего... Знаю, на дорогу тебе нужны гроши. Эх, гроши, гроши... — Зоя опять так же судорожно и так же странно повернула голову. — Раздобуду, займу у соседки. И бройлерков поджарю в дорогу. Сегодня принесла парочку... Эх, доченька, доченька, ты уедешь, а моя беда, по всему видно, останется со мной. Прилипла она ко мне, живем в обнимку, неразлучные. Эх, плеснуть бы на мою прилипшую сожительницу керосином и кинуть на нее серник. Пусть бы, окаянная, сгорела... Нет, нет, не надо огня. Не надо! Стерплю, сдюжу. Вот только в груди у меня огонь. Тут, под сердцем и в самом сердце. Да, да, верно, тебе надо ехать. Побегу к соседке. Без грошей как же? Без них нельзя. А это хорошо, что едешь к Ванюше. Очень правильно... Доченька, как бы я была рада, чтоб у тебя в сердце не было того, что зарз гнездится у меня...

Безвольно опустив руки, она вышла из хаты. Вскоре вернулась, отдала Васене деньги, сказала:

— Сто рублей. Батюку скажешь, пусть подсобит.

Не видя Васену и уже забыв о ней, Зоя направила в кладовку, взяла лежавшую на бутылку тряпку и из кружки начала лить на нее воду. Делала она это старательно и говорила так, будто думала вслух:

— И чего это мне увиждается поломя? Куда ни погляжу, а в очах поломя. К соседке пошла, гроши у нее прошу, а вижу красные языки... — Не выжимая тряпку, с которой стекали капли, она старательно обмочала ею бутылку, как бы желая понадежнее прикрыть видневшуюся сквозь стекло желтую жидкость. — Э, знаю, знаю, поломя бывает от керосина и от серника. Керосином полить солому, как водой, и кинуть туда серник... Э, нет, нет, меня не проведешь, теперь я все знаю. Умная стала. Жизнь малость подучила. И хоть сестра Надежда ругает меня, а я верила и еще больше верю: есть, есть любовь-песня! Моя песня! И никакое поломя ее не возь-



мет, не может она сгореть, не может. Никакого огня она не боится... Слышишь, дочка?

— Что, мать? О чем ты?

— О своем, доченька, о кровном. Ты едешь к Ивану и помни: есть она, моя песня, и она повсюду со мной. И дома и там, на бройлерной фабрике.— Зоя склонилась над бутылкой, как над покойником, и заголосила: — Ой, Феденька, Феденька! Ой, серденько мое! И куды ж ты уехал, родненький мой! И на кого ж ты оставил меня одну-одинешеньку!

Васена наклонилась к матери, успокаивала ее, а в это время вошла Надя с чемоданом.

— Васена, что с нею? Отчего ревет?

— Не знаю. То говорила что-то непонятное, а теперь расплакалась.

Вдвоем они с трудом оторвали Зою от бутылки, увели в соседнюю комнату и уложили на кровать. Надя принесла воды, Зоя, стуча зубами о кружку, выпила глоток, ничего не видящими глазами посмотрела на сестру, замахала руками и закричала:

— А!! И ты здесь?!

— Успокойся, Зоя. Васену надо проводить в дорогу. Вот и пришла.

— Заявилась поглядеть на мое горе? Ну что ж, погляди, полюбуйся. Ни от кого и никаких секретов у меня нет. Говорила и еще скажу: есть, есть она, моя песня! Личная! Но тебе ее не понять.

— Полежи, Зоя, и помолчи,— сказала Надя и обратилась к Васене: — Выйдем, пусть она побудет одна.

Они прошли в переднюю комнату. Надя плотнее прикрыла дверь. Васена спросила:

— Тетя Надя, что с нею?

— Горе. Накипело на душе, страдает, бедняжка. Эх, Васена, Васена...— Надя поцеловала племянницу в пылавшую щеку.— Хоть бы ты со своим Ванюшкой была счастлива. Как бы я порадовалась за вас.

— Тетя, может, не надо уезжать? — спросила Васена.— Мать в таком горе... Надо остаться.

— Да ты что? — удивилась Надя.— Обязательно поезжай, непременно. Лети, милая, к своему счастью, лети. Чемодан я принесла, деньги тоже. Езжай, езжай, Ваня тебя ждет. А за матерью я присмотрю.— Надя прислушалась, за дверью было тихо.— Успокоилась, наверное, уснула. Поспит хорошенько, отдохнет, и все пройдет. А мы будем собираться. Поехать к последнему рейсу.

— Страшно уезжать, тетя. За маму боюсь.

— За мать не бойся,— уверенно сказала Надя.— Разволновалась, понять ее можно... Ну, все уложила, все взяла? Пойдем, провожу до автобуса и сразу вернусь к Зое. У нее и переночую. А ты не прощайся с нею, не беспокой, пусть поспит. Поезжай, поезжай, обрадуй Ванюшку. Ну, посидим перед дорогой.— Они присели.— Васена, в любовь твою и Ивана я верю. И дай бог, чтоб в своей вере я не ошиблась... Ну, пойдём.

Надя взяла чемодан и первая направилась из хаты. Васена посмотрела на дверь, мысленно прощаясь с матерью, и пошла следом.



10

Ночь была по-осеннему холодная. Остуженная сквозняками Краснокаменная тонула в темноте. Кое-где мерцали оконца, одиноко и печально светили два фонаря на пустой площади. Автобусная станция была безлюдна. Стоял готовый двинуться в путь автобус с раскрытыми дверями. Пассажиров было мало, они уже заняли свои места и, казалось, поджидали Васену, их скучные лица как бы говорили: «Ну, девушка, ну где пропастилась, скорее садись, да и поедem». Из плохо освещенного помещения вышел шофер в парусиновом, измятом на спине и снизу плаще, в надвинутом на брови картузе. Он не спеша, с достоинством уселся за руль, поправил на спине плащ, откинулся назад, посигналил.

— Эй, кто там еще? Побystрее! — крикнул он зычным голосом. — Поезд отправляется!

Надя купила билет, внесла в автобус чемодан и, когда Васена, грустная, со слезами на щеках, опустилась на сиденье, обняла ее голову, расцеловала и расплакалась.

— Ну, счастливо, Васена! Обязательно напиши, как ты там.

И ушла через площадь, не оглянувшись. В это время добродушно загудел мотор, и сразу же пустая, слабо освещенная площадь с двумя тоскливыми фонарями и станция, возле которой стоял какой-то старик в кепчонке, ушли назад, и Васена поняла,

что автобус тронулся. Впереди, как бы желая преградить путь, вставала черная стена, фары рассекали ее, открывалась то соломенная крыша сарая, то угол дома, то ворота с калиткой. Васена прижалась лбом к холодному, мелко дрожавшему стеклу и заплакала. «Ну вот и прощай все, что здесь было, — думала она, еще сильнее упираясь лбом в дрожащее стекло и плача. — Что меня ждет там? И где он, тот Барнаул? Милый, хороший Ваня, если бы ты знал, как мне все здесь опостытелo и как я че могу, не могу жить без тебя...» И тут же она услышала голос матери: «Есть, есть любовь-песня! Моя песня!»

Фары резали темноту, силились раздвинуть ее как можно шире и не могли. Автобус прибавил скорость, мчался быстро, спешил домой. Вскоре он миновал школу, в которой учились Васена и Иван, фары выхватили из темноты знакомый кирпичный подъезд с флажками у входа. Позади уже осталась последняя улица, колеса загремели на мосту, вниз, под лучами фар блеснула вода, и автобус легко помчался с горы. Вот он миновал ложбину, поднатужился и так же резво выскочил на пригорок. Васена знала, от этого пригорка дорога уходила на Рошинскую, и если днем отсюда смотреть на Краснокаменскую, то казалось, будто бы станция лежит в котловине. Как бы прощаясь, пассажиры посмотрели не на станцию — в темноте ее не было видно, — а на одинокие фонари на площади, теперь уже далекие и совсем тусклые, и думали о том, что через час будут в Рошинской, и вдруг увидели ог-

ромное зарево. Оно как бы вырвалось из-под земли, горячее, неужелимое. Пламя покачивалось, расталкивало темноту своими могучими огненными локтями, и над Краснокаменской стало так светло, что были видны ближние от станицы горы. Шофер резко остановил автобус, запищали тормоза, умолк мотор, погасли фары. Шофер выскочил из кабины, стоял и с удивлением смотрел на взлетавшие к черному небу огненные языки. Словно бы желая ответить на молчаливые вопросы пассажиров, шофер сказал:

— Да, полыхает, похоже на пожар. Только невозможно разобрать, где и что именно горит.— Помолчал для важности.— Похоже, птицеводческий комплекс. Надо возвращаться, товарищи пассажиры!

— Ну что ты, дружище! — слышим, простуженным голосом возразил пассажир.— Комплекс стоит дальше, аж возле ущелья. И возвращаться нет нужды. Скоро заявятся пожарники, без нас управятся.

— Может, горит универмаг? — послушался озабоченный женский голос.— Точно, точно, это он.

— И скажи, кто мог подпалить?

— Найдутся, было бы что палить.

— Бывает, само загорается, от электричества. Замыкание.

— И почему, скажи на милость, то замыкание всегда случается ночью?

Пламя все яростнее разрывало словно бы спрессованную темноту, огненные, качающиеся языки лизали черноту.

— Ах, беда! — сказал шофер.— Надобно возвращаться.

— А чем и как мы поможем? — спросил тот же слышим, простуженный мужской голос.— Пока доедем, тушить будет нечего.

Смотревшей на пожар Васене показалось, будто горела материна хата. От этой мысли она вздрогнула, хотела выскочить из автобуса и побежать в станицу, к пожару, а подняться не могла: ноги не слушались. И вдруг раздался взрыв, похожий на орудийный выстрел, протяжным эхом отозвавшийся в ущелье. И снова стало тихо.

— Канистра разорвалась, — со знанием дела сказал шофер.— Определенно она. Бензин, он же взрывается, как снаряд. Знать, горит гараж. А может, и не канистра, а бак с горючим. И нету, как на беду, пожарников... А! Закричала сирена, знать, несутся спасатели. Да только малость припозднились.

— Видать, проспали, — сказал мужчина охрипшим голосом.

— Ежели взорвался бак с горючим или канистра, то хана! — с той же уверенностью в голосе сказал шофер.— Все сгорит дотла. Ну, пусть пожарники поработают, может, что и спасут. А мы поедем. Тронули.

Как бы давая понять, что сказал не только все, что ему надобно было сказать, а намного больше, шофер так же не спеша уселся за руль в своем помятом на спине плаще, умело отпустил ручку тормоза, зажег фары, не включая мотор, и автобус, как бы понимая, что ему дана свобода и что он может показать свою прыть даже и без мотора, покатился под уклон, весело поскрипывая рессорами и озаряя фарами черное, как смола, шоссе. И как только, шурша колесами, все еще без мотора, свернул вправо, сразу же не стало ни станицы, ни зарева над ней, а впереди и с боков, выхваченные лучами из тьмы, поднимались горбами и поворачивались спинами укрытые кустарниками горы.

Пассажиры грустно молчали. У Васюты ныло, болело сердце, и слезы еще сильнее застилали глаза. Она все так же упиралась лбом в мелко дрожащее стекло, смотрела на мягкие силуэты убежавших на-

зад гор, а видела зарево, подпиравшее над станицей небо. «Может, мать не удержала, не уберегла бутылку с керосином? — думала она.— А взрыв — это в гараже. Неужели мать? Нет, нет, не она...» И снова, как бы в ответ на свои вопросы Васена услышала голос матери: «Есть, есть любовь-песня! Моя песня!»

II

Оказывается, Васена не ошибалась в своих предположениях. На другой день во всех станицах и хуторах Роцинского района знали не только о пожаре в Краснокаменской, а и о трагической гибели знатной птичницы Зои Ефимовны Васильчиковой. И говорили о пожаре как о событии исключительном, немислимом, и мнения у людей, как это часто бывает, расходились. Кто-то становился на сторону Зои, искренне сожалел о ее смерти; считали, что она, обманутая, оскорбленная, иначе поступить не могла, и тут же, не стесняясь в выражениях, называли Федора и подлецом, и извергом, и распутным бабником. Кто-то, напротив, находил, что Федор ни в чем не повинен и что ухаживал за дочкой Зои исключительно ради того, чтобы сделать Василису счастливой. Более того, какие-то досужие бабоньки уверяли, будто бы клуню поджег сам Федор, желая отомстить непокорной падчерице, но что «Жигули» вывести из гаража не успел, будто бы помешала Зоя. Чтобы не дать мужу уехать на «Жигулях», Зоя влетела в гараж, закрыла на крюк дверь и там сгорела. Другим, еще более досужим бабонькам стало известно, будто бы Зоя заманила в гараж Федора, но что будто бы Федор в последнюю минуту каким-то чудом сумел выскочить из уже охваченного пламенем гаража и так надежно скрыться, что милиция все еще не может его отыскать.

Как бы там ни было, кто и о чем ни говорил бы, а трагедия в Краснокаменской озадачила и встревожила всех, а особенно начальника райотдела милиции майора Нащекина. По натуре он был человеком удивительно добрым, внимательным к людям, умел заботиться о том, чтобы в районе во всем был образцовый порядок, а жизнь роцинцев протекала бы тихо, спокойно, без горя и слез. И если, скажем, где-то случалась драка по пьянке, воровство или ссора в семье, которая кончалась разводом, все Нащекин принимал близко к сердцу. Сын кубанского казака и завязанный конник, майор Нащекин имел в отделе милиции не только гараж и легковые машины, а и конюшню с двумя верховыми, кабардинской породы скакунами, лучшие казачьи седла с мягкими, набитыми пухом подушками. Подчеркивая свою любовь к верховой езде, майор Нащекин носил блестящие шпоры на всегда начищенных сапогах и считал для себя самым большим удовольствием тот момент, когда он ставил носок сапога в стремя и взлетал в седло. И его подчиненные тоже любили верховую езду, мастерски ездили в седле и носили сапоги со шпорами.

Майор Нащекин на рассвете по телефону доложил, как положено, секретарю райкома и председателю райисполкома о несчастье в Краснокаменской и срочно вызвал к себе начальника уголовного розыска капитана Нечаева. Встретил капитана, как обычно встречал подчиненных, посреди кабинета, нахмурился и спросил:

— Капитан Нечаев, что же происходит? — И сам же ответил: — Безобразие происходит! Позор! Узнают в крае, скажут: ну, роцинцы, ну, передовики, ну, докатились! Знаю, будешь обвинять пожарную охра-

ну. Но с пожарников мы еще спросим. Суть же вопроса глубже — погибла птичница, и какая птичница!

Капитан Нечаев молчал. Он был по-военному подтянут, милицкий костюм сидел на нем как нельзя лучше, начищенные сапоги были со шпорами. И когда капитан Нечаев картинно вытянулся, выпятив сильную грудь, его каблук щелкнул так, что шпоры издали приятный мелодичный звук и как бы сказали: «Так точно!» Форменную фуражку капитан держал на слегка согнутой руке околышем вверх и смотрел на майора Нащекина покорными глазами, и майору это нравилось.

— Ведь это же уму непостижимо! — сказал майор Нащекин с огорчением в голосе. — Немедленно выезжай в Краснокаменскую. Седлай коня и скачи напрямик, по ущелью — так ближе.

Каблуки капитана в ту же секунду щелкнули, шпоры сказали свое «Так точно!», грудь выпятилась сильнее, и капитан Нечаев сказал:

— Докладываю! Я уже был в Краснокаменской.

— Ну и что?

— Возьму с собой лейтенанта Немцова, и мы поедем вдвоем, — сказал капитан. — Разрешите подседлать двух лошадей?

— Разрешаю, — сказал майор. — А известна ли тебе, капитан, истинная причина такого печального факта?

— Через час приступлю к следствию и сразу же доложу. — Капитан вздрогнул, вытянулся, дал каблукам волю, они сомкнулись и решительно щелкнули, а шпоры звякнули и уже сказали: «Будет исполнено!», и это еще больше понравилось майору. — Но уже есть налицо предположение, вернее имеется версия.

— Какое предположение? Какая версия? — строго спросил майор.

— Имеется предположение, что Васильчикова погибла от любви. — Капитан Нечаев не щелкнул каблукми, ибо по нахмуренному лицу майора Нащекина понял, что сказал что-то не то или не так, и, спохватившись, добавил: — Докладывал участковый... Точнее: у покойной была несчастная любовь... В таком аспекте, в таком разрезе.

— А что, вполне могло быть, — согласился майор, и в его глазах затеплилась ласка. — Любовь, капитан, штука серьезная. И не надо «в таком аспекте, в таком разрезе». Пустые и ненужные слова. Нам требуются факты и факты, — уже строго сказал майор. — А где они, факты? Тот ее приживалец, какого она, возможно, любила, еще не задержан и где он укрылся, никто не знает. А почему не задержан?

— Федора Нагорного мы отыщем, — смело ответил капитан Нечаев и с трудом удержал каблук от движения. — Никуда он от нас не скроется. — Капитан помолчал, ему стоило немало усилий, чтобы не щелкнуть каблукми. — Товарищ майор, один факт и весьма существенный имеется. — Капитан Нечаев хотел было привести в движение каблук и тут же раздумал. — Сестра покойной, Надежда Ефимовна Осадчая, законная супруга директора совхоза, уверяла участкового, и это занесено в протокол допроса, что как раз перед смертью последними словами погибшей были слова о любви и о песне.

— О какой песне? — спросил майор Нащекин. — Слова?

— Какая песня и какие в ней слова, точно еще не установлено. — Капитан Нечаев вынул из нагрудного кармана записную книжку, раскрыл ее, положив на фуражку. — Вот я кое-что записал. Перед своей гибелью гражданка Васильчикова несколько раз повторяла: «Есть, есть любовь-песня. Моя песня». И все. Как я полагаю, слова эти должны означать...

— Вот что, капитан, не будем гадать и терять время, — перебил майор. — Бери с собой лейтенанта, седлайте лошадей и поезжайте. Пойми, капитан, женщина сгорела в огне, и мы обязаны досконально знать, в чем же причина. Может быть, было что-то другое, злонамеренное, уголовно наказуемое. Во что бы то ни стало установи истину, и если отыщется преступник, взять его и судить показательным судом.

На этот раз капитан Нечаев вздрогнул так, как вздрагивает строевой конь, почуяв прикосновение шпор, и сказал:

— Будет исполнено!

— Бери, капитан, бразды правления в свои руки и действуй.

— Есть! — Шпоры звякнули излишне звонко и снова сказали не «Так точно!», а «Будет исполнено!» — Мы через полчаса будем в Краснокаменской. Могу идти?

— Да, иди, — сказал майор. — Договорись с местными властями о похоронах, чтобы были цветы, митинг, речи, духовой оркестр. А я сегодня же посоветуюсь с прокурором, узнаю, что он думает.

Капитан Нечаев умело щелкнул каблукми, звякнув шпорами, которые на этот раз сказали: «Есть!», и четким строевым шагом вышел из кабинета, на ходу надевая форменную фуражку, поплотнее натягивая ее на лоб, чтобы не дуло ветром.

12

Только через полтора года Васена приехала в Краснокаменскую и не одна, а со своим мужем Иваном Головиным и дочерью Любочкой. Еще тогда, когда прилетела в Барнаул, Васена получила телеграмму от тети Нади и узнала о пожаре и о гибели матери. Но как все это случилось? Как погибла мать? Об этом тетя Надя не сообщила и в письмах. Приехать же в Краснокаменскую Васена тогда не могла, все одно не успела бы на похороны, да и ехать было, собственно, не на что. Вскоре она стала женой Ивана Головина. Молодожены снимали комнату недалеко от училища, потом у них родилась Любочка, и их хозяйка, милая, добродушная старушка, стала для Васены и матерью, и советницей, и няней. Пришло лето, раннее, жаркое, не похожее на верхнекубанское. Ивану был предоставлен краткосрочный отпуск, и молодые люди сразу же прилетели в родную станцию, как птицы прилетают по весне на свое старое гнездовье.

В тот солнечный день в доме у Головиных был настоящий праздник. Шум голосов, звуки гармошки, застольные казачьи песни напоминали свадьбу. Почти каждый краснокаменец пожелал хоть одним глазом взглянуть на будущего летчика. Иван был в форме курсанта, яркие погоны удобно и красиво лежали на его широких плечах, и те, кто знал сына Головиных еще ребенком, с нескрываемой радостью смотрели на него и говорили, что и ростом, и осанкой, и даже улыбкой Ванюшка похож на Юрия Гагарина. Игнат Савельевич, могучего телосложения старик, сосед Головиных, поднялся, ладонью черкнул седые усы и сказал басом:

— А ить это правда! Ванюшка — вылитый Юрий Гагарин!

— Игнат Савельевич, до Юрия Алексеевича Гагарина мне, ох, как далеко, — сказал Иван. — Вот окончу училище, подружусь с небом, а небо, как известно, почти что рядом с космосом.

Послышались одобрительные возгласы. А отец и мать с сияющими от счастья лицами не знали, куда и посадить невестку и похожего на Юрия Гагарина

сына, были к ним внимательны, ласковы, особенно мать, в глазах которой светилась одна сплошная радость. Людочка тянулась ко всем, ее передавали с рук на руки, и девочка, словно бы понимая, что она значит для этих людей, улыбалась им, показывала язычок и как бы говорила: «А поглядите, поглядите на меня, вот я какая!»

У женщин свои интересы. Они взяли в плен Васену, счастливую и тем, что приехала в родную станицу, и еще более тем, что она мать и что у нее такой красивый муж. Ее наперебой расспрашивали и о том, что это за город Барнаул, и какие там живут люди, и какие базары. А в сторонке стояли женщины, печальные, молчаливые, казалось, они и пришли сюда, чтобы постоять и помолчать, и на Васену и Ивана смотрели с грустью в глазах.

— Вот оно, подруженьки, перед нами живое счастье, — сказала одна так тихо, что ее никто, кроме стоящих рядом, не услышал. — Эх, поглядишь, поглядишь на Васену, на Ванюшку, на ихнего ребеночка и подумаешь: все ж таки имеется на свете настоящая любовь.

— Они же влюбились еще в школе, — сказала другая. — А первая любовь — это же весенний цветок.

— Я так думаю, повезло Васене с муженьком, не то что некоторым, — тем же своим тихим голосом сказала первая женщина. — Допустим, ее матери. Как, бедняжка, страдала.

— Порадуемся за Васену и за Ванюшку, — сказала третья. — Нехай они живут в любви и в согласии.

Васена же — и когда сидела за столом, рядом со свекровью, и когда разговаривала с женщинами, рассказывая им о Барнауле, и когда ее обнимала и целовала тетя Надя, — все время думала о матери и потому была не такая веселая, как все вокруг нее. Куда бы она ни смотрела, с кем бы ни говорила, а в голове ее звучал голос: «Есть, есть любовь-песня! Моя песня!»

На другой день Иван и Васена пошли проводить тетю Надю и дядю Дмитрия, собираясь вместе с ними побывать на кладбище. Иван нес Людочку, как бы желая показать краснокоменцам, какая у него дочь. Они направились через площадь в знакомую Васене улочку. На том месте, где когда-то стояла хата Зои Васильчиковой, еще сохранились прибитые дождями следы пожара, но уже появилось только что выстроенное новое жилье. Возле почти готовой хатенки хозяйничали чубатый парень и повязанная косынкой девушка, наверное, молодожены.

— Как говорится, свято место пусто не бывает, — сказал Иван не то Людочке, на которую смотрел, не то Васене. — Начинается новая жизнь.

— Гнездо мостят, — ответила Васена. — Как птицы.

— Васена, может, зайдем?

— Ой, что ты, Ваня? Мне больно смотреть, не то что заходить. Да и не будем мешать молодым хозявам. Пойдем, нас давно тетя Надя ждет.

Дмитрия Осадчего дома не было — рано утром уехал в район на совещание. Надя, обрадованная, взволнованная, так же как и вчера у Головиных, обняла Васену и Ивана, взяла девочку и, целуя ее, залилась слезами.

— Людочка, родненькая, не увидела тебя бабушка Зоя, — плача, говорила она. — Как бы она обрадовалась, как бы обняла тебя! Ах, Людочка, какая же ты славная! А ну, давай погляжу на тебя, на голенькую. — Не спрося у матери, она раздела девочку, оправила смятую рубашонку и, смеясь сквозь слезы, ласково посмотрела на Ивана и Васену. — Молодцы! Какую прелестную девочку родили! Счастливые! — Она покачала Людочку на руках, нежно, осторожно. —

Вот какие мы! Ах, как нам весело! Как мы протягиваем ручки! А как мы смеемся — прелесть!

— Она к отцу тянется, — понимающе глядя на Ивана, сказала Васена. — Ваня, возьми ее. Как она любит тебя...

— Отца и полагается любить, а как же, — сказала Надя, передавая Людочку Ивану. — Ну, ну, иди, иди, деточка, к папе.

Иван ушел с Людочкой на веранду, и Васена, обрадовавшись этому, спросила:

— Тетя Надя, что же тогда случилось? Из ваших писем ничего нельзя было понять.

— То, что было, то было, — ответила Надя. — Вот держала на руках твою радость, смотрела, как Людочка семеняла ножками, как подпрыгивала, будто бы на пружинах, как смеялась, и, веришь, еще большим кошмаром кажется все то, что произошло в ту ночь. Спрашиваешь, как было? Сама до сей поры толком ничего не понимаю. Посадила тогда тебя в автобус и сразу же отправилась к Зое. Издали, еще на площади, увидела пламя и подумала: неужели Зоина хата горит? Побежала, а ноги с перепугу не слушаются, подкашиваются. Споткнулась, упала ничком, а подняться не могу: ушиблась. С трудом встала, пошкандыбала. Слышу — грохот. Опосля узнала: это Федорова машина взлетела в небо. А огонь еще больше раздвинулся во все стороны. Прискакали пожарники, начали тушить. Старались, а спасти ничего не смогли. Начисто все сгорело. И Зою нигде нету. Отыскали ее, обгоревшую. Похоронили несчастную с почестями, с духовым оркестром, да ей-то все одно.

— А Федора изловили?

— На третий день милиция поймала. Задержали на хуторе Невинском — удирал. — Надя тяжело вздохнула. — Сколько я о ней передумала, а как была Зоя для меня загадкой, так и осталась. Непонятная она. Видно, что-то хранилось у нее в душе такое особое, тайное, чего у меня, да и у прочих баб не было. Помнишь, она все твердила о какой-то своей песне. Один бог знает, что это за песня и чему Зоя так радовалась. И жалко ее, несчастную... Так мы зараз сходим на кладбище, проведем Зою, поглядим ее могилку.

На кладбище царила устоявшаяся тишина. Казалось, сюда, к крестам и железным оградкам, и ветер не залетал, не хотел нарушать тишину и покой. Со склоненными головами они остановились у холмика, укрытого, словно бы ярким ковриком, травой и анютиными глазками. Вместо креста поднимался столбик с жестяной звездой, недавно покрашенной суриком. Рядом — скамейка, низенькая, без спинки, всем своим неказистым видом она как бы говорила: а вы присядьте, присядьте, посидите молча, подумайте, тут очень хорошо думается.

В этой особенной тишине как-то некстати заплакала Людочка, ее голос звучал странно, казалось, девочка нарочно потревожила тишину, чтобы напомнить Ивану и Васене, что даже среди могил нельзя забывать о живом.

— Васена, покорми Люду, — сказал Иван. — Есть она, наверное, хочет.

Грустная Васена молча взяла Людочку, присела на скамейку, вдруг ощутила боль в сердце и услышала все те же, хранившиеся у нее в душе слова матери: «Есть, есть любовь-песня! Моя песня!» Умело, как это делают только опытные матери, Васена положила сразу умолкнувшую дочурку на свою левую руку, расстегнула кофточку, прикрыла косынкой молодую белую грудь и склонила гладко причесанную голову к припавшей к соску сладко чмокавшей Людочке.

**ДАВИД
КУГУЛЬТИНОВ**

СОЮЗ СЕРДЕЦ И СУДЕБ

*Продолжаем публиковать
выступления
видных писателей страны,
посвященные 60-летию
образования СССР.
Специальный корреспондент «Юности»
Владимир Островский
обратился к народному
поэту Калмыкии,
лауреату Государственных
премий СССР и РСФСР
Давиду Кугультинову
с просьбой поделиться
своими размышлениями.*



Судьбой предначначено было мне родиться в год образования СССР, и по праву считаю этот год особенно счастливым...
На лесенке лет каждая ступенька когда-то была главной, я вступал на нее, чтобы духовно подняться выше, ибо каждая ступень нашего бытия — это великие уроки Добра. Мой след в жизни — это все, сотворенное мной. Прежде всего — слово.

Говорить с вершины пережитых лет, с вершины опыта и зрелости гораздо труднее, чем вначале. Мне всегда казалось, что певец Истины должен обладать огромными способностями, чтобы уметь передать речь своего народа и собственного сердца.

Помню, как в сознание пришло первое русское слово «хлеб». Совхозная столовая — приземистый глинобитный барак с кухней. Простая русская женщина позвала меня, мальчишку, на кухню — от круглых с поджаристой коркой буханок, разложенных на столе, только вынутых из печи, шел аромат. «Возьми, это — хлеб!» — сказала она мне, подавая горбушку. И я повторил это слово: «Хлеб, хлеб, хлеб».

Хлеб души нашей — Добро, а слово — его сокровище. В те далекие годы я замирал от счастья, закрывал глаза от каждого звучного русского слова, я познавал Пушкина душой; он даровал мне великий свободный язык: передо мной вставала картина за картиной, я слышал музыку стиха — и не было счастливей меня человека. Не помню, когда я начал писать стихи, но первое стихотворение напечатал в двенадцать лет в многотиражке политотдела совхоза № 107. А когда мне исполнилось восемнадцать, в 1940 году, вышла первая моя книга «Стихи юности».

В те дни праздновалось в Москве пятидесятилетие калмыцкого эпоса «Джангара». В Большом зале консерватории оркестр Московской филармонии в симфонической сюите Антонио Спадавеккиа создал музыкальные картины поэмы.

Немало труда в оформление спектакля внес русский художник-москвич, заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР Дмитрий Вячеславович Сычев, настоящий подвижник, собравший за полвека образцы народных костюмов, вышивки калмыков, оформивший свыше тридцать спектаклей, изучивший быт нашего народа и его традиции. Незабываем и труд педагогов ГИТИСа, подготовивших артистов для национального театра.

В том же году большая делегация советских писателей приехала в Элисту. Возглавлял ее А. Фадеев. Помнится, мне на торжественном вечере вручили том украинских переводов «Джангары» под редакцией П. Тычины и В. Сосюры. Вступительную статью к юбилейной книге написал прославленный полководец гражданской войны, Герой Советского Союза Ока Иванович Городовиков.

В те праздничные дни мне повезло: мои стихи, переведенные на русский язык, заметил Александр Фадеев, и я был принят в Союз писателей.

Но минул всего год, пришла беда, и мы надели гимнастерки, пилотки с красной звездой, взяли в руки винтовки, автоматы...

Фронтное поколение не кончилось с Победой. Наши побратимы по оружию Михаил Лукония, Сергей Орлов, Сергей Наровчатов до последнего дыхания вели войну с войной, утверждая на земле мир, братство. Памятны строки Михаила Дудина:

Уходим... Над хлебом насущным —
Великой Победы венец.
Идем, салютуя живущим
Разрывами наших сердец.

Когда проходили Дни российской литературы в Калмыкии, Алим Кешоков и Сергей Крутилин надолго

го остались в Сарпинском районе — она вновь прошла по местам боев, и их через много лет узнавали как освободителей.

Мои фронтовые дороги пролегли от калмыцких степей до степей Приднепровья. То, что было пережито в жестоких боях, вылилось в стихотворение о переправе через Днепр, в поэмах. Да разве можно забыть тех людей, с которыми делал военные невзгоды?

Наша духовная, кровная связь, проверенная фронтовой дружбой, вовек нерасторжима. Сколько бессонных ночей скоротали мы в спорах о поэзии, чтении стихов! Хочется назвать имена дорогих моему сердцу друзей: Михаила Аудина, Кайсына Кулиева, Аркадия Кулешова, Расула Гамзатова, Алия Кемюкова, Мустая Карима. Каждый в своей республике занимает достойное место, и корни их поэзии уходят в глубинные пласты истории и духовной культуры нашей страны — мы сильны единством духовного опыта, ибо биография каждого из нас — это и биография Родины.

А. М. Горький, П. Тычина, Н. Тихонов, А. Леонов, Я. Купала, М. Ауэзов, Т. Табидзе, С. Вургун возвели духовные мосты нашей дружбы. Взаимовлияние литератур — их взаимообогащение.

Книги К. Симонова, Б. Полевого, С. С. Смирнова, М. Бажана, О. Гончара, В. Быкова, А. Адамовича, Д. Гранина, М. Алексеева, В. Кожевникова, А. Чаковского, А. Нурпенцова, как самые достоверные документы истории страшной по своей сути войны, влияют на наших современников свидетельством очевидцев. В них дружба народов, дружба литератур слиты воедино, как воды малых рек в Волге.

Журнал «Юность» — мой давний интернациональный друг — познакомил нас с судьбой латыша Ивара Лейманиса¹, трагически погибшего на стройке БАМа. В своем дневнике, помнится, он писал, что там говорят на восьми языках — и все говорят по-русски, поют и по-азербайджански и по-украински, и все песни понятны, потому что их поют сердцем, а язык сердца не требует переводчика.

Общие для всех нас проблемы были обсуждены на Всесоюзной творческой конференции советских писателей, прошедшей в Баку под девизом «Дружба народов — дружба литератур». После вступительного слова Георгия Мокеевича Маркова, осветившего высокую миссию творческого форума писателей Страны Советов, и деятелей культуры Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, представителей Афганистана, Египта, Индии, НДРГ, Чили, Палестины с трепетным волнением мы прослушали приветствие, направленное участникам конференции главой нашей партии и государства Леонидом Ильичом Брежневым, полное глубокого уважения к литературе, признания ответственной роли писателей в современном мире.

Вспомнил мне, что на I съезде народов Востока, созванном по инициативе выдающегося сына азербайджанского народа Наримана Нариманова, в числе делегатов был замечательный калмыцкий писатель Амур-Санан. Вместе с другими участниками этого форума он потом поехал в Москву и был принят В. И. Лениным. Амур-Санан рассказал Ильичу о положении калмыцкого народа. Уже через пять дней был подписан Декрет об автономии Калмыкии, 60-летие которой мы отпраздновали в 1980 году.

— Мы говорили о дружбе литератур, о дружбе народов. Что такое эти понятия? Да это все мы, присутствующие здесь, в этом зале, — так говорил я в Баку. Рядом со мною находился белорус Василь Быков. Мы с ним воевали вместе, а теперь идем

рядом и в литературе. Наверное, это и есть настоящее братство литератур.

Я учился когда-то вместе с талантливым азербайджанским поэтом Нариманом Гасанзаде, а теперь испытал чувство живой радости за него и за себя, когда в Кировабаде на вечере поэзии ему горячо рукоплескал зал.

Недавно меня спросили: в чем я вижу особенность русской классической литературы? Вспомнив Пушкина, я сказал: русскую классическую литературу, а вслед за ней и нашу советскую отличает открытое сердце. И это замечательное ее качество позволяет литературам других народов как бы приподняться до ее уровня. А Пушкина я вспомнил потому, что только он в ту пору мог провидеть, что его будут читать и почитать «и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Пушкин не пренебрегал любовью малых, чтобы заслужить любовь больших. Он видел в человеке все человеческое, в народе — всю Землю. Он понимал, что если отсвернуть от мудрости даже маленького народа, то мудрость всего человечества снизится, как снижается уровень моря, когда пересыхают реки. А русская литература, конечно же, стала такой великой потому, что она отражает характер народа, ее создающего. Я с детства наблюдал характер русского человека: когда он делает добро, он не думает, что получит взамен.

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками того, как развивается единая многонациональная литература, для которой есть гордое название — советская.

Калмыки говорят: юноша, объехавший мир, знает больше старика, сто лет просидевшего у своего очага.

В Элисте наша писательская организация вбирает всех, кто создавал ее, стоял у ее истоков. Это такие писатели, как Санджи Калыев, Аксен Сусеев, Константин Эрендженов, Лиджи Инджиев, и рядом — самые молодые: Олег Манджиев, Валентина Лиджиева. Я не назвал имен среднего поколения, которое работает с мудростью первых и с жаром последних. Я бы сказал, что в нашей организации главное — мобильность. Поэты, писатели, драматурги очень часто бывают в районах республики, на чабанских точках, фермах, в домах культуры, встречаются с читателями и с героями будущих книг, находятся в гуще жизни. Иногда меня как руководителя писательской организации спрашивают: не слишком ли много они ездят, не мешает ли это их творчеству? И я непременно прихожу к выводу, что если писатель некоторое время не пишет, — это даже хорошо. Не бывает ведь отдачи без накопления. А как часто у нас, к сожалению, появляется не только то, без чего духовная жизнь невозможна, а продукция ради продукции, только бы заполнить издательский план. Так что иногда молчание писателей для литературы полезнее, чем ремесленная «неутомимость».

Можно искусственно создать жемчуга, алмазы, причем они не уступят по своим качествам естественным, однако поэзия — предмет более высокой субстанции, не допускающей искусственного воссоздания; тут уж наука бессильна.

Поэзия, как однажды отметил лауреат Ленинской премии Егор Исаев, встает горным хребтом, и чем дальше отходишь от него, тем яснее открывается его сияющая многовершинность.

Я бы добавил, что поэзия всех народов СССР так же монолитна, как горный хребет, и каждая ее вершина стремится к солнцу.

¹ См. «Юность» № 1, 1960, стр. 74—77.



**АЛЕКСАНДР
БАСМАНОВ**

РОССИЮ ОН ЛЮБИЛ БЕЗМЕРНО

Боровиковский умер внезапно, от разрыва сердца, шестидесяти семи лет от роду, в знаменитый год декабрьского бунта на Сенатской площади.

Он пережил три царствования: Екатерины, Павла, Александра — и писал портреты с каждого из монархов, а также виртуозно исполнил детский портрет великого князя Николая, будущего палочника — пухлый милый мальчик играет андреевской лентой, облокотившись на стальной шлем с плюмажем: странная погремушка годовалому ребенку.

Он, Владимир Лукич Боровиковский, совсем чуть не дотянул до вьюжного дня, когда по каре, выстроившемуся у медного Петра, пальнули картечью, и снег кое-где покрылся красными пятнами, будто рассыпали, раздавили лукошко с клюквой, и совсем уж неизвестно, как Боровиковский отнесся бы к этому дню и кому бы сочувствовал, но известно, что весь свой век он, хоть сам не нуждался, а был академиком, придворным, человеком света, мучился от несправедливости, которую вокруг себя наблюдал и от которой постоянно искал лекарства: сначала в масонской ложе «Умиравший сфинкс», затем среди мистиков в кружке Татариновой, поочередно от ничтожества тех и других отворачиваясь, с презрением усматривая их сокровенное вождение — завоевание тайной власти.

Оставаясь один, пытаясь предоставить ближнему хоть какую помощь, Боровиковский искренне занимался филантропией и отдавал бедным почти все,

что получал за картины от заказчиков, и полностью — пенсию Академии, оставляя себе на жизнь только самое необходимое, и по завещанию все его имущество, состоящее из «небольшого количества денег, книг и писанных масляных холстов, сколько по смерти осталось», пошло неимущим. Он был аскетичен и одинок. Ему было чуждо тщеславие, и основным побуждением к работе для него являлась только любовь к искусству.

Чувствительные напевы, дакомившие людей конца XVIII столетия и вдохновлявшие мастеров на сочинение изящных произведений, собрались, прощально и ярко вспыхнули, окончательно истаяв, именно в Боровиковском, последнем адепте своей эпохи, и место его в исторической цепи русского искусства оказалось после Лампи и Левицкого, у которых он учился, и перед Венециановым, единственным оставленным учеником, человеком уже совершенно новой генерации и уже нового века. В 1790-х же, 1800-х годах Боровиковский — стержень не только портретной, но и всей другой отечественной живописи.

Его «рисовальная» карьера сложилась, в общем, неожиданно и счастливо, ибо он, сын мелкого миргородского дворянина Луки Боровика, совмещавшего казачество с иконописью, сизмалства стал сначала подмастерьем у отца, а потом и независимым мастером, уже в 1784 году самолично подписавшим два парных сюжета: Христос и Богоматерь, предназначенных для местного иконостаса. Но подлинное начало получилось от другого: встречи со знаменитейшим инженером, музыкантом, геологом, архитектором Львовым и поэтом Капнистом, которые поручили ему украсить дом, предназначенный для приема проезжавшей в Крым императрицы. Екатерине работа понравилась, она пожелала узнать имя художника и предложила Боровиковскому ехать в столицу для завершения образования.

Итак, Петербург, дом Львова с огромной библиотекой и собранием первоклассных картин (где Боровиковский проживет десять лет) и с ходу, после провинции, прекрасное общество одаренных, энциклопедически образованных людей: уже упомянутых Львова, Капниста, а также композитора Фомина, Державина, Хемницера, Бакунина, Хераскова, Баженова, наконец, Левицкого, у которого он, собственно, прошел начальную выучку по светскому портрету, первый из которых — Филипповой, молодой женой одного из архитекторов Казанского собора: узкий миндалевидный разрез глаз, родинка над верхней губой, бледная роза в руке. Здесь скрыта еще палитра подлинного Боровиковского, ее прелестная радуга, а рисунок внимателен и прилежен, но неглубок, и тем не менее отсюда начинается его слава: он будто бы сразу и целено отлился, продолжая с тех пор на протяжении четверти века выражать почти одинаковыми приемами одни и те же мысли и чувства: благой человек, общающийся с высшими силами и благостно преобразующий жизнь — не только искомое, но и обретаемое в реальности. Здесь именно мы найдем нравственный и философический идеал Боровиковского, созвучный идеалу его эпохи: и Карамзину, и молодому Крылову, Княжнину, Новикову и Радищеву, русскому политическому волнению 1790-х годов, детонации от французской революции, крестьянских бунтов и правительственных мер против робеспьеровской заразы. В этой связи Борови-

ковский у нас типичен и единственен — типичен оттого, что в нем, как и во многих, нашло отражение время, единственен же, поскольку в годы расцвета его звезду по таланту не с кем сравнивать, кроме как с уходящей уже звездой Левицкого, друга и вечного соперника.

В их искусствах замечательный образец разницы. Искусство Левицкого, ясно смотрящее в жизнь, вобравшее в себя ее улыбку, весь ее рост, сильное этой связью, покорное ее законам, широкое, как она сама, бодрое и уверенное, многоцветное и многошумное, и живописная музыка Боровиковского, уже принадлежащая новому времени, звучащая на грани двух миров, ибо, несмотря на царственную прелесть его мастерства, в нем чувствуется внутренняя тревога, некое раздвоение, будто художник увидел в своих современниках новую душу и не побоялся показать ее до последних пределов, на их нежных лицах заметна печать нравственного страдания.

Главным для Боровиковского было отыскать себя, и поиски эти шли подчас вразрез интересам служебного продвижения. В 1794 году президент Академии художеств, граф Мусин-Пушкин поднес тридцатилетнему мастеру звание «почетного вольного общника», а придворный живописец Лампи стал ходатайствовать о присуждении своему подопечному звания академика. Но герой наш именно тогда увлекся миниатюрным и камерным портретом, который в принципе не мог принести ему никаких академических успехов: для них требовалась работа над большими станковыми картинами.

Миниатюра, однако, давала возможность развернуть гармонию красок и отворить чувства, она по назначению своему была летуча, подвижна и почти всегда носилась владельцем при себе: в браслетах, медальонах, кошельках, на сердце; в ней воплощалось само понятие любви и памяти, тех основ, на которых, по глубокому убеждению Боровиковского, стоит всякое искусство.

В сущности, и теперь и позже, и большие и малые его полотна будут тяготеть к миниатюре, наиболее гармоническому для него жанру, которому Боровиковский отдавался со страстью и где меланхолическая интимность образов отвечает, согласуется с чудесной живописью: «Лызынька и Дашинька». Державин и его первая жена, чета Львовых, великолепный образ Капниста, новаторски решенный, почти пленэрно, на фоне сумрачной зелени сада. Неумоимо варьируя излюбленную фисташково-палевую гамму, столь приспособленную для передачи блеклых шелков, среди увлажненной словно дождем и воздушной листвы, в оправе которой обычно мечтают его модели, Боровиковский сочиняет совершенную гармонию красок, превращая одежду в почти бесплотный покров у его женщин и некий нимб, сияние у его мужчин. Таков в желто-зеленом атласе «Куракин» — великолепнейшее по живописи создание Боровиковского.

Портрет Куракина — это 1801 год, перемена на новый век, своеобразная веха, за которой у Боровиковского осталась целая коллекция образов: несколько туманная, размытая, словно покрытая вуалью великая княжна Елизавета Алексеевна, и надменная Новосильцева, и Арсеньева, и торжковская крестьянка Христины, прототип всех будущих образов Венецианова, и роскошный в своих пышных одеждах чернобородый Муртаза-Кули-Хан, брат персидского шаха, гостивший на берегах Невы, и необыкновенно изысканный по краскам Павел I в темно-зеленом мундире и обшитой золотым галуном треуголке — в виртуозности, быть может, самое совершенное произведение Боровиковского тех лет, и портрет Неклюдовой.

Тут везде Боровиковский разный: внимательный к

жизни и мечтательный одновременно, то любовник всей земной тленной красоты, то жадный искатель каких-то зыбких движений в глубине души, то шутник, насмешник и обличитель, то приятный льстец, то патетический трагик, то вдруг провидец будущего или античный демагог — то есть гениальный артист, играющий, с одной стороны, разные и непохожие роли, с другой же — лишь одного себя. Он овладел искусством портрета в совершенстве, передавая ему все движения своего ума и сердца, и модель отходила на второй план, а на первом оставалась только мастер со своей палитрой, манерой, со своими неудачами и открытиями.

Но, кроме того, портреты Боровиковского — это не только замечательная живопись, а еще и почти каждый раз великолепный сюжет, анекдот, история современных ему лиц. Возьмите всем известное изображение Марьи Алексеевны Львовой, где она еще молода и светлые кудри рассыпаны у нее по плечам и в ее руках портрет мужа. Так вот, Марья Алексеевна была одной из двух девиц Львовых, что блистали на нарышкинских вечерах и вышли замуж — одна за Державина, другая за Львова. Последний брак свершился при романтической обстановке: родители невесты ему противились, и влюбленные обвенчались без их ведома, но новобрачная вернулась из церкви вновь под отцовский кров и прожила три года, ничем не обнаруживая своей тайны, пока не добилась семейного разрешения. Свадьбу назначили, гости съехались, и только перед самым совершением обряда всем собравшимся была объявлена правда. Чтобы не пропали кушанья, тут же вместо господ обвенчали лакея и горничную и, говорят, на том пире было много веселья и смеха.

А вот портрет ее сестры, рассудительной Милены, как называл ее супруг — Державин, изображенной на фоне собственного дома и радужным жестом руки приглашающей туда каждого, хотя известно было, что в жизни она была далеко не всегда радужна и любезна даже с близкими друзьями своего мужа. Или всем знакомая со школьной скамьи история написания в «Капитанской дочке» сцены встречи Маши Мироновой с императрицей: «Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника» — эпизод, написанный Пушкиным под впечатлением виденной картины портрета Боровиковского.

То, что было посеяно и взрастало в XVIII столетии, настоящим, полным цветом распустилось в первое десятилетие XIX. Это время, когда «музы воцарились в мире», подобает считать самым зрелым у Боровиковского. То были вообще относительно благополучные для русского искусства годы: нарождаются первые художественные журналы, академические выставки открывают свои двери постоянно и регулярно, вокруг отдельных художников группируются вольные мастерские, правительство и частные лица делают многочисленные и разнообразие заказы, в исполнении которых не в пример прошедшему веку главное участие принимают русские мастера.

1800-е годы очень плодотворны и для Боровиковского, буквально заваленного работой. Сам он так и говорил: «Мне потерять час — превеликое в моих обязанностях производит расстройство». Его кисть

теперь более выдержанна и строга, его краски достигают стройного равновесия; ампирная, наполеоновская эпоха, потребовавшая энергии от всех, владела известною мужественностью и в Боровиковского: его портреты стали характеристичней, живописная манера сделалась более цветистой, мягкость очертаний стала подчеркнута линией, его модели предстают уже почти совсем земными.

Посмотрите на портрет Е. Г. Гагариной или Боровиковского, этот шедевр, подавивший своей энергичностью даже необузданную экспрессию «Бонапарт на Аркольском мосту» Гро, посмотрите на портрет Дубовицкого или групповой А. Г. и В. Г. Гагариных, где Боровиковский проявил лучшие качества своего колористического и рисовального мастерства (лиловая шаль, красного дерева гитара и сами девушки — «серебровозовым лицом»), — и вы убедитесь в этом сами.

То десятилетие от начала нового века для Боровиковского не только годы удачной художественной работы, но и духовных, интеллектуальных поисков, душевных надрывов и рефлексий, недовольства собой как гражданином и человеком, недовольство рабством и нищетой России, метаний между церковью и масонской сектой, это год начала его болезни сердца. А еще — тут новое для него поручение: написать десять образов для царских врат главного иконостаса Казанского собора в Петербурге. Именно с этой работой связано у Боровиковского возникновение необычной на первый взгляд картины — изображения зимы в облике крестьянина (в качестве модели мастер использовал того нищего, что позировал ему для евангелиста Матфея).

При всей конкретности косматого, полуслеплого старика в тулупе, протянувшего над огнем узловатые руки, — это аллегория, то есть воплощение понятия зимы и холода. Не душевного ли, не личных ли переживаний, не мыслей ли о надвигающейся смерти? «Силы мои начинают мне изменять», — скажет он в тот момент в письме к брату. Захочет в родные места: «Однако ж я решился, кончивши мои обязанности, распрощавшись с Петербургом сердечно желаю остаток дней препроводить с вами и всеми милыми нашими».

За работу в Казанском соборе Боровиковский получил в 1812 году бриллиантовый перстень, последнюю свою награду, и именно с этого момента его слава портретиста начинает меркнуть: на арену выступают новые силы, появляется «превеликий конкурент» Кипренский. С Академией же никогда почти и не было сношений, а теперь ее и вовсе раздирали склоки, отталкивая окончательно Боровиковского, к которому профессора относились, как к чужаку, так что и через несколько лет после смерти мастера Венецианов заметит: «учоные художники его не любили».

Теперь, спустя почти двести лет с тех времен, когда работал и жил Боровиковский, нам отчего-то решительно безразлично, кого любили или не любили «учоные художники», но совсем не безразличен, например, тот факт, что у живописца «болело сердце», той самой болью, сведшей его в могилу на самом кануне переломных событий по всей России, которую он любил безмерно и любовь к которой выразил без остатка в своих полотнах.

Достоевский в предсмертной речи отыскал выражение всей души многострадальной и великой родины, ее силу, ее терпение и ее женское начало в образах пушкинской Татьяны и тургеневской Лизы. Думаю, не будет большой ошибкой прибавить к этим образам главное, что создал и Боровиковский, — портрет Лопухиной.

Вот она, облокотившись на старую каменную консоль, стоит в саду, Марья Ивановна, в девичестве



Портрет В. Д. Боровиковского работы И. Бугаевского. Благодарного.

Толстая, сестра пугавшего и эпатировавшего общество своим буйством, разгульностью и причудливыми похождениями Федора Толстого-Американца, участвовавшего в одиннадцати дуэлях, знакомого Пушкина, отважного путешественника, ходившего под парусами Крузенштерна и высаженного за буй на корабле на берегах далекой Аляски, за что и было им получено впоследствии столь географическое прозвище.

Обтекающий ее фигуру контур, то теряющийся, то возникающий в виде легкой гибкой линии, вызывает воспоминание о подвижных контурах античных статуй; ниспадающие, сходящиеся или образующие плавные изломы складки, тончайшие, одухотвореннейшие очертания ее лица — все это составляет уже как бы не живопись, но музыку. Известно, что она никогда не была счастливой, известно, что через год после того, как написал ее Боровиковский, она умерла от чахотки.

И, видимо, столько несла она в себе любви, чистоты, поэзии, нежности, красоты человеческого чувства, что и через два столетия их хватает на всех нас. Наверное, именно поэтому под первым же впечатлением от увиденной этой картины у Полонского сложились стихи:

Она давно прошла и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.



ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

☆☆☆

Есть в Мюнхене пинакотена.
Почти под самым потолком
картина есть одна: Сенека
прощается с учеником...
Вот так и ты:
палимый лютой
тоской по знанью,
чист и смел,
застигнут смертной минутой,
отдай все то, что ты имел!
Знакомых безразличны лица,—
их не благословит рука!..
Твой взгляд, тускнея, отразится
навек
в глазах ученика...
Душа,
как келья, опустела,
повергнув в черный мрак родню.
И женщины омоют тело
и предадут его огню.
И по траве в обильных росах,
под чистой синевой высот,
тот мальчик робкий,
взявши посох,
твой взгляд по миру понесет.

Дуэль

В снегу шаги отмерьте.
Курок взведенный чуток...
Он был сильнее смерти,
салонный предрассудок!..
Для отмыванья срама
нужна лишь только
кровь!..
Так цельтесь в душу прямо
и подымите бровь!
Чтоб было все по правде,
как надо, в самый раз...
Прочней ступни расставьте,
прищурьте левый глаз!
Здесь не щадят таланта
и мудрости,
и вот —
на руки секунданта
противник упадет.
Еще в медвежьей шубе,
он к ладанке приник

и мать боюсь в губы
целует в смертный миг...
Идет
за гробом дама,
не подымая век,
отмытая от срама,
спасенная навек.

☆☆☆

Вот в тысячу страниц
трагическая повесть.
В ней действующих лиц
лишь двое:
я — и совесть...
И будет ли конец!
Он не предвиден вскоре...
Ответчик и истец
в каком-то мутном споре.
Хоть и неровен слог,
в нем сила есть, заметьте!
Занудный диалог
с рождения до смерти.
Я, о делах печась,
жил суетно, однако...
И голос тот подчас
слабел в глубинах
мрака.
Я слышал в те года
внутри, как слабый зуммер
пищал,
и знал тогда:
нет, я еще не умер!

☆☆☆

Потому что давно
потеряли начала
концы,
потому что не в силах
золу отделить от горошин,
винограда незрелого
съели когда-то отцы,
а, глядишь, от оскомины
рот у детей перекошен.
Так кончается век!..
Вновь соблазн стать собою самим,
повернуть выключатель,
спустить запыленную штору,
никому не известный,
забывший наш мир аноним,
в беспросветной вселенной
найти, наконец-то, опору.
И совсем ни к чему
этот черный клубящийся плащ,
эта шпага,
ботфорты высокие эти,
мысль, что все преходяще,
и сам-то ведь я преходящ,
и чего там искать
на мгновенном,
приснившемся свете!..
Но нужна ж ведь опора!..
Как тянет туда, в глубину,
как пуста безответная пропасть под нами!..
И перо я возьму,
и на миг я себя обману,
и пройду по пучине
неуспешно
сухими стопами.

Ошибка

Ошиблась мудрая природа
и динозавров родила,
от небольшого поворота
чудовищ
поглотила мгла...
Я жил...
Под Борском синевата
весна в предместье городском...
И голос внутренний когда-то
«Вот эта!..»
мне шепнул
тайком.
Развлеклись фантазмы эти
про ту,
что ждал я не дыша...
Все ошибается на свете,
ошиблась, значит,
и душа.

☆☆☆

Ну так что ж, больница так больница,
от уборной тянет остротца.
Дней невероятных вереница,
и как будто нет у ней конца.
Тут о смерти размышлять негоже,
ну а коль кого-то повезут,
простыней укрытого, по коже
пробегает непонятный зуд.
Вечно, словно в тягостном полете,
на десятом этом этаже!..
Почему-то от мучений плоти
делается муторно в душе!
Вот дожить бы в постоянной спячке,—
этакая, право, благодать!..
Человек прикован, словно к тачке,
к телу, обреченному страдать.

Меломаны

Уйдя в счастливые туманы,
верша свой
беспристрастный суд,
сидят худые меломаны

и что-то важное жуют.

Лежит на ручке кресла локоть...
Им целый вечер суждено
губами беспристрастно чмокать,
как будто пробовать вино.
Им этот композитор внове...
Решают: что! Хорал! Фокстрот!
Они то вскидывают брови,
а то кривят брезгливо рот.
Подход у них сугубо личный:
мелодия, что им дана,
то вдруг покажется циничной!
То вроде нравственна она!
До сладости тут каждый лаком!
И, уплывая от земли,

бой бесконечный света с мраком
в ней, наконец, они нашли...
Что это вправду б означало!
Но музыка прет напролом!
Да, это ж доброе начало
победно борется со злом!..
За нос они нас часто водят.
Всяк мыслить-то из них ленив!..
Довольные,
они уходят,
враз бесконечность объяснив.



ЮРИЙ
РЯШЕНЦЕВ

В освобожденном Новгороде, 1944 год

Свечка затеплена, льдинка расколота —
вся пиротехника вольного города
тускло ликует во тьме.
Белая в черном, как будто бессонница,
стынет под звездами тихая звонница.—
Что у нее на уме!

Купим втридорога хлеба у шкурника.
Встретим усмешкой усмешку ушкунника.
Тихо! Тевтонам ханз!
Вечная прорубь им, вечная Ладога!
Было бы лето — была бы и радуга...
Что ты бормочешь, война!..

Полно! Могилы оббили поклонами,
мертвых забыли считать батальонами —
всякая смерть — на виду.
Чем вы повязаны, воля сиротская,
русское слово да ночь новгородская,—
черные ставни во льду!..

☆☆☆

Сколько было умных глаз и верных рук!
Но проводит сокращение судьба.
Что ты смотришь на меня, последний друг,
из толпы знакомцев, имя им — гурьба.
Иль не помнил я, что будем мы вдвоем!
Или, сильного ища, клонился ниц!
Иль хоть раз забыл о празднестве твоём
ради ветрениц, их пестрых верениц!
Но хоть беды наши розно не живут,
приходя когда не вместе, то подряд,
я хотел бы слышать праведный твой суд,
и я снова вижу преданный твой взгляд.
Так и надо. Эта вольная черта
неизбывна в древнем дружестве двоих.
С новой дружбой не выходит ни черта,
ибо нету в ней прощений роковых.
Что же стоит тирания прямоты,
у которой нет таланта и прощать,
как прощали мы друг другу: я и ты —
без зазрения...

Пахомов помирал от легких —
была и бедность и война.
Кончина — что там! — не из легких,
к тому же странности полна.

Под пестрым лоскутом на вате
лежал он. И в последний час
сказал: — Дай мяч из-под кровати!
Кому забить в последний раз!..

Пахомов был дворовый форвард.
В нем были артистизм и злость.
И что ни день, в проемы форток
«Держи Пахомыча!» несло.

Пахомову шестнадцать было.
Слесарил в сборочном цеху.
И, кроме легких, почка ныла.
И грыжу он имел в паху.

Не знаю, право, почему он
не задыхался от рывков.
Какой такой за ним был Муром!
Но если бил, то — был таков.

Он жил в Олсуфьевском, в подвале.
Сюда, пытая, спускался врач,
но мяч Пахомову мы дали —
военный безобразный мяч.

О нем ли думать, умирая!!
Хоть нам казалось, коль не врем,
что он не исключал и рая,
с его небыстрым вратарем.

Кто скажет, в чем оно, величие!
Но это все — слова, сироп...
Его сестренки тело птичье
так после падало на гроб.



Олсуфьевский, Несвижский, Оболенский...
Гляди, слепец, и не лелей надежд,
что на стезе всемирной и вселенской
увидишь больше из-под жирных век.
Из розового хрупкого окошка —
из одного, а сколько их вокруг! —
и плач и беспечальная гармошка.
В щенке приبلудном — вера и испуг.
Надменный вызов в юном инвалиде,
красавицу обнявшем за плечо.
И страсти — как в Мадриде, на корриде!
Хамовники — чего тебе еще!!
Космическому тайному капризу
подвластна эта поздняя весна.
И сизый ангел бродит по карнизу.
И жизнь всего одна. И мать одна.
И ничего не выразишь ни словом,
ни музыкой. И в предрассветном сне
покойный друг движением суровым
на ведро сменит дождь в угодую мне.

Блещет март благословенный
над свиданьем двух дворян.
Вот он, тот обыкновенный
желто-белый особняк.

В этом пасынке ампира
я дружил с моим врагом —
смесью старого сатира
с молодежным жожаком.

Он смущал наш дух словами,
именами, прямою.
Грекам древние славяне
возражали в речи той.

С христианами индусы
препирались в тайничках.
И вздымались бурно бусы
на красавице в очках.

Всех вокруг вовлеки в драку,
всех к исканьям обратив,
он купил себе собаку
и вступил в кооператив.

Это мэтра, как ни странно,
от исканий отвлекло.
стала ванною нирвана,
голубую как на зло.

Но один пошляк способен
в том измену увидеть.
Видно, там, где быт удобен,
духу вовсе благодать.

Потому что как иначе
объяснишь ту дребедень,
что вчера, вернувшись с дачи,
он сказал: «Вся жизнь — как день...»

И впервые так же просто,
как вещал все двадцать лет,
вдруг спросил оруженосца:
— Ел сегодня! Или нет!



Когда еще нас было трое,
в те дни окраинной мы были —
картошка под окном цвела.
И детство, нищее, сырое,
с протяжной песней об утиле,
нам свистнуло из-за угла.

Читали бабы похоронку.
Играли огольцы в пристенку.
Вставал над окнами салют.
Жизнь походила на воронку:
затягивала. Все — в новинку:
беда, восторг и неуют.

Не странно ль, что в сплошном запале,
в блажном порыве — только свистни! —
мы, с полной ветра головой,
талонов хлебных не теряли
и в очереди, как в Отчизне,
ценили юмор грозовой...



**ПЕТР
ВЕГИН**

☆☆☆

Во мне умирает прозаик,
увидевший белый свет
пронзительными глазами,
как не увидел поэт.
Паденья и взлеты эпохи,
страстей и ошибок замес,
кто дьяволы и кто боги —
увидел он без завес.
Но душу его пронзает
судьбы беспощадный стилет.
Во мне умирает прозаик.
Его отпевает поэт.

Семья

Я по ночам касаюсь твоего лица
губами моей матери, руками отца.
И радость в тебе светится и отзывается
губами твоей матери, глазами отца.
А дочка, забот не зная, смотрит цветные сны.
У нее — твои губы. С ума сойдут пацаны.
К ней кто-то, сирень ломая, однажды потянется
губами своей матери, руками отца...
Не спутать губ материнских или отцовских глаз.
Целуемся — как целуем явивших на свет нас.
Это моя мать (губы мои точь-в-точь),
отца твоего целуя, благодарит за дочь.
Да жаль, что послать невозможно
ни голубя, ни гонца
туда, где молчат губы матери
и руки отца...

Дочка

Одни хотят собаку
другие — леденца,
а эта девочка хочет отца.

Бродит вроде слабого алого цветочка:
«Дядя, скажите, я — ваша дочка!»

Бьется эхо детское сырým голубочком:
«Я ваша дочка! Я ваша дочка!»

Что же ты, молодчик,
вечный студент,
собственной дочке
отвечаешь: «Нет»!..

Романс в честь бессонницы

Бессонница моя — работница моя,
кормилица моя,
моя попилица,
с чем я не совладал в течение дня,
с твоею помощью, Бессонница, осилится.

Бессонница моя — любовница моя,
красавица моя,
моя негодница,
все модницы, от зависти горя,
за красотой твоею не угонятся.

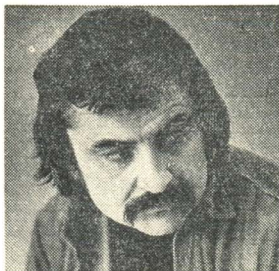
Забавница моя, потешница моя,
нам по плечу,
что не по крыльям птицам.
С тобой исколесил я все моря,
таскал тебя с собой по заграницам.

Безбожница моя, заступница моя,
Бессонница моя,
ты — бесприданница.
Всегда ты для меня безжалостный судья,
за все дневное от тебя сполна достанется.

Незримо мы обручены с тобой,
а наши кольца золотые
береза,
бывшая когда-то молодой,
незримо в кольца превращает годовые...

☆☆☆

Домик средневековый
со счастливой подковой.
Почтовый ящик лиловый —
«Цветайтису и Цветковой».
Светает. И так светло нам,
что единственным словом
могу сохранить святыню —
это твое имя.
Редукция русских гласных
смаливает соблазном
перелицовывать имя.
Но ты — святыня.
Годы стоят густые.
Соловьи крепостные.
Я не гождусь в святыне.
Но ты для меня — святыня.
В костеле пахнет латынью.
Распятие в паутине.
Ксендз считает полтину.
А ты для меня — святыня.



**АЛЕКСАНДР
ТКАЧЕНКО**

*Памяти
футбольной команды
«Пахтакор-79»*

Они играют до сих пор.
Случайность не переломила
и не ослабила шипов. Я посмотрел в упор
в глаза болельщика, и он сказал:
«Судьбу на мыло...»
Семнадцать спущенных мячей
висят на стенке в сетке крупной,
колеблет воздух тени от свечей:
вдохнули плавно, выдохнули круто!
Семнадцать опустевших форм
на бельевых веревках самолетной трассы
раскачивает ветер... «Пахтакор»
принадлежит не времени,
уже — пространству...
Они бы так и разошлись
в послефутбольные года
кто — не сбываясь вновь,
а кто — сбываясь...
а так они всерьез играют, навсегда
чему-то втайне с портретов улыбаясь.

Дворы детства

Тянули нас к себе дворы вечерние,
запретным куревом, соседей новых именами.
Отставники гоняли нас, и мы, кочевники,
места меняли сборищ, привычек не меняли.
Когда же чьи-то сытые сынки
над рванью наших «бобочек» смеялись,
нам было все равно. О, как легки
тогда обиды были — все равно мы знались.

☆☆☆

Когда решил я посмотреть поближе
на прошлых, помнящих судьбу мою,
то оказалось: многих я уже не вижу,
а многих вижу, но не узнаю.

☆☆☆

Что я могу дарить!
Цветы ночного снега,
да город на Неве, да Рим,
в котором сроду не был.

Что я могу рассматривать!
Отжившие монеты
еще живых народов,
и профилем на ассирийца смахивать...
Что я могу!
Что не смогла природа!

Осенний этюд

Она провожает глазами намокшие листопады.
Что за печали ей в душу запали,
словно песок в механизм часовой!
Так и стоит, не поведет головой.
Я проходил мимо окон намердн.
Не замечала и не заметит.
Так, только с прошлым прощаясь, стоят.
или кого-то боготворят...
Дышит на стекла, как греет кого,
и оттирает их рукавом,
смотрит на листья птичий присест
и за оконный держится крест.

Случайность

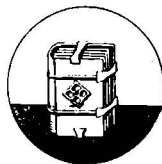
Усади меня, случайность,
рядом с нею за столом.
В самолете ли печальном
с накренившимся крылом,
усади меня, случайность,
рядом с редкой пассажиркой,
чтоб коснулись мы плечами
и мгновеньем пережитым,
все узнали о законе,
нас сводящем в этом мире,
где, как нестреноженные кони,
на все стороны четыре,
мы распушены до случая
совпадающих начал
по утрам ли по ночам...

Круги

Всегда будет юная женщина
смотреть на меня сквозь стекло,
стекло, что мне жизнью обещано
в пролете... К примеру, в метро —
одна пронесется, другая
возникнет в скользящем тумане,
пойдет за ней время кругами,
разгладится боль
и к иному поманит...
И юность другая в чертах современниц
надменность и выпуклость губ обретет,
усмешку мою на улыбку не сменит,
а только напомнит —
возврат, а не возраст грядет.

☆☆☆

Зачем, поэт,
ты все разбил на части!
Затем, чтоб свет
твой был еще несчастней!
Стихи твои не смогу
потом соединить
с колесами — дорогу,
с иголкой — нить.



НАТАН
ЗЛОТНИКОВ



БЕРЕГ ПЕСЕН

Там, в Петрозаводске, где вышла эта книга (Марат Тарасов. «Снежность», Стихотворения. Изд. «Карелия». 1982), давным-давно белой ночью по чистому безоблачному озеру, слабо стуча мотором, шла пустая рыбацкая лодка. То приближаясь, то пропадая из виду, двигалась по очень большому, непосильному для взора кругу. Может, кто-то, озорничая, толкнул ее от причальных мостков, дернув за шнурок навесного мотора. А может, ее хозяин заклинил руль, лег на дно да и смотрел, предаваясь своим думам, на невысокое почное солнце, смотрел точно так же, как, счастливый коротким одиночеством юности, я смотрел на его лодку. На завтра предстояло уезжать отсюда, где шли и прошли армейские годы. Близость жизни неведомой томил меня.

Мотор на лодке вдруг умолк, — видимо, выработался бензин; и тотчас же, словно был подан какой-то знак, запели птицы — наступило утро. Я побрел от озера прочь. Напоследок с холма еще раз обернулся: лодка, раздвигая тугую воду, продолжала идти по-прежнему, начиная новый круг своего таинственного движения. Наверное, мне лишь почудилось на миг, что мотор остановился. Просто рядом с живым звуком птичьих голосов иным звукам в душе не осталось места.

Лучшие стихи «Снежности» полны звуков живых; может быть, поэтому так остро вспомнил я край, где они родились.

Как складывается образ книги? Не так ли, — пусть не покажется это предположение чересчур прямолинейным, — как складывается образ жизни? А жизнь и поэтическая судьба Марата Тарасова связаны с Карелией. Предки его — выходцы из деревни Сенная Губа, что неподалеку от Кижей. Здесь издавна ценили песню, почитали сказителей. Рукотворное чудо Кижей, возросшее трудом и помыслом людским, высоко поднимая взоры, было в чем-то сродни народной песне. И мальчик, «...не раз у Кижской церкви став, глазами в сутемени летней взбегал по луковцам глав, чтоб духом воспарить с последней!» Именно духом. Думая о благотворном бесстрашии детского любопытства, будем помнить, что все, исполненное совершенства, — живо.

Книга свидетельствует о жизни, в которой много исканий и кропотливого труда, о жизни, выработав-

шей сложный и цельный характер, привычку о прекрасном говорить будничными словами. Сдержанность эта — от сокровенности чувства, от умения понимать мир умной природы, где «...зверь не идет на приманку, и щука обходит живца». Не случайно, изображая флору и фауну, художник берет краски с одной палитры: «Но знаю я ласковость рыси и чувствую, веки прикрыв, рассчитанность в каждом капризе и в каждой причуде порыв...» Чувство родины возрастает с умения ощутить неповторимость той самой заветной стороны, которая пусть «может, на вид и сурова», но «в сердце навек» запала.

Поэт в силах властно овладеть вниманием читателя, в немногих словах — уже не красками, а суровыми и скупыми средствами графики — показав место действия и настроение, предшествующее тому, что должно произойти по ходу движения стиха: «Вот колокол сонно прозвучал на барже, над черной гойдой, а сторож пылающий факел по саду пронес ед собой». Глубокая ясность и чистота, изобразительная энергия и то осторожное и вместе с тем уверенное владение словом, которое и формирует культуру стихотворной речи, всегда отличали работу мастера.

Дорог неповторимый мир нашей жизни. «Сколько звуков накоплено этой далью ночной...» А сколько накоплено памятью человека? Ведь то, что западет в душу, не растворится, не канет бесследно в бездне времени, но сбережется. И птичьей речи, и плеск идущих рыб, оклик филина, всхлипы волны — все сбережет память, все отыщет спасение «во глуби сердца» как нечто сокровенное. Поэзия не разоблачает тайнств природы — она сама наделена тайной. Непосвященным ее поступки поэты кажутся едва ли не прихотью. Обыватель в толк не может взять, чему она служит. Но поэзия служит добру, в этом ее суть. Это чаще всего логично.

Природа Карелии запечатлена еще в «Калевале». Художник вынужден учитывать исторический возраст изображаемого, преодолевая канон, идти на риск. М. Тарасов — один из тех, кто перевел бессмертные руны «Калевалы». Труд этот, который не мог не потребовать от сердца большой силы и страстного вдохновения, подтвердил единственность жизненного выбора. Писательское слово издавна стремится стать вровень с народным. И если такое удается, то слово обретает звучание если не вечной, то долгой жизни, оно, как говорится, «на слуху». Ведь стоит поднять взор над страницей эпоса, как возникает ощущение, что это услышано, а не прочтено. Достоверность обеспечивается внутренним знанием того, что стоит за словом. Неточно употребленное слово перестает быть честным.

В книгу включены переводы из стихов карельских поэтов, что делает ее своеобразной маленькой антологией. Вполне привычный этот факт, свидетельствующий о дружбе и взаимообогащении национальных культур в нашем Отечестве, в канун славного 60-летия СССР обретает особое звучание.

Заключает книгу проникновенное дружеское слово Роберта Рождественского.

Живущий истари в народе дар терпеливо верить слову и моральный долг пишущего перед читающим связаны близким родством, без которого невозможно достичь высокого берега поэзии. «Певуны помор-

ского края, когда свои песни прядут, мелодии нить обрывая, дыхания чаще берут...» Песня «сквозь зыблы пурги одичалой» неотступно двигалась к этому берегу. Миг, когда прерывается песня, означает, что преодолевается ею особенно трудный участок трудной дороги. Вот почему нередко, когда «...пресекаясь, мелодия гаснет на миг», чуткое ухо способно различить «в безмолвии пауз... больше, чем в звуках самих». Дорог этот берег, ибо опасен к нему путь. Кто достигнет этого берега, никогда не скажет о нем «мой», а скажет «наш»: человек, разделивший с песней судьбу, не выделяется из народа, но растворяется в нем. «И, ставший пристанищем песен, где якоря бросить легко, наш берег высок и отвесен, и слышно с него далеко».

АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ



ЗВЕЗДОПАД НАД САДОМ

Открывая книгу стихов, не ищите тотчас себя в лирическом герое, потерпите, дайте поэту фору, — пусть сначала покажет свой характер, обворожит вас своей художественной силой. Героиня первой книги стихов Лидии Григорьевой «Майский сад» («Современник», 1981) строптива и своенравна, диалог с ней налаживается не просто, это и хорошо: уравновешенность, верно, не привлекала бы нас к поэзии. Мир, в котором развивается характер лирического героя поэтессы, достаточно строг, от нас требуется сосредоточенность и внимание, чтобы включиться в образные ряды стихотворений. Вот мы смотрим на картинку городского скверика, где сидит «дивный старичок в больших очках, весь розовый, как бледная помада... а дети, как карандаши цветные в коробке сквера, серой и простой, их радости — невинные, земные, и лица их сияют красотой». Не просто смотрим, а уже видим, созерцаем... У Григорьевой разговорная речь легко сочетается с метафорой. Это черточка ее стиля: обыденность не противоречит воображению. И это взгляд художника, сознающего, что он видит не так, как другие. Заодно мы получаем первый ключ к характеру героини, — на всем протяжении книги она представляется нам как художник в широком смысле этого слова, артист по профессии. И количественно в сборнике преобладают стихи, создающие портреты людей, всю жизнь занимающихся художественным трудом. «Москва 41-го года», «Мастер», «Поэт и муза», «Клиш. Дом Чайковского», «Модильяни» и другие, где та же тема не обязательно прочитывается с ходу. Это размышления над драматическими ситуациями жизни и писатель-

ской практики, ведь каждый человек получает опыт прежде всего из своей повседневной сферы:

Готовлюсь к лекции о Блоке,
волнуясь, мрачно веселясь,
с натугой подвожу итоги,
с былым налаживаю связь.
С остервенением книгоочей
пытаюсь вникнуть и постичь,
чтобы нести потом, бледнея,
и несурязицу и дичь.

Это восьмистишие иронично. Да, героиня сборника отнюдь не сентиментальна. Для этого у нее слишком ясное представление о действительности и слишком увлекательное, концентрированное воображение, которому она тоже знает цену. Поэтому и мучается эта интеллектуалка в попытках «связать тиранию сознания с инстинктом в единую нить». Нет у нее никакого умиления перед романтически окрашенной случайностью пастернаковского типа: «и чем случайней, тем вернее». Напротив, чудо, открывающее мир и человека, спрятано где-то между причинами и следствиями явлений, жестко обусловлено жизненными обстоятельствами — «ведь так соблазнительно знать, что все разрешение вопроса: трактаты писать, как Спиноза, но стекла уметь шлифовать». Пожалуй, самые сильные стихи в сборнике те, где объявлен вызов обыденности, но никогда не полный разрыв с ней. Я имею в виду стихи, построенные на чистой фантазии. Фантастические картины написаны с такой естественной интонацией, что мы, читатели, чувствуем себя детьми, застрахованными от ошибок и играющими в очень важную игру. С такой детской серьезностью и правотой разворачивается миниатюра «Белый конь»:

Бедный конь — такой высокий!
По обочине дороги
да по кромке ледяной
шел окутан зимним паром,
шел с усердием немалым —
белый конь — как слюдяной!

Зимний сумрак вполнакала...
От недалекого канала
надвигалась ночь тьма.
Шел с поклажей несусветной
дивный конь — высокий, бледный.
Бедный! Белый, как зима.

Это конь сказочный, он и судьба человеческая и сам по себе существует.

Стихам Григорьевой присущи полногласие, пластичность. Пространство, которое мы представляем, когда читаем книгу, густо заполнено фигурами, сочными цветовыми пятнами. Эпитеты плавно кружатся вокруг названного предмета, долго не выпускают его из виду. «...Чертог бутона — розовый, могучий и гулкий», — всегда определенней несколько. Орнаментальное зрительного ряда точно передает и роскошь грузинской природы, и мягкую насыщенность украинских пейзажей, специфику юга, — с ним связывало детство поэтессы.

Время у Григорьевой всегда чуть замедленно, ей нужно перечислить все качества, ничего не пропустить, подумать, не чреват ли пустяк событием, и если нет — отнестись к мелочам насмешливо... Незначительное в жизни требует от нас подчас больше мужества, чем глобальное. Надо не забывать, что женское восприятие драматизировано изначально: роль возлюбленной, роль матери, и — уже без всяких ролей — очная ставка с зеркалом, — это только минимум проявлений драматизма.

В книге много сказано о любви, о детстве, о материнстве...

Когда Мария родила меня,
кричали петухи в саду вишневом,
клубилась многоликая родня,
власть гомоня о человеке новом.
Подумать: я им всем была нужна!
Был звездопад. И ночь была нежна.

(«Хутор Лысый»)

ЛЕОНИД
ЖУХОВИЦКИЙ

ПРАВО НА ВОСПОМИНАНИЯ



Каждый ли имеет право на воспоминания? Этот вопрос я невольно задал себе, прочитав первые страницы книжки латышской писательницы Ингриды Соколовой «Биография моего поколения» (изд. «Молодая гвардия», 1981 г.), ее спокойное начало.

Вот девочка живет с родителями в одном из латышских лесничеств. Вот поступила в гимназию. Подруги, приятели, первые танцевальные вечера. События: укусила собака, перенесла тяжелый аппендицит, сделала первую взрослую прическу, познакомилась с высоким и красивым студентом техникума. И, пожалуй, самое феерическое воспоминание юности: скоропалительное замужество школьной подружки, самой бедной девочки в классе, золотоволосой красавицы Херты, которую «прекрасно одетый господин» после нескольких дней знакомства увез в далекую и богатую Америку. Сказка о Золушке в ее провинциальном варианте...

Детство как детство, юность как юность. Автору приятно вспомнить. Но так ли интересен читателю этот ровный ряд отнюдь не выдающихся событий?

Но вот перевернута еще страница книжки — и судьба рядовой латышской девочки срывается с места и начинает выделять такое, что дай бог неопытной наезднице хотя бы удержаться в седле...

На следующей странице — война...

Только теперь становится понятным умный замысел автора. Нет, не зря юная героиня воспоминаний буднично, даже бледно входит в книжку, в свою удивительную судьбу. Ведь и в жизни сплошь и рядом было именно так. Война не драматург и не режиссер — она не отбирала своих главных и второстепенных героев, не разучивала с ними роли и мизансцены: без всяких репетиций вытолкнула она их на жестокие подмостки. Каждый из участников реальной трагедии не только сам выбирал поступок и реплику, но и отвечал за них своей честью, своей жизнью.

То, что автор и героиня «Биографии одного поколения» сохранила жизнь, — чистая случайность. То, что не уронила честь, — глубокая закономерность.

Ингрида Соколова ведет повествование просто, без

каких бы то ни было литературных ухищрений. Яркость изображаемого такова, что яркость манеры казалась бы явным излишеством — румянец не румянит, золото не золотят. В книге нет, пожалуй, ни одной «возвышенной» фразы. Зато есть другое: о трудных, рискованных, даже страшных эпизодах собственной жизни автор вспоминает с юмором и вообще не упускает случая посмеяться над собой. Говорят, это черта настоящих мужчин. Очень может быть. Но ведь и женщинам война, увы, скидок не делала...

Книжка написана хотя и мужественной, но определенно женской рукой: подробно, точно и охотно изображаемый быт создает ощущение полной достоверности. Есть у книжки еще одна особенность: среди ее героев встречаешь много знакомых, а то и знаменитых, а то и любимых имен. С удивительными людьми сталкивала жизнь Ингриду Соколову!

Чтобы не вдаваться в перечисления, упомяну лишь литераторов (далеко не всех).

Молоденькая переводчица не сразу попала на фронт — не брали. В конце концов повезло — помогла женщина-полковник. Имя ее и фамилия латышской девушке ничего не говорили. А теперь это имя прочно вошло в историю литературы — Ванда Василевская. В случайной столовой случайного городка познакомилась с Максимом Танком и Пименом Панченко. Позже, на Калининском фронте, встретилась с их земляками: Кондратом Крапивой, Петрусем Бровкой...

И уж совсем удивительный случай произошел в другой, московской, столовой, где героиню воспоминаний, в вокзальной толчее потерявшую вещмешок с продуктами на неделю, наотрез отказались кормить. «А в столовой царил прямо-таки фантастический запах, и мне стало трудно даже слюну проглотить. Скатилась слеза, одна, другая...

— Кто обидел?

Из зала вышли и остановились возле нас двое смуглых мужчин. Старший, с гладкой серебряной шевелюрой и яркими полосками бровей, небольшого роста и какой-то хрупкий, младший — жгучий брюнет, высокий, статный.

— Что случилось, Алексей Николаевич? — почти-точно осведомился старший, говоривший с сильным акцентом, у полного дяденьки с трубкой. — Да перестань же, дочка, плакать!

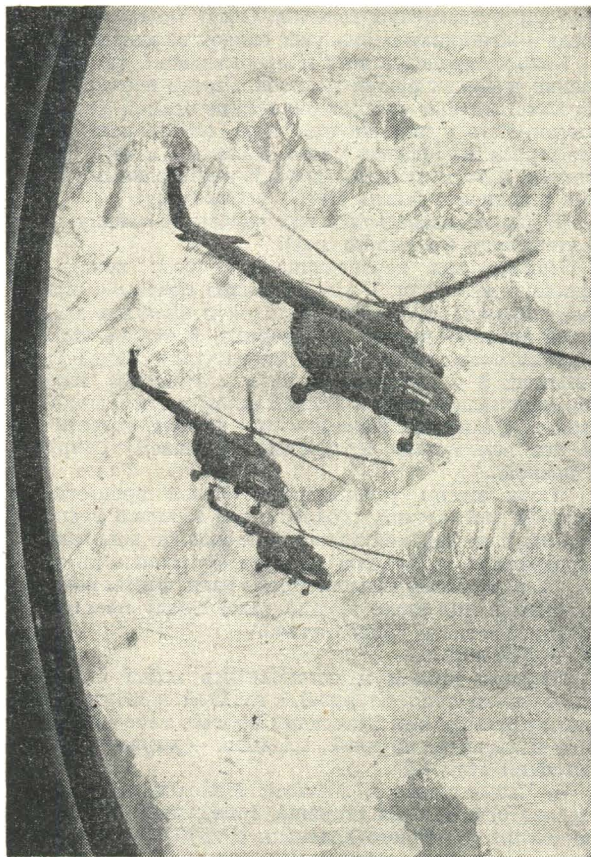
Могу себе представить, как глупо я выглядела перед такими великими людьми, как Алексей Толстой и Альбукасим Лахути: офицер с нашивкой за тяжелое ранение, и вдруг размазня слезливая...

А день спустя девушка, опять-таки случайно, познакомилась с тремя известными немецкими писателями-антифашистами: Эрихом Вайнертом, Иоганнесом Бехером и Вилли Бределем.

Не слишком ли много случайностей на одну человеческую судьбу? Ведь не специально же жизнь ставляла выдающихся людей на пути девушки в армейской шинели? Нет, специально не расставляла. Просто крупные люди выбирают в бурю места поветреннее. А героиня воспоминаний в войну от ветра тоже не пряталась. Вернейшее тому доказательство — страницы книги, посвященные санитарному поезду и госпиталю, где в одной палате лежало четыре офицера: однорукий врач Лида, одноногий танкист Галина, безногий летчик Людмила и разведчица Ингрида с тяжелым параличом...

Вероятно, каждый способный литератор может написать рассказ, повесть или даже роман. А вот воспоминания — далеко не каждый. Ибо право на воспоминания дает только по-настоящему прожитая жизнь.

У Ингриды Соколовой — такая жизнь.



ВИКТОР ВЕРСТАКОВ

БЕЗ ОТМЕТКИ НА КАЛЕНДАРЕ

*Из афганских записок
военного корреспондента*

3. В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Большее всех мы, пожалуй, налетали с вертолетчиком капитаном Валентином Швыдким. Правда, сюда включая и совместное путешествие из Союза в Афганистан на транспортном реактивном самолете, когда мы оба были пассажирами.

Второй раз встретил капитана Швыдкого дней через пять, уже в Афганистане. Надо было спешно лететь на северо-восток, а юркие, непоседливые, как обычно, «ми-восьмые» успели рано утром уйти на юг. К обеду на вертолетной площадке, покрытой громохочущими железными секциями, сутулились лишь два огромных «ми-шестых», бессильно опустивших длинные лопасти ниже кабин. Не верилось почему-то, что эти огрузневшие махины, похожие на подвыпивших запорожских казаков с замоченными и обвисшими усами, оторвутся когда-нибудь от земли. Но командир местных вертолетчиков майор Валерий Беличенко без лишних слов черкнул на страничке моего блокнота их бортовые номера, лихо расписался после слова «разрешаю» и посоветовал не медлить с посадкой.

Грузовой салон «ми-шестого» размерами и акустикой напоминает заброшенное здание. Высоко над головой сходятся стропила-шпангоуты, сквозь распахнутые грузовые створки задувает ветер. В «здании», однако, пахивало бензином: посреди салона стояли железные бочки. Дверь скрывала кабину пилотов, в которой, кроме двух летчиков, помещались еще радист, борттехник и впереди внизу, в стеклянном закутке, — штурман, тот самый Валя Швыдкий.

Командир экипажа — черноволосый, худощавый, очень спокойный майор Виктор Красиёв неторопливо оглядел приборы, надел и расправил черные швейцарские перчатки, задумался о чем-то своем, потом спросил:

— Сколько у нас топлива?.. Чего же тогда ждем?

Мне дали шлемофон и ларинги, слышу в наушниках переговоры Красиёва с ведомым вертолетом и руководителем полетов:

— «Ромашка»... запуск группы.

Очень медленно пошли лопасти, на третьем обороте начали подрагивать и приподниматься, через несколько секунд вместо лопастей замелькали только их тени.

— Контрольная!

Вертолет оторвался от земли, повисел на малой высоте, снова опустился, рванулся вперед по железным секциям. Потом кабина как бы нырнула вниз — это был взлет, уже не контрольный, а настоящий.

— В сторовочку отойди, — попросил Красиёв ведомого.

— Добре. Отошел, — согласился ведомый.

Сажу на табуретке между командиром и прзым летчиком — молодым вasmешливым красавцем лейтенантом Игорем Степновым. («Ты, конечно, Игорек, лучший правый летчик во всех ВВС, но не забывай, что сделал тебя таким твой родной коман-

дир», — говорил Красиёв Степнову, когда я переписывал в блокнот состав экипажа.)

Швыдкий сразу уткнулся в карту, сплошь коричневую. Высовываясь из своего стеклянного закутка, он оказывался на уровне педалей управления, рядом с ботинками летчиков, просунутыми под резиновые ремешки. Красиёв в полете отбросил солидную медлительность — то повернется к радисту, то запросит бортмеханика из грузового салона, потом, отстегнув ларинги, прокричал что-то вниз, Швыдкому. Валентин в ответ заулыбался, стукнул себя кулаком в грудь.

После посадки спросил Валентина: что кричал ему командир?

— Что он маршрут и без карты назубок знает, нечего мне, мол, время терять. «Разберись, кричит, лучше со своими бумагами». Я ведь секретарь партийной организации, бумаг действительно много скопилось.

— ...Все перевозим да перевозим, а к нам никто не заглянет, никто про нас не найдет.

Грустную эту жалобу высказал при прощании другой мой небесный знакомый — капитан Анатолий Мозговой, командир экипажа транспортного самолета «Ав-26». С ним волею случая перелетали дважды и тоже разговаривали лишь наспех — под крылом.

Экипаж Мозгового за три последних месяца сделал не один десяток вылетов. А это много и небезопасно, ведь аэродромы Афганистана не слишком хорошие, над горами трудно лететь — велика турбулентность воздуха, в долинах трудно садиться: долины маленькие, на посадку надо заходить очень круто, а еще ветер «афганец» задувает или вертолеты напылят. Бывают и другие сложности...

Два эпизода из нашего короткого знакомства с Анатолием запомнились особо. Первый — скорее картинка, чем эпизод: зашел при взлете в кабину летчиков, удивился расположению сидений — высоким подвзвита над узким проходом, удивился непривычным штурвалам — черные, похожие на рога; «труба», на которую они насажены, уходит не вниз, как обычно, а вперед, словно желая кратчайшим путем выдвинуться из самолета; у пилотов на головах — огромные левые наушники и плоские правые; из-за всего этого не узнал на командирском сиденье Мозгового. Оказываясь, Анатолий в этом полете работал на месте правого летчика — сдавал экзамен командиру отряда на право летать пилотом-инструктором; еще запомнилось, что при взлете Анатолий потянул на себя штурвал и вытащил стальную отшлифованную трубу чуть ли не на полметра.

Второй эпизод произошел немного раньше — при загрузке самолета. Перевозили тогда ящики и несколько бойцов — строго по списку. Анатолий самолетом контролировал погрузку, слыл документы со списком, затем свернул его трубочкой, расставил руки шлагбаумом:

— Кого могу и имею право, всех посадил. Загружены под завязку. Придется, товарищи, подождать, скоро еще борт придет.

К Мозговому протиснулся пожилой прапорщик:

— Сынок, меня брать не надо, возьми, пожалуйста, моего бойца, ему скоренько в часть надо.

— Не могу, отец. Говорю, перегружены, да и в списке его нет.

— Возьми, командир. Каково ему на аэродроме высиживать...

— Ладно, только ты, отец, тогда тоже с нами летай. Знаю вашу пехоту: напугают, встретят забудут... Все, ни одного человека больше, ни единого!..

В афганском, высокого ранга штабе упоминали при мне о полковнике-летчике, с которым была связана какая-то необычная история. Но предупредили: об этом человеке и об этой истории надо писать очень осторожно. Ему по служебному рангу летать не положено, да и возраст уже не тот. Кроме того, голое изложение фактов может создать впечатление, будто техника у нас на доисторическом уровне, а дело в другом — так уж сложилась конкретная ситуация...

Интересуюсь: что же все-таки совершил этот высокопредставительный летчик. Помышлись, мне отвечают: «Мост мешками взорвал...»

Дальше уже сработало и журналистское везение. Узнав, что в ближайшее время полковника в штабе не будет, я все же не торопился уходить, заглянул к знакомым авиаторам — их многолюдный кабинет был как раз напротив полковничьего. Мы попили по местной традиции чайку, поговорили «за жизнь», а через полчаса на пороге вдруг выросла высоченная, по всему росту одинаково широкая фигура полковника.

— Ага, — сказал он. — Чай пьете, про штабные подвиги рассказываете.

Сказал по-русски, успев, наверно, узнать, что в штаб пришел советский журналист.

Тут требуется небольшое отступление. Меня спрашивали и спрашивают, как это удается общаться с афганцами, не зная афганского языка. Приходится объяснять, что единого языка в Афганистане не существует, есть целых три группы языков — иранская, индийская, тюркская. Правда, около четырех пятых населения говорит на двух, самых распространенных языках: на пушту — это язык чисто афганских племен, пуштунов, и на дари — литературном новоперсидском языке, который иногда еще называют «фарси». Пушту имеет около пятидесяти территориальных и письменных диалектов. Множество диалектов, говоров есть и у дари. Языковая ситуация столь запутана, что, по логике вещей, из нее просто обязан существовать какой-нибудь простой выход. Распространенный в Афганистане дари в силу ряда исторических причин очень близок к нашему таджикскому. Так что если в командировках неподалеку оказывался солдат-таджик, то языковой проблемы уже не было. Помогало и отличное знание многими афганскими офицерами, особенно летчиками, русского языка. Помню, как летчик-истребитель капитан Мухтар Голь возражал однажды на мой комплимент, что он-де отлично говорит по-русски: «Я по-русски не говорю, я по-русски шпарю!»

Полковник Б. тоже «шпарил» по-русски, не спотыкаясь даже на идиоматических оборотах — сказывалось постоянное общение с нашими авиаторами.

Должен, однако, сказать, что свое знание русского полковник поначалу использовал для словесных маневров: мало ли что с кем случается, в печати надо говорить о типичном... Неожиданно помогли хозяева кабинета, которым тоже хотелось послушать Б. Они начали меня убеждать, что историю, факт, слишком раздули. Мост и без помощи мешков упал бы — такой был слабенький мостик...

Полковник на это обиделся и, плюхнувшись в кресло, сказал:

— Ладно, записывайте. А вы, молодежь, слушайте да учитесь.

Излагаю рассказ, как он был записан в блокноте, безо всяких комментариев.

«Мы проводили операцию против душманов, дело было на северо-востоке, в горах. Там над рекой стоял длинный мост. Душманы по этому мосту ходят: ни окружить их, ни от базы отрезать. Вызывает меня генерал-лейтенант, руководитель операции. «Надо мост взорвать, а после операции восстановим. Другого выхода нет». «Есть», — отвечаю, — взорвем».

Посылаю пару вертолетов, они под обстрелом заходят, бросают по две бомбы — прицельно бомбят, рассеивание минимальное, но в полотно моста не попали. Посылаю еще четверку — та же история. Больше вертолетов нет, да и сумерки уже. Прихожу на командный пункт, генерал-лейтенант спрашивает: «Что с мостом?» «Завтра займусь, говорю, лично». Он головой качает, хмурится. Ну, не станешь же пехоте объяснять, что летчики отработали, как могли, просто дело весьма деликатное. У нашего моста единственная каменная опора посреди реки. От нее к берегам железные рельсы положены, на рельсах доски — если даже попадет бомба, то доски пробьет, и все.

Назавтра так и случилось: посылаю пару за парой, вечером доложили, что попадания есть, а толку ничуть. К генералу не пошел: без меня расскажут, что и как, стыдно лишний раз на глаза показываться.

Утром третьего дня иду к пехотинцам. «Взрывчатка есть?» «Есть, отвечают, два мешка, да зачем вам?» «А бикфордов шнур?» «И шнур есть, но вам-то зачем?» «Трех саперов дадите?» «Дадим, а для?» «Пожалуйста, говорю, лишнего не спрашивайте, я к вам еще зайду».

Генерал-лейтенант на меня уже не смотрит. «Когда мост взорвешь?» «Сегодня, отвечаю, взорву. Занимаюсь лично».

Бомбить никого не посылаю, приказываю вертолетам ждать, бегу к пехоте. Там связываем два мешка веревкой, прилаживаем бикфордов шнур, грузим все это в машину, садимся с саперами, мчим к вертолетам, перегружаемся, летим. Попутно еще прикрепляем к мешкам веревку подлиннее, вяжем на ней узлы, чтобы в руках не скользила.

Четверку вертолетов пускаю вперед, и пока они по берегам работают, подкрадываюсь вдоль русла и над мостом зависаю. Двое бойцов меня за ноги держат, я из вертолетной двери мешки выталкиваю. Вытолкнул, а веревка как заскользит! Еле удержал. Вот, пожалуйста, на пальце шрам, можете посмотреть. Но это еще полбеды: хуже, что в конце концов веревка оборвалась и мешки наши грохнулись. Упали удачно, на мост, прямо около быка, но ведь бикфордов-то мы поджечь не успели!

Летчики ситуацию поняли, кричат из кабины:

— Садимся?!

Спрашиваю лейтенанта-сапера:

— На сколько минут у тебя шнур?

— Минуты на три, может быть, на пять, не больше.

Крутулись к берегу, сели на гальку, у самой воды. Беру лейтенанта и одного бойца — второй по ближайшим кустам из автомата лупит, бежим, что есть духу, к середине моста, перекладываем мешки поудобнее, кричу лейтенанту:

— Поджигай, так твою так!

А он по карманам себя хлопает, глаза круглые: спички у того солдата, который стреляет. Плохо мы еще воспитываем наших лейтенантов, не понравился мне лейтенант этот. Командую:

— Бегом к вертолету, пришлите сюда, который со спичками, я прикрывать буду!

Строчу из автомата по противоположному берегу, там ведь тоже кусты, аллах разберет — может, и оттуда по мне стреляют: грохоту вокруг много. Одновременно пячусь к своему вертолету: годы уже не те, трудновато туда-сюда бегать. Пронесся мимо солдатик со спичками, чиркнул, обратно бежит. У вертолета я его коленом под зад, потом сам запрыгнул, развернулся, сел в двери, ноги свесил. «Взлетайте!» — кричу, а на душе кошки скребут. В чем дело, думаю? Тут вспомнил: автомат разрядить надо, контрольный спуск сделать, чтобы патрон в патроннике не остался. А я из автомата лет двадцать до этого не стрелял. В голове крутятся: «под сорок пять градусов, под сорок пять градусов...» Поднял ствол, уже палец на спусковую скобу положил, но осенило: наверху лопасти. Стрельнул вниз, оттуда галька в лицо — вжик! «Так тебе и надо, дураку старому».

Поднялись, отлетели, кружимся в стороне. Три минуты, пять минут, десять — нет никакого взрыва. Спрашиваю бойца:

— Сынок, ты точно поджег? Пальцами чувствовал, когда загорелось?

Божится: все сделал, как надо, и пальцами чувствовал.

— Если, — говорю, — через две минуты не рванет, летим к мосту, но садиться не будем: обвяжем тебя, сынок, длинной веревкой и спустим — снова подожжешь.

— Есть! — отвечает. — Сделаю, товарищ полковник.

Готов выполнить приказ, не задумывается даже. А в вертолете, ясное дело, никакой веревки уже нет — ни короткой, ни длинной. Только поговорили с бойцом — ба-бах! Обрадовались, обнимаемся, летим к мосту: стоит, проклятый, как стоял. Да что же он, заколдованный?! Снизились, сбоку, зашли — отлегло от сердца: конструкции обломались, рухнули от быка в воду, просто сверху-то кажется, что линия ровной осталась.

Прилетели, пошел я на КП. Генерал-лейтенант хмурый:

— Разве тебе летать разрешается?

— Так точно, — говорю. — При назначении на должность просил разрешения у командующего. Теоретиков у нас много, а практиков маловато. В исключительных случаях летать разрешил.

— Да-а... Так ты самолично бомбу влепил?

— Не было, — отвечаю, — никакой бомбы. — Мешками работали».

Переждав наш смех, полковник шутиливо закончил:

— Такие люди, как я, у вас только в Сибири, а у нас в Бадахшане рождаются...

4. НАЗЫВАЮТ СЕБЯ «АФГАНЦЫ»

Тяжело дни напролет ходить в мокрых сапогах, урывками спать в «уазике» или вертолете, мерзнуть в окопах сторожевого охранения, поджидать попутной машины или легкой погоды, зная, что где-то без тебя происходит самое важное и интересное. Но труднее всего: доехав, долетев, встретившись — снова прощаться. И никто не скажет, на сколько...

А сами встречи бывали порой очень коротки. Листаю блокноты: чья-то фамилия, судьба без фамилии, эпизод без обстоятельств, пейзаж без всякого эпизода, а вот совсем личное, к делу вроде бы не относящееся, но не случайно же записал именно в тот день, в ту минуту — значит, относится к делу...

...Не курить мне теперь сигареты «Ту-134». Не смогу. Летели долго, сделали несколько запланированных посадок и еще одну, незапланированную, по просьбе летевшего с нами офицера-танкиста. Здесь, в этих глухих местах, недавно прошло наше танковое подразделение. В пути один из танков вышел из строя. Буксировка тяжелой многотонной машины в горах — дело практически невозможное. Командир подразделения приказал экипажу остаться, поджидать ремонтников. Четверо молоденьких ребят в застиранных танковых комбинезонах стоят в глубоком снегу, через силу улыбаются. Забрать бы их сейчас в вертолет, добросить в родной лагерь. Но нельзя, да и сами они, конечно, не согласятся — служба. Спрашиваю, есть ли еда, курево?

— Есть, есть... Спасибо... Все нормально!

— Сигарет, конечно, маловато, — признается командир экипажа, сержант. — Но по паре штук еще осталось.

Отправляясь в этот полет, положил в бушлат две последние пачки «Ту», одну отдаю ребятам, вторую решаю сберечь: бог его знает, сколько еще мотаться, где приземлимся. Торопливо записываю в блокнот фамилии ребят из экипажа: сержант Харчев Виталий, рядовые Мухаметкалиев Оралбек, Шайкамалов Тимур, Шуминов... Имя Шуминова записать не успеваю — уже вовсю раскручиваются лопасти. Ничего о тех ребятах больше не сумел узнать, остались только фамилии в блокноте и зло на себя за то, что сигарет пожалел.

...Открываю дощатую дверь, откидываю брезентовый полог. В проходной комнатке на столе — телефоны и рация, во второй и последней — четыре кровати. Стены задрапированы белой сеткой, на тумбочке в углу стоит маленький телевизор «Юность». Майор Валерий Нестеров, посмеиваясь, рассказывает, как горячился командир полка перед Московской Олимпиадой: собрал связистов и всех разбирающихся в электронике, произнес речь о славе советского спорта, пообещал отпуск тому, кто наладит телеприем. Тогда это оказалось невозможным, но скоро телевизионной проблемы для наших людей в Афганистане не будет: на Кабул через специальный спутник уже транслируется одна из программ ЦТ, на повестке дня — расширение зоны приема. Телевизоры, работающие и неработающие, в лагерях уже припасены...

Запомнились и фотографии, развешанные по стенам. Вот подполковник Арутюн Татевосович Арутюнян стоит у газетного киоска, обняв за плечи двух сыновей, у младшего на голове отцовская форменная фуражка. Рядышком — целая фотогазета: Арутюнян сфотографировался с каждым из своих родственников, а их много.

Над кроватью майора Николая Андреевича Терещенко тоже строго семейные снимки. На одном из них — двое мальчишек в школьной форме, с букетами цветов. Наверняка сыновья. Николая Андреевича видел мельком, спросить не успел.

Нестеров повесил над койкой всего один снимок и одну картину — увеличенную копию этого снимка. А засняты его близнецы Кирилл и Димка, они же для наглядности перерисованы. Розовые, беспомощные, голые — лежат на животиках, прогнувшись, демонстрируют новое для себя умение: держать голову.

Родились Кирилл и Димка два года назад, когда их отец уже был в Афганистане. Валерий повидал сыновей однажды в отпуске, а затем получал известия об их подвигах только в письменном виде. В последнем по времени письме жена сообщала о тра-

гической судьбе пианино, к которому близнецы долго не могли подступиться, но затем нашли гвоздь, вставили его в замочек, стукнули молотком, подняли освобожденную крышку и начали лупить молотком по клавишам.

Для ощущения ночи нужна земля. Эта фраза пришла ко мне в ночном вертолете. На аэродром прибегал в последние секунды, когда, сверкая фарами, отъезжали от вертолетов машины, двигатели ревели, гудели и из открытых дверей вырывался включенный в салонах свет. После взлета свет выключили, глаза не сразу привыкли к темноте, и вдруг показалось, что так и надо: мир вокруг есть, был и всегда будет черным, ночи и дня попросту не существует. Лишь через три—пять минут, когда мы были высоко над горами, глаза начали угадывать землю — она была тяжело-серой. И я ощутил ночь.

Пока в салоне горел свет, успел записать фамилию своего соседа: старший лейтенант Юрий Татаринцов, исполняет обязанности командира десантной роты. О, это не простая рота. Когда-нибудь о ней сложат поэмы и повести, напишут песни.

Полет чрезвычайный, непредвиденный. Далеко в горах бандиты напали на объект, охраняемый нашими и афганскими солдатами, отсюда успели передать в лагерь, что положение критическое, потом связь прервалась. Командир полка поднял по сигналу личный состав...

Юрий успел при свете назвать мне фамилию своего солдата, которого очень просил упомянуть: рядовой Цолак Синдоян. Цолак однажды в горах повредил ногу, но он остался в строю до конца марша, а потом, подлечившись в госпитале, уже с документами об увольнении по состоянию здоровья в запас всеми правдами и неправдами пробрался в родную роту, продолжает служить, да как!

Пилоты дверь в свою кабину не закрыли — там, как красные угли, светились приборы: впереди, по сторонам, даже на потолке. В салоне на левой стене тоже алела россыпь циферблатов и стрелок — приборная доска бортмеханика. В ее скудном, тревожном, зыбком свечении взгляд различал, а может, только угадывал смутные контуры фигур.

Солдаты невероятно быстро уснули. В этом не было даже намека на равнодушие к судьбам друзей. Мужская солдатская дружба честна и не сентиментальна. Не переживания, не волнения, не сочувствие издалика, а только дело подтверждает солдатскую дружбу. Ну, а до дела еще с полчаса лету, почему бы эти полчаса не вздремнуть — во сне, говорят, человек растет.

Татаринцов зашел к летчикам, прокричал им, что хорошо бы обогнать переднюю пару и приземлиться раньше разведчиков, не обиделся на отказ, потому что просил малореальное, вернулся на сиденье, откинулся головой на бортовую обшивку, залала какую-то знакомую мелодию, и мне вдруг стало не по себе.

...Российский маленький городок, пыльные улицы, яблони за заборами, высокая, чуть надменная девочка, которую мы, ее одноклассники, звали то Людой, то Люсей. Все мы были влюблены в нее, а на танцы и после танцев ходили с девочками попроще. Потом был ее день рождения, который справляли у нее дома. Я был среди одноклассников самым молодым, потому что год назад расстарался и сдал экзамены за восьмой класс, перескочив из седьмого сразу в девятый. Еще я занимался спортом, пил только шампанское — очень помалу. И я выпил шампанского, сел в углу на диван, и вдруг она по-

звала меня танцевать. Магнитофон (мы называли его между собой «бормотографом») играл мелодию, которую через много лет залакал над ночными афганскими горами Татаринов: «Как это все случилось, в какие вечера?..»

После шел с ней по ночному пустому городу, который, сейчас я это понимаю, и есть Родина. Но в ту же самую ночь я горько плакал и переулками, чтобы никто не видел, возвращался к военному городку, домой. Плакал потому, что когда поцеловал ее по-настоящему в губы, она с застенчивой глупостью сказала, что целоваться 'ее научил мой приятель Мишка, симпатичный трепач, который после окончания школы пошел в медицинский.

Но какое же это было все-таки счастье — останавливаться у каждой водопроводной колонки, придавливать железную рукоятку, подставлять заплаканное лицо под холодную шумную воду. Не верю, что в зрелости человек умнее, чем в юности, я уже тогда понимал, что эти слезы — один из вечных моментов моей жизни, миг ее полноты, слияния с миром.

Вертолет летит над ночью. Здесь, наверху, тоже темно, а все же ночь там, внизу.

Татаринов уснул, а мне не спится, повторяю одно и то же: «Как это все случилось, как это все случилось...» Очень хочется заплакать, но вот этого-то я как раз уже не умею.

Далеко внизу вспыхивают и гаснут фонарики, разреженным пунктиром вычерчивают наш путь костры...

Отчего-то неловко сознаваться, но врать тоже не хочется: те немногие недели, которые провел среди наших солдат и офицеров в Афганистане, вспоминаются сегодня как самые счастливые в жизни. Возможно, это не слишком точное слово — счастливые. Надо бы сказать: насыщенные, памятные, волнующие. Нет, не надо. Счастливые.

Отлично понимаю, что испытания, выпадающие бойцам, не сравнимы с испытаниями, выпадающими на долю журналистов. И все же есть у меня еще одно счастье — причастность, пусть косвенная, к нашим воинам-интернационалистам, к «афганцам», как они себя называют.

В январе 1980 года мы разминулись с Леонидом Хабаровым всего на час-полтора. Московские слухи о нем оказались преувеличенными.

Хабарова в Афганистане знали многие: «Рыжебордый такой капитан, он на Саланге сидит...» Саланг тоже знали многие, да и как не знать этот высокогорный перевал на важнейшей дороге Кабул — Ширхан с многокилометровыми тоннелями и галереями! Его и охранял вместе с афганскими подразделениями батальон Хабарова. Снег, холод, ветер, разреженный воздух... Однажды я встретил машину, которая везла на перевал хлеб, передал Хабарову через командира взвода обеспечения прапорщика Валерия Бауэра московские приветы. Хотелось и самому на Саланг, но были какие-то неотложные дела, а потом подвернулся самолет в далекий труднодоступный район.

Когда через полгода свиделись в Москве, правая рука Хабарова была помещена в какую-то немислимую железную конструкцию. Беда случилась уже после Саланга, когда батальон выдвигался по ущелью и его обстреляли душманы. Первая пуля, попавшая в Хабарова, была разрывной, вторая — обычной, обе ударили в одну руку, раздробили кость.

Больше года провел в госпиталях Леонид, перенес

десять сложнейших операций. Ему предлагали инвалидность — отказался, предлагали спокойную штабную работу — отказался. Сейчас Хабаров — командир части, заочно учится в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Мы встречаемся, когда он приезжает в Москву на экзамены или на сборы, 'любим вспоминать, как торопился посланный им с Саланга за мной бронетранспортер, пока я, такой-сякой, смылся на самолете...

Недавно прочитал в одной из центральных газет письмо-наставление школьникам к новому учебному году, подписанное «гвардии майор В. Манюта». Так это же Володя Манюта, тоже десантник, с которым встречался в первые афганские дни и разминулся через год: он уехал сдавать экзамены в военную академию, а я приехал в его батальон, в ту долину, где навечно прощался с Гладковым... О Федоре Борисовиче Гладкове, о последних часах его героической жизни я в меру возможного уже писал в апрельском номере «Юности». Не упомянул тогда его родословную: он внук известного советского писателя Федора Гладкова, сын фронтовика, капитана I ранга в отставке Бориса Федоровича Гладкова, встретившего Великую Отечественную войну командиром торпедного катера на Черном море. У отца — восемнадцать боевых наград за мужество в борьбе с фашизмом, у сына — два ордена за мужество и в выполнении интернационального долга.

Борис Федорович разыскал меня после той первой публикации, мы долго и откровенно говорили о солдатских судьбах, о великой цене, которой достигается мир в этом непростом мире, о памяти. Священна память героев прошлого, но не должны оставаться безвестными и подвиги их сыновей.

И снова встречи, снова воспоминания...

В коридорах ГУКа — Главного управления кадров Министерства обороны — столкнулся с Женей Скобелевым. Солидный, представительный, с новой звездой на погонах. Да полно, с ним ли накручивали десятки горных километров в боевой разведывательной машине, множество раз взлетали на вертолете в тревожное афганское небо, до рассвета говорили о семьях, о друзьях, о любви?

На учениях «Запад-81» в заболоченном белорусском лесу случайно выехал к лагерю мотострелков. За офицерской палаткой, приладив на столбике зеркальце, брился мощный, красивый, голый по пояс парень. Ба, да ведь тоже «афганец»: орденноносец, старший лейтенант Виктор Ананьев, бывший замполит разведроты на севере Афганистана. Виктор отлично отработал учения, что в политотделе прославленной Рогачевской дивизии прокомментировали весьма коротко: «Так ведь «афганец»!»

За неделю до планового увольнения из армии и возвращения на Родину прислали письмо самые старшие сержанты Николай Михнов и Юра Никитин: «Обязательно приезжайте на встречу. Она будет у Михаила Кухарчика, бывшего нашего комсорга, в г. Минске, 10 июля 1982 года».

Обнимутся, вспомнят друзей, потом возьмут, наверное, гитару и споют нашу, «афганскую»:

В декабре есть еще одна дата
без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата,
на кабульском чужом дворе...



НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН

БЕЛЫЕ МАНЖЕТЫ

Подводная лодка дрейфовала в Средиземном море. С мостика приказали открыть гидроакустическую вахту, и мичман Голицын, не чуя ничего дурного, включил аппаратуру на прогрев. Через несколько минут бодро прокричал в микрофон:

— Мостик, горизонт чист! Акустик.

Динамик откликнулся голосом командира:

— Прослушать горизонт в носовом секторе!

Голицын прокрутил штурвальчик поворота антенны, но в наушниках по-прежнему стоял мерный, жвачный шум волны, заплескивающей на корпус субмарины.

— Мостик, горизонт чист! — еще раз доложил мичман.

— Акустик, прослушать горизонт по пеленгу... градусов!

Капитан 3-го ранга Абатуров хорошо владел голозом, но сейчас сквозь стальную мембрану явно прорывались нотки раздражения.

Как ни вслушивался Голицын в подводную даль, ничего, кроме шорохов, треска да монотонных стонов самцов горбыля расслышать не мог. Осенью в здешних водах Средиземного моря стоит «глухая» гидрология: как будто гидрофоны накрыли толстым ватным одеялом.

— Горизонт чист, — сообщил Дмитрий, уже не ожидая ничего хорошего.

— Мичману Голицыну, — взорвался динамик, — прибыть на мостик!

Он передал вахту старшине 1-й статьи Сердюку и пронырнул сквозь переборочный и рубочные люки на мостик.

— Товарищ командир, мич...

Абатуров прервал рапорт сердитым кивком в сторону длиннющего танкера, загрозившего полгоризонта. Танкер проходил так близко, что без бинокля можно было разглядеть и голубополосый греческий

флаг, и полуголого матроса, который катил по верхней палубе на красном велосипеде, и черноволосую гречанку, из-под руки разглядывавшую диковинный подводный корабль.

— Вот он, твой «чистый горизонт!»! — не выдержал Абатуров.

Самое обидное, что при сцене посрамления старшины команды акустиков присутствовал и боцман — старший мичман Белохатко. Боцман стоял рядом с командиром, смотрел на Голицына сверху вниз — с мостика в ограждение рубки, и обожженные солнцем губы насмешливо кривились: «Глухарь ты в белых манжетах... И за что тебя Родина северной кормит?!»

Можно не сомневаться, именно такую тираду выдаст он нынче за обедом, и вся мичманская кают-компания дружно захмыкает, заулыбается...

Отношения с боцманом начали портиться едва ли не на второй месяц автономного похода. А началось, пожалуй, с пустяка — с белых манжет... Рукава у флотского кителя — что трубы. Когда руки на столе, сразу видно, что под кителем надето. Как-то незастенчиво получается: сидят мичманы в кают-компании, сверкают звездочками на погонах, а из-под обшлагов у кого что проглядывает: то полосатый тельник, то голубая исподняя рубаша, а то рукава рыжего — аварийного — свитера высовываются... Вот и решил Голицын слегка облагородить свой внешний вид. Завел себе белые манжеты с серебряными запонками. Немудреная вещь — манжеты: обернул вокруг запястий отутюженные белые полоски, скрепил запонками, и китель сразу же приобретает эдакий староофицерский лоск, будто впрямь под суровым корабельным платьем накрахмаленная сорочка. Конечно, в лодочной тесноте белоснежное белье — роскошь немислимая, но манжеты простирать лишний раз ничего не стоит. Была бы охота.

Первым элегантною деталь в голицынской одежде приметил за обедом торпедный электрик мичман Никифоров.

— Ну ты даешь, Петрович! — радостно засмеялся электрик. — Вылитый аристократ. У тебя случаем деушка — не того?.. Не в князьях состоял? Фамилия — известно какая...

Пустячное это событие — белые манжеты — оживило каютный мирок, и пошли споры-разговоры, и только боцман Андрей Белохатко неодобрительно хмыкнул и процедил сквозь золотые зубы:

— Лодка чистеньких не любит...

— Боцман чистеньких не любит! — парировал Голицын.

С того злополучного обеда за мичманом Голицыным утвердилось прозвище — Князь.

А на другой день в отсеках развернулась субботняя приборка, и боцман выставил из-под диванного рундука ящички с гидроакустическим ЗИПом¹.

— Твое хозяйство? — спросил он Голицына. — Вот и храни в своей рубке...

Конечно же, то было несомненным зловердством. Кому неизвестно, что в рубке акустиков и без того не повернуться. На лодке каждый кубический дециметр свободного пространства в цене. И торпедисты, и мотористы, и электрики, и радисты стараются захватить в дальний поход как можно больше запча-

¹ Набор запасных частей.

стей к своим аппаратам и механизмам. А тут еще коки с макаронными коробками и консервными банками. А тут еще баталер претендует на любой уголок, на любую «шхеру», куда бы можно было засунуть лишнюю кипу «разовых» простыней, рубаш, тропических тапочек... Отсеки не резиновые. Вот и идут старшины команд на поклон к боцману, хозяину всевозможных выгородок, рундуков, камер, сухих цистерн. А у боцмана свои проблемы, свое имущество — шкиперское, рулевое, сигнальное, штурманское...

Штатная койка Голицына — в аккумуляторном отсеке, нижняя по левому борту, изголовьем к носовой переборке, за которой пост радиотелеграфистов. Проще говоря, диванчик в углу мичманской кают-компания. Под ним-то и разместил Дмитрий вместо личных вещей ящички, пеналы, сменные блоки к станциям. Теперь же боцман выставил их на том основании, что все равно-де Голицын в кают-компании не живет, перебрался в офицерский отсек поближе к гидроакустической рубке, вот и пусть хранит свое хозяйство «по месту жительства».

Мичман мичману не начальство, за рундук можно было бы и повоевать: шутка ли, отыскать теперь свободный кубометр объема? Но с Белохатко особо не поспоришь. Во-первых, по Корабельному уставу, боцман в мичманской кают-компании — старшее лицо. Недаром он восседает во главе стола — там же, где командир в кают-компании офицеров. Во-вторых, боцман — единственный из мичманов, кто несет верхнюю вахту, то есть стоит в надводном положении на мостике. Дело это сволочное и потому почетное. Даром, что ли, передние зубы вставные — в шторм приложило волной к колаку пеленгатора. Тут у Белохатко как бы моральное право поглядывать на всю мичманскую братию свысока.

В-третьих, боцман — лицо, особо приближенное к командире. Под водой в центральном посту они сидят рядышком: Абатуров в железном креслице, а в ногах у него, словно первый визирь у султанского трона, сутулится на разnojке Белохатко, сжимающая кулаками манипуляторы рулей глубины. Впрочем, сжимают их новички-горизонтальщики. Боцман лишь прикасается к черным ручкам, поигрывает ими виртуозно: чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, носовые — чуть на всплытие, кормовые — чуть на погружение. Дифференциал — «нолик в нолик». Лодка держит глубину, как по ниточке.

Голицын, сидя в своей рубке, всегда знает, кто в центральном на вахте — боцман или кто-то из молодых. Белохатко зря рулями «не машет», перекладывает их редко и с толком. Оттого и гидравлика в трубах реже шипит. Насос реже работает — шуму меньше. Плохого горизонтальщика за версту слышно: чик-чик, чик-чик...

Абатуров на боцмана не надышится: «Андрей Иванович, подвсплыви на полметра...», «Андрей Иванович, нырни еще на полста...», «Андрей Иванович, одержи, Андрей Иванович, замри».

Взяв все эти обстоятельства в толк, Голицын не стал препираться с боцманом: вызвал своих «глухарей»¹, велел рассказать ЗИП по «шхерам». Потом сходил на камбуз, попросил у коков немного картофельной муки и за ужином вызывающе выпростал из рукавов кителя ослепительно-белые, жесткие от крахмала манжеты.

Весь день, поджидая танкер-заправщик, подводная лодка нежилась под изобильным океанским солнцем. И весь день Абатуров, заведя на горизонте какое-нибудь судно, тут же требовал от Голицына определить на слух дистанцию, пеленг, курс, скорость по оборо-

там, запрашивал род двигателя: что там шумит — турбина, дизель, паровая машина?..

Было досадно сидеть в отсеке, кинуть в духоте рубки, когда другие подставляют спины роскошному солнцу, в кои-то веки такое выпадает?! Если гидроакустик ошибался, Абатуров «высвистывал» его на мостик, и мичман воочию видел свою ошибку, а заодно прихватывал взглядом веселую кутерьму возле люка в носовой надстройке. Сюда, в междубортное пространство, свободные от вахт и работ спускались поплескаться в морской зодиче.

Досаду смирять лишь мысль, что командир сейчас торчит на мостике ради него, мичмана Голицына: просто выпала редкая возможность потренировать акустику, и Абатуров не хочет ее упустить. Дмитрий знал, что многие командиры лодок сами выращивают своих акустиков, подобно тому, как хирурги готовят себе ассистентов или мотогонщики натаскивают колясочников. Акустик в торпедной атаке — первый человек, и командиры, так уж повелось издавна, гордятся чуткостью своих «глухарей» не меньше, чем директора оперных театров — голосами солистов.

Голицыну в глубине души даже льстило, что капитан 3-го ранга Абатуров выбрал именно его в «солисты», возится с ним, «ставит слух», переживает, сердится, радуется... Ради этого не жаль поработать и «в режиме Каштанки»: рубка — мостик, мостик — рубка.

Зато ночью, за час до погружения, Абатуров отдернул ситцевую занавеску, за которой готовился ко сну Голицын, и заговорщицки поманил:

— Бери полотенце и марш на мостик!

В центральном посту по знаку командира к ним присоединился инженер-механик — капитан-лейтенант Мартопляс. Весь солнечный день «мех» тоже просидел в прочном корпусе, не вылезая из дизельного отсека. Втроем они выбрались по трубе рубочной шахты на мостик, спустились на узенькую дырчатую палубу носовой оконечности и прошлепали босиком по неостывшему железу до квадратного лаза в междубортное пространство. Ночное море, распластанное в мертвом штиле, лишь изредка лениво всколыхивалось и пускало по покатоному лодочному борту чуть заметный извив волны. Абатуров первым влез в давящую «купальню» — в тесную выгородку между носовым обтекателем и броней прочного корпуса. Здесь по грудь охватила их нежная теплая вода, и трое мужчин с трудом, но все же разместились между бимсами и кницами². Тут они плескались и фыркали, приседали, окунаясь с головой, высовывали ноги в притопленный клюз³, чтобы поболтать ими над морской бездной, и, забыв про ранги, чины и годы, взвизгивали по-мальчишески.

Никогда, ни на каком пляже, ни прежде, ни после не испытывал Голицын такого блаженства, как от этого ночного купания посреди Средиземного моря.

Потом, проходя через центральный пост в компанию с командиром и механиком, Дмитрий бросил на боцмана ликующий взгляд...

Если бы старшего мичмана Белохатко спросили, что он думает о старшине команды гидроакустиков, боцман ответил бы так: «Какой с него моряк? Пианист. Пальчики тоненькие, беленькие, даром что без маникюра... Должность у него — не бей лежащего — шум моря слушать. Послушал бы он их зимой на мостике!»

Если бы мичмана Голицына спросили, какого мнения он о Белохатко, то и он бы не стал кривить душой: «Всегда представлял себе боцманов кражисты-

¹ Шутливое прозвище акустиков на лодках.

² Крепежные элементы корабельного корпуса.

³ Вырез в борту для якоря.

ми, просоленными, широкогрудыми... А наш щупленький, остроносенький, бритенький, Бухгалтер из райпо, а не боцман... В конспектах по политподготовке читаты в красные рамочки обводит. И не от руки — по линейке... Любимое занятие после «перетягивания каната» — домино. И лупит при этом по столу так, что в гидрофонах слышно: «Тетьа Дуся, я дулюся!» И такой тип имеет право на ношение морского кортика?! За флот обидно!»

За час до восхода Луны для подводной лодки начинался «период скрытого плавания». Перед погружением боцман обошел заталкиваемое пространство обтекателя рубки, запелел линем, точно паутиной, вход в надводный галюн и дверь на палубу: не дай бог сунется кто на коротких ночных всплытиях да не успеет по срочному погружению! Потом обмотал язык рынды¹ ветошью и подвязал, чтобы не звякнул в качку. Режим тишины. Строгое радиомолчание. Теперь ни одна электромагнитная волна, ни один ультразвуковой импульс не сорвется с лодочных антенн. Тишина. Немота.

Подводная лодка бесшумно скользила в глубине. Она почти парила на кудрых крыльях носовых и кормовых рулей над огромной котловиной. Едва ли не идеально круглая, эта котловина походила на гигантский амфитеатр: стенки пространной ее чаши каменными ступенями, неровными и разноширокими, спускались к плоскому овалу дна.

Там, на светлом песке, испещренном галечными узорами, лежали вповалку, вставая в грунт, резной квартердек португальского галеона, тараны двух афинских трирем, корпус австровенгерской субмарины, бушприт испанского фрегата, палубный штурмовик с авианосца «Кеннеди», котел французского пироскафа, остатки космического аппарата и две невзорвавшиеся торпеды. Все это медленно проплывало под килем подводной лодки, пересекавшей мертвый колизей с севера на юг.

Голицын, голый по пояс, стоял в тесной кабине офицерского умывальника и растирал грудь холодной забортной водой: взбадривался перед ночной вахтой. Будучи «совой», он любил это время, когда затихала дневная суета и умолкала межотсечная трансляция. В такие часы слышно даже, как под палубой рубки в аккумуляторной яме журчит в шлангах дистиллят, охлаждающий электродит.

Голицын сменил в операторском креслице старшину 1-й статьи Сердюка и надвинул на уши теплые «чашки» головных телефонов. Мощный хорал океанского эфира ударил в перепонки. Рокот органичных басов поднимался с трехкилометровой глубины, и на мрачно-торжественном его фоне бесновались сотни мыслимых и немислимых инструментов: бомбили колокола и высвистывали флейты, завывали окарины и трещали кастаньеты, ухали барабаны и кричали трубы, на все лады заливались всевозможные манки, пищалки, свистки...

Голицын слышал, как курс лодке пересекала стая дорад, рассыпая барабанные дробы, сыгранные на плавательных пузырях. Как прямо над рубкой, спасаясь от макрелей, выскакивали из воды и снова шлепались в волны кальмары, а там, в воздухе, наверняка подхватывали их и раздвигали на лету альбатросы. Несчастные головоногие, попав в такие клещи, тоже голосили, но ни человеческое ухо, ни электронная аппаратура не улавливали их стенаний. Зато по траверзному пеленгу хорошо было слышно, как свиристит дельфиниха, подзывая исчезнувшего детеныша. Ее горе завывалось в зеленое колечко на экране осцил-

лографа. Колечко металось и плясало, распяленное на кресте координат.

Где-то далеко впереди шепелявили, удаляясь, винты рыбака. Уж не он ли уносил запутавшегося в сетях дельфиненка?

— Центральный, по пеленгу... шум винтов... Предлагаю траулер. Интенсивность шума уменьшается, Акустик.

— Есть, акустик, — откликнулся Абатуров.

Шум винтов растворился в брачных песнях сциев. Косяк этих рыбищ шел одним с лодкой курсом, только ниже по глубине. Скиталец Одиссей вполне мог принять их пение за рулады сладкоголосых сирен. Но ликование жизни перебивали глухие тревожащие удары — тум-м, тум-м, тум-м... Это из распахнутой пасти косатки, словно из резонатора, разносился окрест стук огромного сердца. Большой кит шел за подводной лодкой, словно за большим и мудрым сородичем, вот уже третьи сутки. Иногда он издавал короткие посвисты, но одутловатая черная рыба с таким же косым «плавником» на спине, как и у него, не отзывалась.

Голицын вздрогнул: в низеньком проеме рубки сутулился Абатуров:

— Что слышно, Дима?

— Товарищ командир, похоже, что попали в приповерхностный звуковой канал! — радостно сообщил мичман. — Такая плотность звуков... Помните, как весной?

...Нынешней весной, еще в самом начале похода, случился вот какой казус. Едва ушли с перископной глубины, как в наушниках среди подводных шумов и потресков — Голицын ушам своим не поверил! — прорезался голос Мирей Матье:

«Танго, паризер танго!...»

Ему показалось, что он нездоров, вызвал старшину 1-й статьи Сердюка. Но и Сердюк явственно слышал:

«...Майн херц, майн танго...»

Пришел начальник радиотехнической службы лейтенант Феодориди, затем командир лодки. И они тоже обескураженно сдвигали наушники на виски — Мирей Матье! Корабельная трансляция молчала, молчали все лодочные магнитофоны: случайного соединения с гидроакустическим трактом быть не могло. Замполит даже открыл чехомодчик с проигрывателем пластинок: может, он наводит тень на плетень? Но электрофон молчал, да и пластинки такой у зама не было.

Ломали головы, выдвигали идеи одна фантастичнее другой: от электронной несовместимости приборов до сверхдлинноволнового радиомоста, который возник между Эйфелевой башней и лодочным шумопеленгатором из-за ионосферных бурь или по вине неизвестных науке эфирных аномалий.

Штурман достал карту меньшего масштаба, что-то вымерил на ней и доложил Абатурову свою версию:

— Товарищ командир, в ста десяти милях по курсу Ш-ские острова. На них расположены всемирно известные курорты. Там для аквалангистов через подводные динамики прокручивают эстрадную музыку. Чтоб веселей плавать было. В «Вокруг света» читал. Надо бы гидрологию проверить. Возможно, Мирей Матье идет по ПЗК².

Так потом и оказалось. Бывают такие слои в океане, которые не хуже кабелей распространяют звуки, даже не очень громкие, на тысячи миль. Именно в такой звуковой канал и вторглись гидрофоны подводной лодки...

¹ Судовой колокол.

² Подводный звуковой канал.

Абатуров присел рядом на разномыслие и надел пару свободных наушников. Связист по образованию, он нередко заглядывал в рубку гидроакустиков — «послушать шумы моря на сон грядущий».

Голицын охотно подвинулся, вжимаясь плечом в теплую переборку. Душманское тепло шло снизу из-под лодки от свежезаряженных и изнывающих от скопленной энергии аккумуляторов. С появлением Абатурова — широкого, жаркого — в фанерной выгородке под бортовым сводом стало еще душнее. Но Дмитрий рад был столь почетному соседству.

Они слушали океан, как слушают симфонию, забыв на время о шумах кораблей. Да здесь их и быть не могло. Где-то далеко-далеко понаставляли сонары¹ рыбаков да гудел, вгрызаясь в шельф, бур нефтяной платформы. В остальном ничто не нарушало величественную какофонию Дна Мира. Как знать, может быть, именно нынешний подводный звуковой канал связал все океаны планеты, может быть, только сегодня им удалось услышать голос всего гидрокосмоса, слитый из шума прибора на скалах и шороха водорослевых лесов, гула подводных вулканов и стеклянного звона, с каким морские попутан обкусывают кораллы, хорища рыб и грохота разламывающихся айсбергов, скрипов потопленных кораблей и воя песчаных метелей, наконец, из этих странных, может быть, вовсе никем еще не слышанных сигналов из глубин...

— Товарищ командир, через семь минут взойдет луна, — сообщил динамик голосом штурмана.

— Добро, — откликнулся Абатуров. — Не препятствовать.

Голицын мог поклясться, что услышал, как восходит Луна. Желтый бугристый шар выплыл из-за пскастого морского горизонта, и вся океанская мантия планеты встрепенулась, взволновалась, чуть вспучилась навстречу ночному светилу. С новой силой заструились по подводным желобам и каньонам токи мощных течений, с новой силой пали подводные водопады с уступов океанского ложа, и моря полились из чаши в чашу, и встали из бездны исполинские волны и прокатились по всей водяной толще, вздымая солевые отстои пучин, мешая слои тепла и холода. Повинуясь полету мертвого шара, всколыхнулась и пошла вверх планктонная кисея жизни, а за ней ринулись из глубин стаи мальков, рыбешек, рыб, рыбца, косяки кальмаров и прочей живности.

Голицын услышал, как волшебный звуковой канал «поплыл», планктонная завеса заволокала его, словно марево ясную даль. Зато появились новые звуки — тусклое гудение, будто луна и в самом деле тянула за собой шумовой шлейф...

Абатуров снял наушники и растер затекшие уши. В коридорчике отсека снова сновал народ: новая смена готовилась на вахту. Голицын почувствовал на себе взгляд. Скосил глаза и увидел Белохатко. Всего лишь секунду разглядывал боцман Голицына и Абатурова, но Дмитрий понял: боцман ревнует его к командиру.

По обычаю, заведенному на всех подводных лодках, койка старшины команды акустиков устроивается поближе к боевому посту. Голицын разместил свой тюфяк на ящиках с запчастями в узком промежутке между кабинкой офицерского умывальника и переборкой рубки гидроакустиков. Ноги лежащего мичмана выходили против двери командирской каюты. За этой простежкой деревянной задвижкой живет могущественный и загадочный для Голицына человек — командир подводной лодки, капитан 3-го ранга Абатуров. Он довольно молод и весел, и Дмитрий никак не возьмет себе в толк, как вообще можно радоваться жизни, взвалив на плечи такой груз забот и опасно-

стей, такую ответственность, такой риск... Иногда в часы злой бессонницы приходят странные мысли: вдруг покажется, что лодка так далеко западала от родных берегов, так глубоко затерялась в океанских недрах, что уже никогда не найдет пути домой, что все они так и будут теперь вечно жить в своих отсеках и выгородках и вместо солнца до конца дней будут светить им плафоны. Но тут разгонят стылую тишь тяжелые шаги в коридорчике, отъедет в сторону каютная дверь, и Голицын увидит из своей шхеры широкую спину человека, который один знает час возвращения и который всенепременно найдет дорогу домой — по звездам ли, радиомаякам, или птичьему чутью. Но найдет! И от этой радостной мысли в голицынской груди поднималась волна благодарности, почти обожания...

Если дверь каюты оставалась неприкрытой, мичман становился невольным свидетелем таинственной жизни командира. Он не видел самого Абатурова, он видел только погрудную его тень на пологие постели. Тень читала, листала страницы, писала, посасывала пустую трубку, надолго застывала, опершись на тень рук. Когда в отсеке после зарядки аккумуляторных батарей становилось жарко, тень командира обмахивалась тенью веера. Голицын знал, что этот роскошный веер из черного дерева подарил Абатурову та женщина, чьи фотографии лежат у него на столике под стеклом. Над этим столиком висит гидроакустический прибор для измерения скорости звука в воде. Абатуров по старой привычке сам определял тип гидрологии. Но однажды попросил это сделать Голицына. Вот тогда-то Дмитрий и увидел ту женщину. Сначала ему показалось, что под стеклом лежит открытка киноактрисы: миловидная брюнетка прятала красиво расширенные глаза в тени полей изящной шляпы. Но рядом лежали еще два снимка, где Абатуров в белой тужурке с погонами капитан-лейтенанта придергивал незнакомку за локоть, обтянутый ажурной перчаткой, а потом, где-то на взморье, по пояс в воде, застегивал ей ремни акваланга.

Командир не был женат, и кто эта женщина, неведомо было никому. Она никогда не встречала Абатурова на пирсе и ни разу не провожала в море.

Из всех лодочных мичманов наиболее близки к командиру корабля двое: боцман и старшина команды гидроакустиков. Если боцман на рулях глубины — мозжечок субмарины, направляющий ее подводный полет, то гидроакустик — ее слух и зрение, слитые воедино. При обычном подводном плавании на первом плане — боцман, кормчий глубины; при выходе в торпедную атаку — акустик, главный наводчик на цель. Голицын всерьез задумался об этом первенстве, когда прочитал в глазах Белохатко неприязнь, смешанную с почти детской обидой: командир-де не сидит с ним в центральном посту, не величает Андреем Ивановичем, не ведет между делом разговоры за жизнь, а просиживает в клетушке с «глухарями» лучшие вахты и вообще возится с этим безмолвным, как с дитяем, как с писаной торбой...

В этот же день подводная лодка вошла в один из тех районов, что разделяют печальную славу Бермудского треугольника. Суеверный и падакий до всяких таинственных историй, механик помянул Бермуды за вечерним чаем, и командир против обыкновения не только его не высмеял, но и предупредил всех офицеров, а затем по трансляции весь экипаж о том, что лодка входит в зону сильных вихревых течений и потому на боевых постах необходимо удвоить бдительность. Вскоре и в самом деле стало происходить необычное. Лодку затрясло, будто она съехала на булыгу. Стрелки отсечных глубиномеров, всегда тихие и плавные, вдруг задержались, запыржали. На пост

¹ Промысловые звуколокаторы.

горизонтальных рулей вне смены был вызван боцман, но и в его опытных руках субмарина с трудом держала глубину, то проваливалась метров на десять, то выскакивала, то оседала на корму, то стремительно клонилась на нос. Сквозь сталь прочного корпуса невооруженным ухом было слышно, как хлопотала за бортами вода, булькала, журчала, будто лодка попала в кипящий котел. Время от времени снаружи что-то било по легкому корпусу, и стонущие звуки этих непонятных ударов разносились по притихшим отсекам.

Как ни менял Голицын диапазоны частот, в наушниках стоял сплошной рев подводного шторма. Развертка помигала-помигала и начисто исчезла с экрана индикатора. Стоявший за спиной Голицына лейтенант Феодориди тихо чертыхнулся. Из центрального поста перебрался к ним в отсек Абатуров и возглавил консилиум. Сошлись в одном: неисправность надо искать за бортом в акустических антеннах.

Дождались темноты. Всплыли.

— Ну что, Дим Белое Ухо,— шжал Голицыну плечо командир.— Надевай турецкие шаровары и — «вперед и с песней». А Андрей Иванович тебя подстрахует. Надстройка — его хозяйство.

«Турецкие шаровары» — комбинезоны химкомплекта — Голицын и Белохатко натягивали в боевой рубке. Качка паваливала их друг на друга, на стволы перископов, но Дмитрий все же изловчился и перед тем, как всунуть руки в прорезиненные рукава, демонстративно поправил манжеты. Боцман криво усмехнулся.

Они выбрались на мостик и запынели от солончатого озона. Полная луна всплывала из океана в частокое беззвучных молний.

Как ни странно, но подводная свистопляска давала себя знать на поверхности лишь короткой хаотичной волной. Острые всплески не мешали мичманам перебежать по мокрой палубе к носу. Боцман быстро отдраил лаз в акустическую выгородку, и Голицын спустился туда, где совсем недавно нежился в ночной «купальне». Теперь здесь звучно хлюпала и плескалась холодная чернь. Шальная волна накрыла нос, и в выгородку обрушилась дюжина водопадов,— толстые струи хлестнули по обтянутой резиной спине.

Дмитрий взял у Белохатко фонарь и полез, цепляясь за сплетения бимсов, вниз, поближе к антенной решетке. Для этого пришлось окунуться по грудь, стывшая вода плотно обжала живот и ноги. Она была очень беспокойна, эта вода, и все воровила подниматься, затопить выгородку до самого верха. Вот она предательски отступила, обхватив ноги всего лишь по колено, и вдруг резким прыжком метнулась вверх, поглотила с головой, обожгла едким рассолом рот, глаза, свежесбранные щеки... И сразу подумалось, как в войну вот так же кто-то забирался в цистерны, в забортные выгородки, зная, что в случае тревоги уйдет под воду в железном саване...

— Ну, как там? — крикнул Белохатко сверху, с сухого наеста.

— Антенна вроде в порядке... Посмотрю кабельный ввод.

Голицын поднялся к боцману и посветил аккумуляторным фонарем под палубу носовой надстройки. Толстый пук кабелей, прикрытый коробчатым кожухом, уходил в теснину меж легким корпусом и стальной крышей отсека. В полуметре от штекерного ввода по недосмотру Сердюка кожух был плохо закреплен и теперь, сорванный штормом, пилой ерзал по оголившимся жилам верхнего кабеля. Голицын даже обрадовался, что причина неполадки открылась так легко и просто. Надо было лишь добраться до перелома и оторвать край кожуха.

Обдирая комбинезон о железо, Дмитрий протиснулся в подпалубную щель. Чтобы отогнуть обломок, пришлось приподнять извив трубопровода и подпереть его гаечным ключом. Просунув руки между трубой и обломком, Голицын соединял порванные жилы почти на ощупь, потому что фонарь съехал от качки в сторону и луч вперился в баллоны ВВД¹. И в ту минуту, когда Дмитрий попытался поправить свет, ключ-подпорка вылетел со звоном, и трубопровод, словно капканная защелка, придавил обе его руки. Запонка на левом запястье пребольно впиалась в кожу, а правую руку прижало так, что пальцы бесильно скрючились.

— О ч-черт! — взвыл Голицын и попробовал вырваться. Но западня держала крепко. А тут еще нос лодки вдруг резко просел, и в следующий миг в подпалубную «шхеру» ворвалась вода, затопила, сдавила, да так, что заныло в ушах, как при глубоком нырке. Дмитрий не успел набрать воздуха в грудь и теперь, с ужасом чувствуя, что вот-вот разожмет против воли зубы и втиснет в себя удушающую воду, рванулся назад, не жалея рук, но так и остался распластанным на железе.

Нос подлодки зарылся, должно быть, в высокую волну и томительно, не спеша, вынырнул наконец.

— ...Жив?!

Голицын едва расслышал сквозь залитые уши голос боцмана.

— Чего затих?!

— Порядок... Нормально... — отплеывался Дмитрий, все еще надеясь обойтись без помощи Белохатко.

— Мать честная! — ахнул боцман, выглянув из лаза. — Транспорт идет... На пересечку курса!

Острым глазом сигнальщика он выловил среди темных взгорбин несоккойного моря зелено-красные искринки ходовых огней.

— Шевелись живее! — застонал Белохатко.

Голицын яростно рванулся... От тщетного и резкого усилия свело судорогой локти.

— Не могу я, Андрей Иванович! — прохрипел акустик, даже не удивившись, что впервые в жизни назвал боцмана по имени-отчеству. — Руки зажало...

Белохатко сунулся было под настил, но самое просторное место уже занимало голицынское тело. Рядом оставался промежуток, в который бы не влезла и кошка... Боцман рванул с плеч резиновую рубашу, сбросил китель, аварийный свитер... Он сгреб с пиротавы носовых рулей пригоршню тавота, растер по голой груди жирную мазь и, выдохнув почти весь воздух, втиснул щуплое тело под стальные листы. Как он там прополз к трубопроводу, одному богу известно... Нащупав голицынские руки, смазал их остатками тавота.

— Кости-то целы?

— Кажется...

— Тогда — рви!!

И обожгло, ошпарило, будто руки выскочили не из-под трубы, а из костра.

Они переодевались в своей кают-компании. Голицын, потряхивая ободранными кистями, отстегнул и бросил в «кандеку» манжеты — красные от крови и бурые от тавота.

— Лодка чистеньких не любит! — беззлобно усмехнулся боцман.

— Жаль, нет второй пары, — не то поморщился, не то улыбнулся Голицын.

Средиземное море.

¹ Воздух высокого давления.

Отряд «Юность»
перед отправкой
на Тюменскую
землю.



Фото
Л. Шимановича.

СИБИРСКИЕ КАНИКУЛЫ

В один из последних дней июня у нас в редакции было необычайно празднично. По коридорам и кабинетам сновали мальчишки и девочки в новеньких штормовках. Звенела гитара, слышался стройный хор ребячьих голосов, звучали торжественные слова напутствия. Мы провожали на нашу подшефную стройку отряд старшеклассников «Юность» из девятой московской спецшколы. Отряд из тринадцати ребят — «чертову дюжину», как они себя сами называли.

Что поманило московских школьников в далекую Западную Сибирь? Чем собирались они заняться на стройке? Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем, как возникла идея создания необычного школьного отряда.

В одном из номеров нашего журнала ребята прочли об интернациональном шефстве, которое болгарский еженедельник «Софийские новости» и коллектив «Юности» взяли над строителями западносибирских городов и поселков. В этой многотысячной организации работали и болгарские специалисты, приехавшие в нашу страну с семьями.

Девятая московская спецшкола — коллективный член Общества болгаро-советской дружбы, среди ее учеников есть болгарские мальчики и девочки. А что если и школьникам включиться в интершефство?

Ребята побывали у нас в редакции, познакомились с проблемами и нуждами стройки, разузнали о жизни своих тюменских сверстников. И вскоре было решено: собрать для ребят с подшефной стройки книги, учебники, игры, изготовить для них учебные пособия и в дни летних каникул отвезти все это в Тюмень.

Вся школа — тысяча с лишним человек — приняла участие в сборах. А ближе к каникулам идея, так сказать, укрупнилась. Ребята решили не просто отвезти подарки, а съездить в Тюмень небольшим отрядом, чтоб основательно познакомиться с сибирской стройкой, поработать на ней. Сибиряки не возражали.

И вот отряд к отъезду готов.

Мы берем у ребят коротенькие интервью.

ЛИЛЯ НИКИТИНА, КОМАНДИР ОТРЯДА: «Будем жить под Тюменью, в поселке с названием Винзили. Здесь же, неподалеку, и место нашей работы, — уголья леспромхоза. Дело нам поручили ответственное — собирать шишки на семена, высаживать деревья и кустарники, огораживать муравейники, изготавливать и вывешивать таблички. Мы хорошо понимаем важность этого дела. Наш труд поможет сохранить природное равновесие на территории громадной стройки...».

ПАША ЛЕОНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ, ОТРЯДНЫЙ ПОЭТ (Паша, кстати, автор отрядного гимна): «Наши новые сибирские друзья обещали познакомить нас с Тобольском, Уренгоем, Ялуторовском. Надеемся побывать там. Но не только в качестве экскурсантов. У нас подготовлен цикл лекций о Москве. Каждый расскажет о тех местах нашей столицы, которые сам хорошо знает. Большая программа и у нашей агитбригады... Мы ежедневно будем выпускать «боевой листок». Попробуем снять маленький фильм о поездке, о сибирской стройке».

ЮРА РУСКОВ, УЧЕНИК ДЕВЯТОЙ ШКОЛЫ, ЧЛЕН ДИМИТРОВСКОГО КОМСОМОЛА: «В Винзилях работает много моих соотечественников. Есть там и болгарские дети. Для них — наши лекции и концерты. Кроме того, мы возьем с собой в Тюмень большой устный журнал о Болгарии. Там — страницы, посвященные Георгию Димитрову, истории Болгарии, Димитровскому комсомолу... Очень надеемся, что у нас завяжутся добрые отношения с русскими и болгарскими сибиряками, и уже будущей зимой тюменские ребята приедут к нам в Москву с ответным визитом».

Отряд получил задание и от редакции: вести подробный дневник, чтобы в ближайших номерах «Юности» наши читатели могли узнать, как жилось и работалось на сибирской земле московским школьникам.



ЕВГЕНИЙ
РОМАНЦЕВ

ДИТЯ АТОМНОГО ВЕКА

Продовольственная программа, разработанная Коммунистической партией Советского Союза и горячо принятая всем нашим народом, ставит крупные задачи и перед наукой. Член-корреспондент Академии медицинских наук Е. Ф. Романцев рассматривает, какой вклад может внести и вносит в это общенародное дело новая отрасль знания — радиобиология.

Рисунки И. Оффенгендена.

Апрельским утром 1961 года я встретился со своим товарищем — тогда молодым доктором наук, а сейчас академиком Академии медицинских наук — Рэмом Викторовичем Петровым. Нас волновала идея, которая требовала обсуждения и, как нам казалось, незамедлительного осуществления.

Мой товарищ и я — исследователи разных специальностей. Рэм Викторович — иммунолог и известный специалист по медицинской генетике, а я биохимик. Но нас объединяла тогда еще новая область естествознания — радиобиология, которая изучает закономерности действия ионизирующей радиации на все живые организмы. И не только устанавливает эти закономерности. С равным успехом фундаментальные исследования радиобиологов используются для решения самых актуальных и практически важных задач народного хозяйства и медицины.

Истинное дитя атомного века, радиобиология родилась на стыке таких наук, как физика, химия, биология, иммунология, биохимия и медицина. При своем становлении она во многом использовала достижения и методы этих устоявшихся направлений естествознания. Развивалась она под лозунгом: физика, химия, биология, медицина — для радиобиологии. Когда эта молодая наука повзрослела и сформировалась, ее дальнейшее развитие шло под другим девизом: радиобиология — для медицины, биологии, химии, физики.

Всю эту диалектическую закономерность мы и обсуждали в то утро с Р. В. Петровым. Результатом этого обсуждения, в которое включились и другие молодые ученые, было решение написать книгу «Вклад радиобиологии в развитие медико-биологических дисциплин». Во введении к этой книге говорилось, что в соответствии с общим законом вновь возникающая научная отрасль с определенного момента начинает оказывать влияние на другие дисциплины.

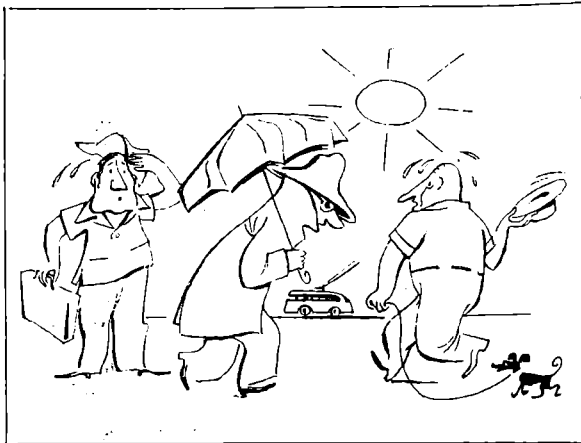
Книга была написана год спустя. Вот она лежит на моем рабочем столе. На титульном листе фамилии пяти авторов: Р. В. Петров, В. И. Корогодия, Ф. М. Лясс, А. А. Нейфах, Е. Ф. Романцев. Дата публикации — 1962 год.

Признаюсь, я с волнением читаю строки, не потерявшие актуальности донныне.

«Примерно за пятьдесят лет своего существования радиационная биология сделала огромные успехи. Вскрыты и изучены основные закономерности биологического действия излучений на биосубстраты. Исследовано стимулирующее и повреждающее действие радиации на организмы животных и растений... Широко изучаются генетические эффекты действия ионизирующих излучений и лучевая болезнь... Радиобиология содействовала и содействует мирному использованию энергии радиоактивного распада — атомной энергии».

Со времени, когда были написаны эти строки, прошло двадцать лет. И сегодня значимость вклада радиобиологии в развитие самых разных областей науки и народного хозяйства резко возросла.

Я не голословен в своих утверждениях.



Весна 1981 года. Город Киев, по-моему, особенно прекрасен в такую пору, когда белые султаны цветущих каштанов колышутся под теплыми ветрами, и по-прежнему чуден Днепр, и весь город как бы вознесся на крыльях над Днепровской долиной.

В апреле 1981 года в Киеве проводился пленум Научного совета Академии наук СССР по проблемам радиобиологии, посвященный проблеме «Роль радиобиологии в развитии современной биологии и медицины». Ученые из разных городов нашей страны подводили некоторые итоги развития биологии атомного века.

Этот пленум подтвердил роль радиобиологии — этой фундаментальной науки — для решения практических задач народного хозяйства. Так, был обсужден один из наиболее актуальных вопросов молекулярной радиобиологии — оценка значимости и процессов восстановления повреждений молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (сокращенно ДНК) для жизнедеятельности клеток. Ученые называют этот процесс восстановления термином репарация ДНК.

Теперь многие знают, что вся информация о наследственных признаках организма записана в молекуле ДНК — генетическом аппарате живой клетки. Под влиянием различных внешних воздействий в молекуле ДНК могут произойти повреждения, опасные для жизнедеятельности. Чтобы исправлять эти повреждения, в клетке существует специальный «починочный» механизм — система репарации. Если эта система репарации работает плохо, повреждается клетка и организм заболевает.

Система репарации действует с помощью ряда «инструментов». Это сложно построенные молекулы белков, которые выполняют роль ускорителей биохимических реакций. Такие белки называют ферментами. Редко, по встречаются такие врожденные заболевания человека, при которых система репарации ДНК работает с перебоями, непоследовательно. В этих случаях у людей развивается, например, тяжелое заболевание — пигментная ксеродерма. При ней наблюдается резко повышенная чувствительность кожи к солнечному свету. Загорать на пляже таким людям опасно — могут развиваться тяжелые солнечные ожоги или даже злокачественные опухоли.

При действии больших доз ионизирующей радиации на организм часть клеток обязательно погибает, а другие выживают. Возникает закономерный вопрос: почему выживают эти клетки?

И вот в последнее время была установлена ведущая роль процессов репарации поврежденной ДНК в обеспечении выживаемости клеток человека, облученного ионизирующей радиацией.

Советские и зарубежные исследователи обнаружили удивительные явления. Все организмы и даже отдельные клетки отличаются различной радиочувствительностью. Иными словами, одни из них при одной и той же дозе облучения не повреждаются, а у других при этих же условиях наблюдается ряд нарушений. Оказалось, что у радиоустойчивых клеток репарация протекает быстрее.

Могут спросить, что же из этого следует?

А дальше как в хорошо разыгранной шахматной партии — несколько удачных ходов гарантируют выигрыш. Сделаем и мы логические заключения:

1) если научиться изменять скорость репарации ДНК, можно управлять радиоустойчивостью клетки;

2) если какое-либо химическое вещество способно влиять на скорость репарации ДНК, то оно может влиять на радиоустойчивость организма;

3) если такое химическое вещество будет найдено, то, следовательно, найдено лекарство от ионизирующей радиации или, наоборот, повышающее чувствительность организма к облучению.

Так «высокая теория» протягивает руку «высокой практике». Становится теоретически оправданным поиск «таблеток от радиации» и «таблеток, усиливающих ее действие».

А для каких целей могут служить химические соединения, повышающие радиочувствительность? Вот одна из оптимальных возможностей: использование таких соединений при лечении злокачественных новообразований с помощью проникающих лучей. В экспериментах на животных такие вещества уже найдены. Их называют радиосенсибилизаторами.

Введение радиосенсибилизаторов животным до начала облучения повышает их чувствительность к действию проникающих лучей. При этом находят такие радиосенсибилизаторы, которые делают раковые клетки более чувствительными к ионизирующей радиации, чем клетки здоровых тканей.

И еще одна животрепещущая проблема, которая волнует многих радиобиологов в разных странах.

Семена растений обладают уникальными свойствами. Семена — это биологический объект, прочно хранящий всю наследственную информацию. Вместе с тем этот объект обладает удивительной пластичностью и восприимчивостью к изменению условий внешней среды. Проще говоря, из одного и того же количества семян можно вырастить очень большой и очень маленький урожай.

В самом начале нашего столетия появились первые сообщения ученых о стимулирующем действии рентгеновского излучения на развитие растений. Каких-либо теоретических представлений, объясняющих это удивительное явление, еще не существовало.

Прошел значительный промежуток времени, прежде чем ученые обнаружили еще одно замечательное свойство растений — все они обладают разной радиочувствительностью. Были обнаружены растения с высокой чувствительностью к действию ионизирующей радиации; другие обладали средней; и, наконец, были такие, которые можно назвать чемпионами по радиоустойчивости. При облучении семян растений средней радиочувствительностью доза в сто рентген не оказывала стимулирующего действия. Облучение в дозе 500 рентген приводило к резкой стимуляции

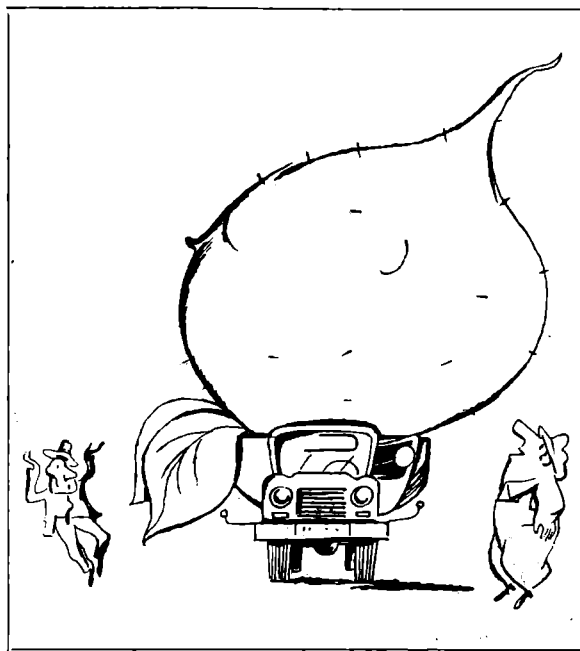
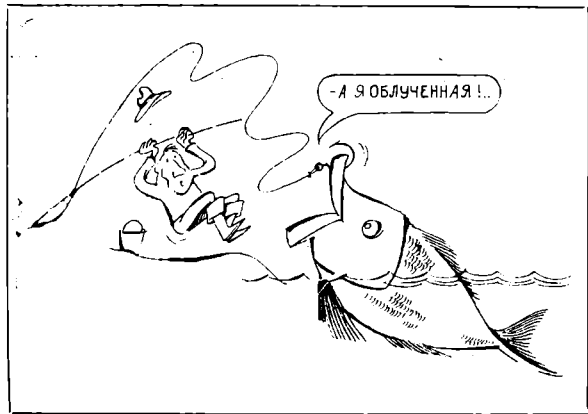
развития. Дальнейшее возрастание дозы до 10 тысяч рентген угнетало развитие растений.

Процесс стимуляции развития растений с помощью ионизирующей радиации имеет волнообразный характер. Вот как это происходит. Облученные семена прорастают быстрее, однако через 2—3 дня прорастают и семена в контрольной (необлученной) группе. В следующие 7—10 дней обнаруживается, что рост корней у растений, развивающихся из облученных семян, обгоняет на 20—30 процентов контрольную группу. Затем через некоторый промежуток времени растения контрольной группы «догоняют» по этому признаку своих облученных «коллег». Своеобразное соревнование между развитием растений из облученных и необлученных семян продолжается. Наступает время созревания плодов. И тут обнаруживается у растений из облученных семян большее количество плодов. Они созрели в более ранние сроки. Урожай, собранный с опытного поля, превышает на 10—20 процентов контрольную группу. Длительный марафон выигран облученными семенами.

Многолетние исследования, проведенные в Институте биофизики Академии наук СССР, в ряде других научных учреждений страны, в полевых условиях, в совхозах и колхозах, убедили, что предпосевное гамма-облучение семян в строго определенных дозах отчетливо повышает урожайность сельскохозяйственных растений. И для каждой культуры — свой уровень возрастания: урожайность зерновых культур и зернобобовых увеличивается на 20 процентов, овощных культур — на 30, а для картофеля становится больше на 15—20 процентов. При наших огромных массивах полей, в целом, предпосевное облучение семян может дать большую прибавку в закрома нашей Родины. И вот что удивительно — в некоторых случаях не только возрастал урожай, но после предпосевного облучения некоторых культур они становились вкуснее: сахарная свекла богаче сахаром, а морковь богаче каротином.

А что произойдет, если облучать ионизирующей радиацией не семена, а продолжающие развиваться растения? Чтобы ответить на этот вопрос, надо поместить источник излучения прямо на опытном поле или в оранжерее. Затем вести длительное наблюдение за развитием растений. Такие эксперименты были проделаны.

В шестидесятых годах после многолетних экспериментов американские ученые пришли к твердому убеждению: при длительном облучении с определенной мощностью дозы у ряда растений наблюдается четкая стимуляция развития.



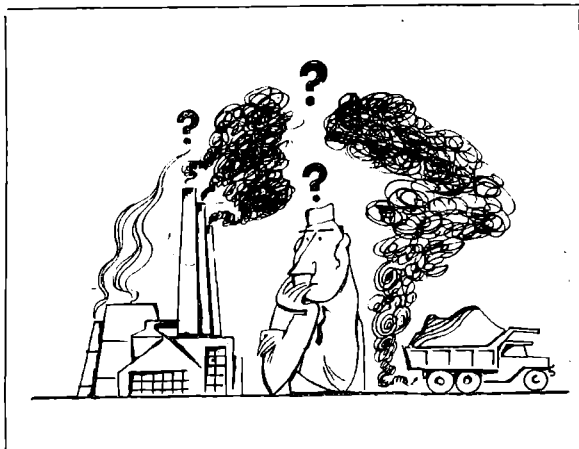
Эти данные зарубежных исследователей совпадали с ранее полученными результатами экспериментов и наблюдений, проведенных советскими учеными. Еще в 1958 году в лаборатории одного из ведущих радиобиологов нашей страны, члена-корреспондента Академии наук СССР А. М. Кузина, была выявлена удивительная закономерность: при увеличении мощности дозы ионизирующей радиации в 10—40 раз по сравнению с естественным радиационным фоном развитие и урожай кукурузы отчетливо стимулируются и увеличиваются.

Почему так происходит? Каков молекулярный механизм такого явления? Решение этой трудной задачи по плечу только фундаментальным исследованиям.

Вот как можно представить молекулярные механизмы наблюдаемых явлений.

Сухие семена находятся в стадии физиологического и биохимического покоя. Жизнь в них дремлет. Если сухие семена облучить, то после намачивания в воде они прорастают быстрее. Почему? Ученые установили: ведущую роль в начальных процессах набухания семян, поступления воды и кислорода внутрь зерна играют полупроницаемые оболочки. Эти оболочки называют мембранами. Они окружают живую клетку снаружи и пронизывают все ее содержимое. Облучение повышает проницаемость мембран зерна. Эта одна из важных причин ускоренного прорастания облученного зерна.

В последние годы установлены и другие не менее важные причины такого ускорения. В «дремлющем» сухом зерне вся наследственная информация, заключенная в ДНК, тоже находится в состоянии покоя. Биологи в таком случае говорят: вся информация, заложенная в ДНК, репрессирована. Но вот произошло облучение сухого зерна. В результате в зерне образовались химические вещества, которые «снимают тормоза» с репрессированной ДНК. Как только это произойдет, молекула ДНК начинает давать информацию о том, какие белки надо нарабатывать. Обмен клеток резко ускоряется. Облученное зерно начинает прорастать быстрее.



По-видимому, существуют какие-то общебиологические закономерности в молекулярном механизме стимулирующего облучения в строго определенных дозах. Во всяком случае, опыты, проведенные на Томинской птицефабрике, подкрепляют это предположение. Как показали ученые и практики, облучение куриных яиц, закладываемых в инкубаторе, на пять процентов увеличивает количество вылупившихся птенцов. И опять маленькое «радиационное чудо»: выросшие из таких цыплят куры обладают на 10—12 процентов более высокой яйценоскостью. Широкие возможности использования стимулирующего действия радиации в малых дозах открываются и в рыбном хозяйстве. Если облучать икру рыб, то улучшается ее оплодотворяемость, а число выживших эмбрионов и мальков отчетливо возрастает.

А если резко увеличить дозы ионизирующей радиации и в таких дозах облучать, например, зерно? В этом случае уже будет повреждаться генетический материал, заключенный в ядре клетки. Среди развивающихся форм растений будет увеличиваться число особей (их называют мутантами), отклонившихся от родительского «образца». Так вот, среди таких мутантов появляется возможность отобрать растения, обладающие какими-то преимуществами по сравнению с родителями. Иными словами, появляется возможность получить новые полезные сельскохозяйственные культуры. В Советском Союзе и за границей этот прием уже широко используется. У нас в стране таким методом выведены новые сорта пшеницы «новосибирская-67», ячменя «обский», хлопчатника, устойчивого к заболеванию вилтом, картофеля, яблони. Добавим: многочисленными исследованиями доказано, что ионизирующая радиация повышает рост растений и животных, не образуя в сельскохозяйственных продуктах никаких веществ, вредных для здоровья человека.

Таким образом, радиобиология способна внести существенный вклад как в дело охраны здоровья советских людей, так и в осуществление Продовольственной программы, разработанной Коммунистической партией Советского Союза.

Конечно, всего несколько научных проблем, о которых я рассказал только что, не исчерпывают широкого разнообразия значения радиобиологии для развития других областей естествознания. Достаточно вспомнить последний Международный конгресс по радиационным исследованиям (Токио).

Одна из центральных проблем, обсуждающихся здесь, — это сочетание воздействия на живой организм ионизирующей радиации с другими химическими веществами и физическими факторами. Совместное влияние на организм, например, ионизирующей радиации и окислов азота, загрязняющих воздух, может быть выражено значительно сильнее, чем каждого в отдельности. Более того, иногда биологическое действие одного химического соединения может резко усиливаться с помощью другого. Эти явления называют синергизмом.

Ионизирующие радиации в виде космических лучей, радиоизотопов в почве, воде, пище окружают и пронизывают нас со всех сторон. Все живые организмы всегда бывают «немножко радиоактивными». Но на живые существа одновременно действуют и другие, как говорят ученые, факторы внешней среды: химические вещества предприятий, загрязняющие воздух, промышленные сбросы, попадающие в воду, выхлопные газы полчищ автомашин, в несметном количестве наводнивших города, и многое другое. Отсюда возникают жгучие вопросы современности: существует ли синергизм в их действиях, каковы допустимые пределы загрязнения окружающей среды, возникает ли при этом риск для жизни существующих и будущих поколений людей, можно ли поставить синергизм ионизирующей радиации, физических и химических воздействий на пользу человека?

А такая возможность реально существует. Если, например, во время облучения раковой ткани всего на несколько градусов повысить ее температуру, то чувствительность опухоли к облучению резко возрастает. Синергизм действия двух физических факторов налицо.

А вот еще один пример практического использования синергизма действия ионизирующей радиации и тепла. Для сшивания ран в хирургии применяют кетгут. Он должен быть стерильным, болезнетворные бактерии, которые случайно оказались на нем, должны быть уничтожены. Совместное использование ионизирующей радиации и повышенных температур резко усиливает поражающее действие облучения. Процесс радиационно-термической стерилизации резко ускоряется, становится экономически более выгодным. Впервые в мире этот метод стерилизации кетгута внедрен в практику в нашей стране (на кетгутном заводе производственного объединения «Татхимфармпрепараты» в Казани).

Какими путями будет развиваться радиобиология в ближайшее двадцатилетие? С какими результатами подойдет эта наука к началу XXI века? Вот какие вопросы волнуют моих коллег в разных странах.

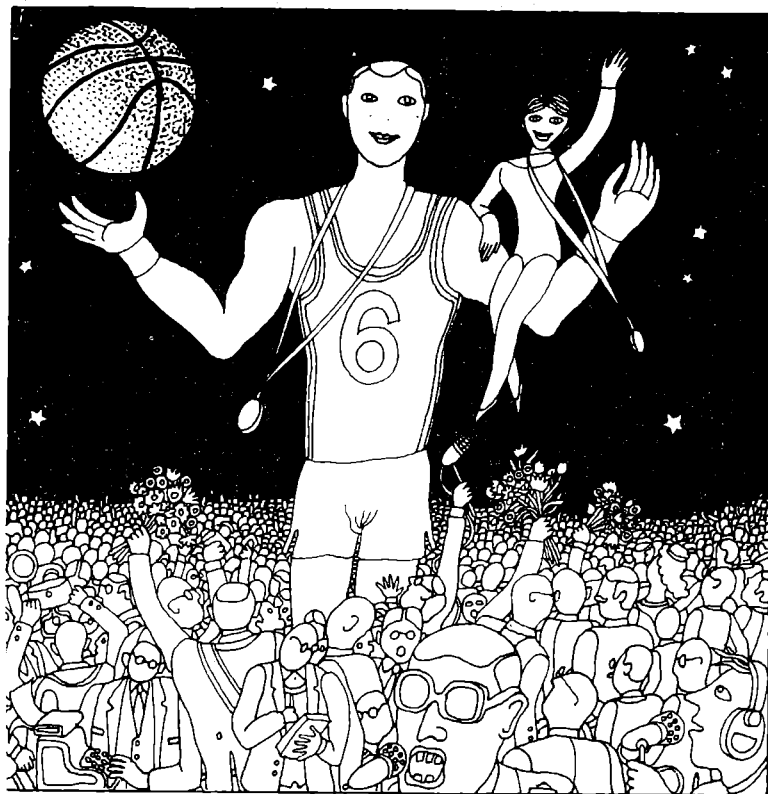
Ясно одно: эта наука бурно развивается. И вклад биологии атомного века в развитие других областей естествознания и в практическую работу, имеющую целью значительно увеличить наши продовольственные ресурсы, стремительно возрастает.



ЮРИЙ
ЗЕРЧАНИНОВ

ИГРЫ, В КОТОРЫХ ТЫ НЕ УЧАСТВУЕШЬ

Рисунок М. Белова.



Попробуем вспомнить, как это произошло, как сегодняшний спорт явил возможность самым высоким мужчинам и самым маленьким женщинам оказаться в центре внимания, в ряду героев телеэкрана. И оценим происшедшее с точки зрения человека привычного, не бросающегося в глаза роста.

Понятие нормального роста изменчиво. В 1912 году журнал «Русский спорт» писал: «В Витебске на 34-м году жизни скончался после тяжелой болезни борец-великан Махнов. По смерти американца Вильсона Махнов считался величайшим человеком в мире, благодаря своему росту в 2,36 м. Но, несмотря на мощное телосложение, Махнов постоянно прихварывал, а последнее время серьезно болел... Можно считать, что до 1,75 идет полезный рост, а дальше уже начинается болезненный вредный излишек».

Столь категоричное утверждение, надо полагать, и тогда представлялось спорным, а уж сегодня... Что же касается великана Махнова, то, живи он сегодня, не миновать бы ему баскетбольной площадки — куда бы не делся от всеведущих тренеров, которые высмотрели бы его еще в самом невинном возрасте.

Первый гигантского роста игрок появился в нашем баскетболе в конце сороковых годов. И в судейских протоколах и на газетных страницах тех лет не найдешь цифр, указывающих рост баскетболистов. Представьте себе, что свердловчанин Иван Павлуш-

нев, рост которого был равен 187 сантиметрам, носил прозвище «Полтора Ивана». И когда в алмаатинском СКИФе объявился юный Увайс Ахтаев ростом в 233 сантиметра, это вызвало в баскетбольных кругах изрядный переполох.

Тренеры других команд принялись изобретать различные тактические варианты, суть которых сводилась к тому, чтобы оставлять Ахтаева без мяча, перехватывать все направленные ему партнерами передачи. Но Ахтаев, хотя был медлителен, действовал на площадке технично, изобретательно и сам кого хочешь мог перехитрить. И некоторые соперники алмаатинцев, отчаявшись решить «проблему Ахтаева», пускались на всевозможные ухищрения. Был случай, когда один из защитников уселся на плечи другому, и эта двойная фигура преградила Ахтаеву путь к щиту, в другой раз Ахтаев пожаловался судье, что под щитом его чувствительно колют булавками, он вынужден был, наконец, постоянно поглядывать, чтобы перед очередным матчем не исчезли бесследно его гигантских размеров, сделанные по заказу кеды и чтобы ему не пришлось, как однажды, играть в ботинках с оторванными каблучками...

Спортивная пресса тех лет не жаловала Ахтаева особым вниманием. Так, в «Советском спорте» за сентябрь 1948 года, когда Ахтаев, участвуя в пятнадцатом чемпионате страны, впервые играл в Москве, лишь однажды пахотись упоминание его имени — есть, дескать, у алмаатинцев такой игрок исполнин-

ского роста, на котором и строится вся игра команды. За подобной сдержанностью как бы угадываются скрытый упрек команде: да, правила не ограничивают рост игрока, но всему есть предел...

А в те дни, когда на стадионе «Динамо» играла алма-тинская команда, туда устремлялся людской поток — шли «на Ахтаева». Сохранился любительский снимок: Ахтаев среди несметной толпы зрителей. А фотокорреспондент «Вечерней Москвы» уговорил самого сильного человека тех лет Григория Новака, который был весьма невысокого роста, сфотографироваться на динамовской аллее рядом с человеком самым высоким. Новак, не лишенный чувства юмора, отрежиссировал кадр — влез на скамейку, показывая, что, увы, все равно не дотянуться ему до Ахтаева... А тот был доволен — стоял, улыбался. Так они и красуются на этом историческом снимке.

Рассказывают, что невиданный рост причинял Ахтаеву и немало хлопот: в поездках он не умещался на купейной полке, а в гостиницах — на кроватях (лишь в Ленинграде, в «Европейской», его ждала специально сделанная огромных размеров кровать). На улицах он обычно «вел» за собой толпу и, имея склонность к лицедейству, любил дурачить зевач. Один из друзей Ахтаева вспоминает, что он вырезал из какого-то журнала и постоянно возил с собой снимок некоего англичанина ростом в 273 сантиметра.

Но когда «большой Вася» (и для баскетболистов и для зрителей Увайш был, конечно, Васей, и никем иным) выходил на баскетбольную площадку, зрители не оставались равнодушными, видя, что начинает твориться вокруг него. Как тут не вспомнить Свифта, еще в детстве читая которого каждый из нас был, конечно, за Гулливера и радовался его торжеству над бесчисленными лилипутами. И баскетбольный зритель времен Ахтаева по тем же самым причинам был за новоявленного гулливера.

В 1952 году наши баскетболисты отправились на Олимпийские игры в Хельсинки (Ахтаев не был включен в команду) и проиграли американцам, в команде которых, как оказалось, было полным-полно двухметровых игроков. После этого и начались по всей стране поиски великанов для баскетбола, и в скором времени в Латвии был обнаружен и после долгих уговоров вовлечен в баскетбол двадцатитрехлетний Янис Круминьш, рост которого был равен двум метрам восемнадцати сантиметрам. Но когда Ахтаев и Круминьш начали выходить на площадку друг против друга, баскетбольный зритель быстро увлекся совсем иным сюжетом, уже не схожим со свифтовским. Единоборство двух гулливеров!

А со временем зритель окончательно свыкся, что баскетбол — это игра для самых высоких. Кто-то на площадке, конечно, выше всех, но если он уступает в мастерстве и подвижности тем игрокам, которые в сравнении с ним кажутся людьми среднего роста (все относительно, особенно на телеэкране, в самом же деле эти ребята просто не выше или чуть выше двух метров), то сегодняшний зритель оценивает игру незадачливого гулливера более чем сдержанно. Если уж на то пошло, зритель прежде всего высматривает теперь на площадке самого маленького (таковым был бы сегодня тот самый Иван Павлюшнев — «Полтора Ивана» — со своими 187 сантиметрами) и безудержно радуется каждому его успеху. С подобным «малышом» еще можно себя соизмерить.

Что же касается сегодняшних гулливеров, то, вспоминая злоключения Ахтаева, надо признать, что с одеждой и обувью у них все в порядке (Александр Сизоненко из куйбышевского «Строителя», который сантиметром на десять выше Ахтаева, получил этой весной кеды 57-го размера как престижный подарок от чехословацкого комбината «Сбит»), но посзда и

самолеты на таких людей по-прежнему не рассчитаны, да и в гостиницах им живется вольготнее далеко не всегда. Однако в отличие от Ахтаева они постоянно в центре внимания спортивной прессы.

А не так давно старший тренер сборной страны по баскетболу А. Гомельский дал интервью, в котором посетовал, что на заседании технической комиссии ФИБА (Международной баскетбольной федерации) было внесено предложение об ограничении роста баскетболистов 205 сантиметрами. Он сказал, что такое ограничение «негуманно по отношению к людям, которые никак не повинны, что выросли такими высокими. Именно баскетбол помог им найти свое место в жизни». Без гигантов, по его убеждению, баскетбол будет менее зрелищен, а следовательно, и менее популярен. Эта точка зрения нашла поддержку у представителей США и Югославии, и баскетбольных гулливеров удалось отстоять.

Отметим, что, приводя в этом интервью имена наших выдающихся баскетболистов гигантского роста, Гомельский первым — что справедливо, конечно, — называет Ахтаева...

Вспомним теперь, как десять лет назад крохотная, безрассудно смелая девочка с косичками, яростно стремясь к самоутверждению, произвела в гимнастике настоящий фурор. Ренальд Кныш, тренер Ольги Корбут, высчитывая формулу ее успеха, учел, что «воробышек» будет особенно выигрышно смотреться именно в контрасте с традиционными (и в том числе традиционного роста) гимнастками. И после Мюнхенской Олимпиады Ольга, кстати, уже не комплексовала по поводу своего роста (151 сантиметр!), а, напротив, похвалялась, что она — такая...

Но смотрите, что в последующие годы случилось в гимнастике. В Мюнхене Ольга Корбут была самой маленькой в нашей команде. В Монреале вслед за ней уже стояла Маша Филатова (135 сантиметров). А на Московской Олимпиаде уже все наши девочки, исключая Нелли Ким, были ниже ста пятидесяти сантиметров, а абсолютной чемпионкой стала Елена Давыдова (140 сантиметров). И, наконец, рост Ольги Бичеровой, победившей на последнем чемпионате мира, равен 137 сантиметрам. В одном из своих интервью чемпионка мира призналась, что ее мечта — подрасти, быть такого же роста, как Ольга Корбут.

Увлечет ли зрителя спектакли такой театральной труппы, в которой подберутся актрисы лишь одного амплуа — инженерно?

И вот уже Лариса Латынина выражает публично свою озабоченность чрезмерным омоложением нашей женской гимнастики. Но дело разве только в омоложении? Разве пятнадцатилетняя гимнастка непременно должна быть крохотного роста? Возникает подозрение, что многие тренеры решили, не искушая судьбу, сделать ставку на один из секретов успеха, открытых Ренальдом Кнышем. Не так все просто и однозначно, конечно, но такое подозрение возникает. Однако разве сам Кныш пытался вывести на помост новую Корбут?

Надо думать, что в ближайшем будущем успех — и, возможно, не менее ошеломительный, чем в свое время имела у зрителей Корбут, — обретет та классического роста и сложения гимнастка, которая решительно бросит вызов торжествующим ныне малышкам. И хотя наши маленькие мужественные чемпионки достойны только похвал, но разве справедливо, что они вдруг начали вытеснять с помоста (и гимнастики других стран что-то стали уже слишком миниатюрными) девочек привычного роста?

Если бы автор отличался очень большим или, напротив, очень маленьким ростом, он бы высказал, очевидно, иные соображения. Хотя кто знает...



МИХАИЛ
ДЫМОВ

СЕМЬЯ И ШКОЛА



Рисунки И. Оффенгендена.

Галина Михайловна раскрыла журнал, оглядела притихших третьеклассников и улыбнулась.

— Ну, кто пойдет к доске?

Идти никто не хотел. Галина Михайловна заглянула в журнал.

— Тогда... Тогда... Паранюшкин!.. Пожалуйста!..

Паранюшкин испуганно вскочил и, подхватив дневник, вышел к доске.

— Пожалуйста, Алик, реши домашнюю задачку!

Галина Михайловна полистала дневник, нашла нужную страницу, и тут ее глаза в ужасе округлились. Внизу, на левой стороне, где обычно учителя вписывают замечания хозяину дневника, красивым почерком было выведено:

«Уважаемый товарищ классный руководитель! За последнее время поведение вашего ученика стало отвратительным. Просим принять к нему надлежащие меры! И подпись: «Паранюшкин И. В.».

— Что это?! — неожиданно для себя громко вскрикнула учительница.

Паранюшкин-младший перестал выводить на доске цифры и опустил голову.

— Замечание.

— От кого?

— Отец вкатал, — буркнул мальчик.

— Но это же... Это же... — Галина Михайловна даже встала, однако быстро взяла себя в руки.

— В дневнике только мы имеем право писать! Учителя!

Паранюшкин-младший не возразил.

— Что ты дома натворил? — осторожно спросила Галина Михайловна.

Ответ был стандартным.

— Ничего!

— Как же ничего?! Стал бы отец писать тебе замечание в дневник?

Паранюшкин-младший пожал плечами.

— Придирается он.

— Ну, во-первых, не «он», а «отец»! — нахмурилась учительница. — А во-вторых, не поверю, чтобы просто так, ни за что к тебе придирались!..

— Я гонял во дворе мяч, а он...

— Папа!

— А папа позвал домой! Я не пошел, а он...

— Папа!

— Папа еще четыре раза позвал, но я не слышал!.. Почему всем можно, а мне нет...

Алик умолок. Галина Михайловна укоризненно посмотрела на мальчика и сдержанно сказала:

— Чтоб это было в последний раз! Родители все делают для тебя, а ты огорчаешь их. Садишься!

— Распишитесь, — глухо сказал Алик.

— Что? — не поняла учительница.

— Распишитесь, что читали.

Галина Михайловна в четвертый раз пробежала глазами замечание и неуверенно сказала:

— Зачем же сразу писать в дневник...

— Вот! И я ему говорю! — откликнулся Алик. — А он...

— Папа!

— А папа расшумелся: «Мы с мамой целый день заняты! У нас нет времени следить за тобой! Каждый в жизни делает свое дело и зарплату за это получает...»

Галина Михайловна поспешила расписаться.

Через три дня Паранюшкин подошел к учительнице, протянул ей дневник и опустил голову. Галина Михайловна прочитала: «Уважаемый товарищ классный руководитель! Ваш ученик обманывает, что забыл дневник в школе, и не дает его по первому же требованию. Дерзит старшим и не реагирует на замечания! Убедительная просьба принять к нему самые строгие меры!» И подпись: «Паранюшкин И. В.» Классная руководительница расстрелянно боскликнула:

— Да что ж это такое?! Опять запись?! Сколько будет он...

— Папа.

— Что папа? — не поняла учительница.

— Не он, а папа! — сказал Алик Паранюшкин.

— Сколько папа будет писать! — закипела учительница. — А ты?! Ты?! Что ты позволяешь себе, Алик?! Ты же меня позоришь! Ты же меня в могилу вгоняешь! Что дома подумают о школе?! Обо мне? Твоя учительница — педагог с десятилетним стажем! Все меня уважают, ценят... Два моих ученика кандидаты наук! А ты...

— Распишитесь.

— Не буду я расписываться! — отрезала учительница.

— Меня не пугают домой!

Галина Михайловна чиркнула подписью и брезгливо вернула дневник.

На другой день классная руководительница, явившись в школу, первым делом разыскала Паранюшкина-младшего и тревожно спросила:

— Как дела дома? Покажи дневник!

Алик радостно бросил:

— Порядок!

Галина Михайловна раскрыла дневник и прочитала: «Уважаемая Галина Михайловна, ваш Алик убрал всю квартиру и вовремя лег спать! Спасибо вам!» И подпись: «Паранюшкин И. В.» Учительница улыбнулась.

— Молодец! Вот можешь, когда захочешь!

Через день Алик сам разыскал Галину Михайловну и торжествующе распахнул перед ней дневник:

— А это видели!

В дневнике стояло: «Уважаемая Галина Михайловна! Ваш Алик самостоятельно уступил в троллейбусе место нестарой женщине. Примите благодарность за умелое воспитание нашего сына!» Учительница нежно посмотрела на сияющего мальчика и ласково сказала:

— Умничка мой!.. Держи на морозе...

А в понедельник Галина Михайловна, подходя к школе, еще издали увидела стоящего на крыльце Алика. Вид мальчика был убитый. Сердце учительницы тревожно екнуло.

— Вас вызывают к нам домой! — буркнул Алик.

Учительница охнула.

— Докатались! — тихо выдохнула она. — Что ты еще натворил?

Паранюшкин виновато сопел.

— Отвечай! — резко потребовала учительница.

— Я... я... — всхлипнул мальчик. — Я случайно разбил мячом окно на кухне!

Галина Михайловна долго беспомощно смотрела на плачущего мальчика, затем тяжело вздохнула:

— Горе ты мое!.. Скажи своим, что вечером буду! — Учительница быстро вошла в школу.

От Паранюшкиных возвращалась Галина Михайловна, когда уже стемнело. Она медленно брела по улице и думала: как тяжело все-таки с детьми. А если у тебя их сорок! Всех спроси, объясни, воспитай, педсоветы, планы, собрания... А тут еще за стекло десятку пришлось уплатить.

г. Рига.

ВЛАДИМИР
ГРЕЧАНИНОВ

ОРИГИНАЛ



Рисунок
И. Наризного.

Саше четырнадцать лет, он коротко подстрижен и учится в школе без всякого уклона. С самого раннего детства Саша не занимался ни музыкой, ни фигурным катанием, ни теннисом, ни верховой ездой. А потом, когда подросток, он так и не увлекся йогой, японским языком, фехтованием, каратэ, вырезанием по дереву, слайдами и породистыми собаками. Кроме того, его не интересуют джинсы, игра на гитаре, группа «Бони М», видеомагнитофон и мотоцикл. В шесть лет его не водили на киностудию Горького, а в восемь — в школу балетного и современного танца. Саша любит кинофильм «Неуловимые мстители» и никогда не видел фильмов режиссера М. Антониони. И не очень хочет их увидеть.

Правда, Саша неплохо учится, бегает на лыжах, любит «Хижину дяди Тома», бассейн. Но ни учителя, ни тренеры не обещают ему блестящего будущего.

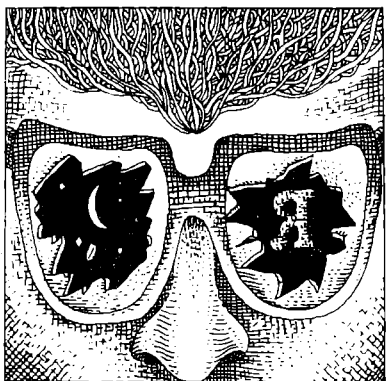
— Он гений, — говорит мама, — он будет великим человеком. Все великие люди были самыми обычными детьми.

— Да, — соглашается отец, — ничего другого ему просто не остается.

ИННА
ГАМАЗКОВА

ТРИ МИНИАТЮРЫ

Рисунок М. Белова.



1. Очкарик

Один Очкарик разбил очки. Не одно стекло, а сразу оба. И не слегка, а вдребезги. И так он ужасно расстроился, даже совсем позабыл, что наука пока еще не все может. Вылетело это у него из головы. Представьте, хватает он прибор, что в углу стоял, с кнопками и ручками, и давай его чинить! Починил и говорит: «Принимайте прибор, у его наладил, можете теперь на нем работать». А ему отвечают: «Сразу видно, что у тебя диоптрий не хватает. Этот прибор починить невозможно, поэтому мы его уже давно списали и под вьющиеся растения приспособили. Не надо,— говорят ему,— не трогай ты оборудования, того гляди все перечинишь». Он тогда еще больше запереживал, сел и стал задачку решать. Полдня с ней мыкался, но все-таки решил и начальству понес показывать.

«Здрасьте,— говорит,— а я задачку решил!» «Зачем же,— отвечает начальство,— ты ее решал, если она в разделе неразрешимых приводится? Глядеть надо! Это если каждый начнет в рабочее время неразрешимые задачки решать, что будет? Ты, если такой умный, давай-ка лучше садись, перепечатай отчет квартальный, ну там запятые расставь, в общем, действуй!» Ну тут Очкарик совсем задержался. И до того дошел, что из отчета поэму сделал лирическую. Все так и упали. А тут как раз товарищ один приехал из вышестоящей организации и случайно зашел. «Нечего,— говорит,— смеяться, если у человека беда. А вы,— говорит он Очкарику,— от таких нечутких сотрудников к нам переходите, мы вам поможем и сумеем использовать вашу энергию в мирных целях». Видите, как дело-то обернулось? Этот самый товарищ с тех пор, говорят, ездит на «Жигулях» с воздушной подушкой. На даче у него солнечная батарея установлена, а в сервант заглянешь — там летающие блюда стопочкой сложены. Теперь Очкарик собирается на озеро Лох-Несс. Он хочет чудовище, то есть Несси эту, выловить, измерить ее от головы до хвоста при помощи Бермудского треугольника и потом выпустить, пусть плавает животное. И он своего добьется, вот увидите.

Если только стекла новые в очки не вставит.

2. Не такая

Замуж я не хочу — душа у меня слишком нежная, ранимая, трепетная. Я из-за этого не то что в законный брак — встречаться-то ни с кем не хотела. Повстречаешься, полюбишь — у меня это недолго, душа такая, доверчивая... А он — хлоп! — на другой женился! Сколько угодно примеров. И что мне тогда останется, пойти и утопиться?.. А детей я боюсь. То есть я их люблю, но боюсь. Мать, ребенок — это возвышенно, это прекрасно! Пятнадцать лет жизни отдашь, недоешь, недоспишь... А на шестнадцатом выясняется, что ты старая курица, ничего не понимаешь в жизни и вообще — вы разные люди. Почитайте газеты, фильмы посмотрите, теперешние дети все такие. Да и подруг я не завожу. Сегодня она подруга, а завтра — змея подколодная! Ей бы только нащупать твое самое больное место и как раз по нему ударить. Ей удовольствие, а у меня в душе рана на всю жизнь. Нет уж!

Живу я спокойно, обыкновенно, без неприятностей. Книги читаю, телевизор смотрю... Вечером обязательно гуляю. Каждый вечер — поводок в руки и на улицу. Но собаки у меня тоже нет. Опасно иметь собаку. Я к ней всей душой привяжусь, а она возьмет и сдохнет! И что тогда со мной будет?.. Я решила лучше поводок приобрести. Зачем? При помощи поводка я гуляю. Воздухом же дышать нужно. Одной гулять вроде бы неудобно, а так хожу с поводком в руках и время от времени покрикиваю: «Джуля! Джуленька! Ко мне!» Минут сорок перед сном. Назавтра жить снова можно.

3. Пятый

Первый директор был по натуре зодчий. При нем вокруг учреждения воздвигли каменную стену.

А мы перелезли — и в ателье! Второй в душе был моряк. Он приказал выкопать широкий ров и наполнить его водой.

А мы переплыли — и в парикмахерскую!

Третьему часто снилось родное село. Он распорядился смонтировать ограду типа «электропастух».

А мы перемонтировали — и в магазин!

Четвертый нежно любил животных. Он завел огромных, злых володав.

А мы их перевоспитали — и в кино!

И тут пришел пятый. Он пришел с полными карманами семечек.

Теперь вот сидим, грызем. Час грызем, два грызем, никуда не идем. Семечки оказались не простые, жареные! Грызем и считаем, грызем и пишем, грызем и сводки составляем, грызем и квартальный отчет делаем. Почему не поработать, если все равно сидим. Смотрим — вот это да, рабочий день кончился! А на будущее нам директор обещал орешков принести. Нравится нам этот пятый. Кандидат наук, а людей понимает. Говорят, он раньше в Уголке Дурова работал.

В НОМЕРЕ:



Проза

Сергей ЕСИН. Воспоминания об августе. Повесть	14
Владислав ТИТОВ. Проходчики. Роман. Начало	37
Семен БАБАЕВСКИЙ. Песня. Повесть	63



Поэзия

Стасис ЙОНАУСКАС	11
Вийви ЛУЙК	12
Инара РОЯ	13
Олег ДМИТРИЕВ	35
Борис НОВОСЕЛЬЦЕВ	60
Мargarита КИРИЛЛОВА	61
Василий КАЗАНЦЕВ	62
Евгений ВИНУКОВ	84
Юрий РЯШЕНЦЕВ	85
Петр ВЕГИН	87
Александр ТКАЧЕНКО	88



Публицистика

Юрий БОНДАРЕВ. Дорожите каждым днем своего земного срока...	2
Виктор ВЕРСТАКОВ. Без отметки на календаре	92
Николай ЧЕРКАШИН. Белые манжеты	97
Скбирские каникулы	102



Критика

Давид КУГУЛЬТИНОВ. Союз сердец и судеб	79
Александр БАСМАНОВ. Россию он любил безмерно	81
Натан ЗЛОТНИКОВ. Берег песен	89
Алексей ПАРЩИКОВ. Звездопад над садом	90
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Право на воспоминания	91



Наука и техника

Евгений РОМАНЦЕВ. Дитя атомного века	103
--------------------------------------	-----



Спорт

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Игры, в которых ты не участвуешь	107
---	-----



«Зеленый портфель»

Михаил ДЫМОВ. Семья и школа	109
Владимир ГРЕЧАНИНОВ. Оригинал	110
Инна ГАМАЗКОВА. Три миниатюры	111

Макет

Л. К. Зябкиной.

Главный художник

Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор

О. С. Кокин.

Технический редактор

А. В. Сальников.

Телефоны:

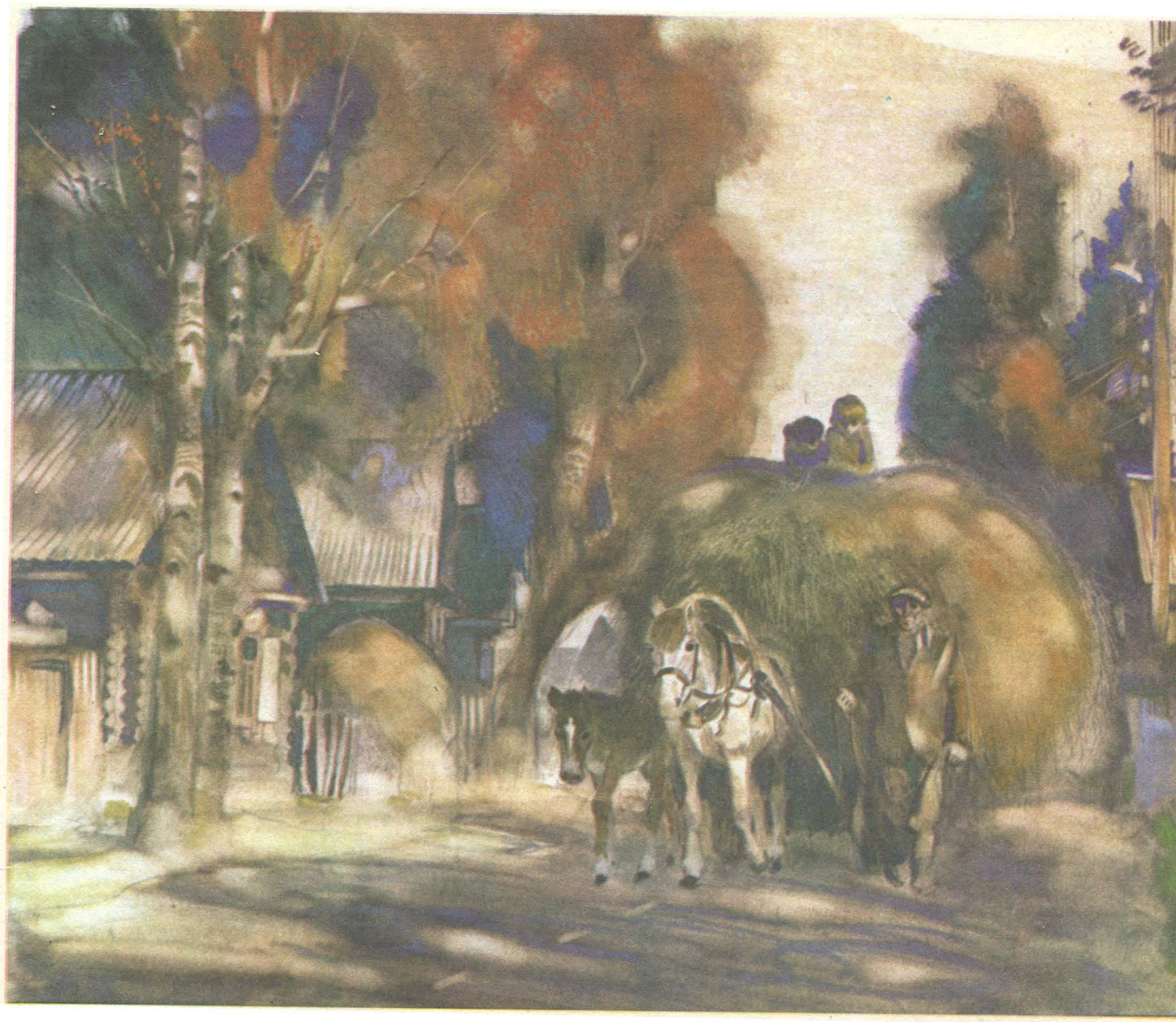
Главная редакция — 251-31-22
 Отдел прозы — 251-59-44
 Отдел поэзии — 251-44-35
 Отдел публицистики — 251-02-30
 Отдел критики — 251-96-76
 Отдел науки и техники — 251-27-57
 Отдел рукописей — 251-74-60
 Отдел писем — 251-14-21
 Отдел культуры — 251-48-65
 Отдел сатиры — 251-05-06
 Отдел оформления — 251-73-83

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства «Правда» по адресу: 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24, отдел технического контроля, тел. 257-42-09.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 11.06.82.
 Подп. к печ. 23.07.82.
 А. 09155
 Формат 84 × 108¹/₁₆.
 Высокая печать.
 Усл. печ. л. 12,18.
 Учетно-изд. л. 17,60.
 Тираж 3 150 000 экз.
 Изд. № 2008.
 Заказ № 2686.

Ордена Ленина
 и ордена Октябрьской
 Революции
 типография газеты «Правда»
 имени В. И. Ленина,
 125865, Москва, А-137, ГСП,
 ул. «Правды», 24.



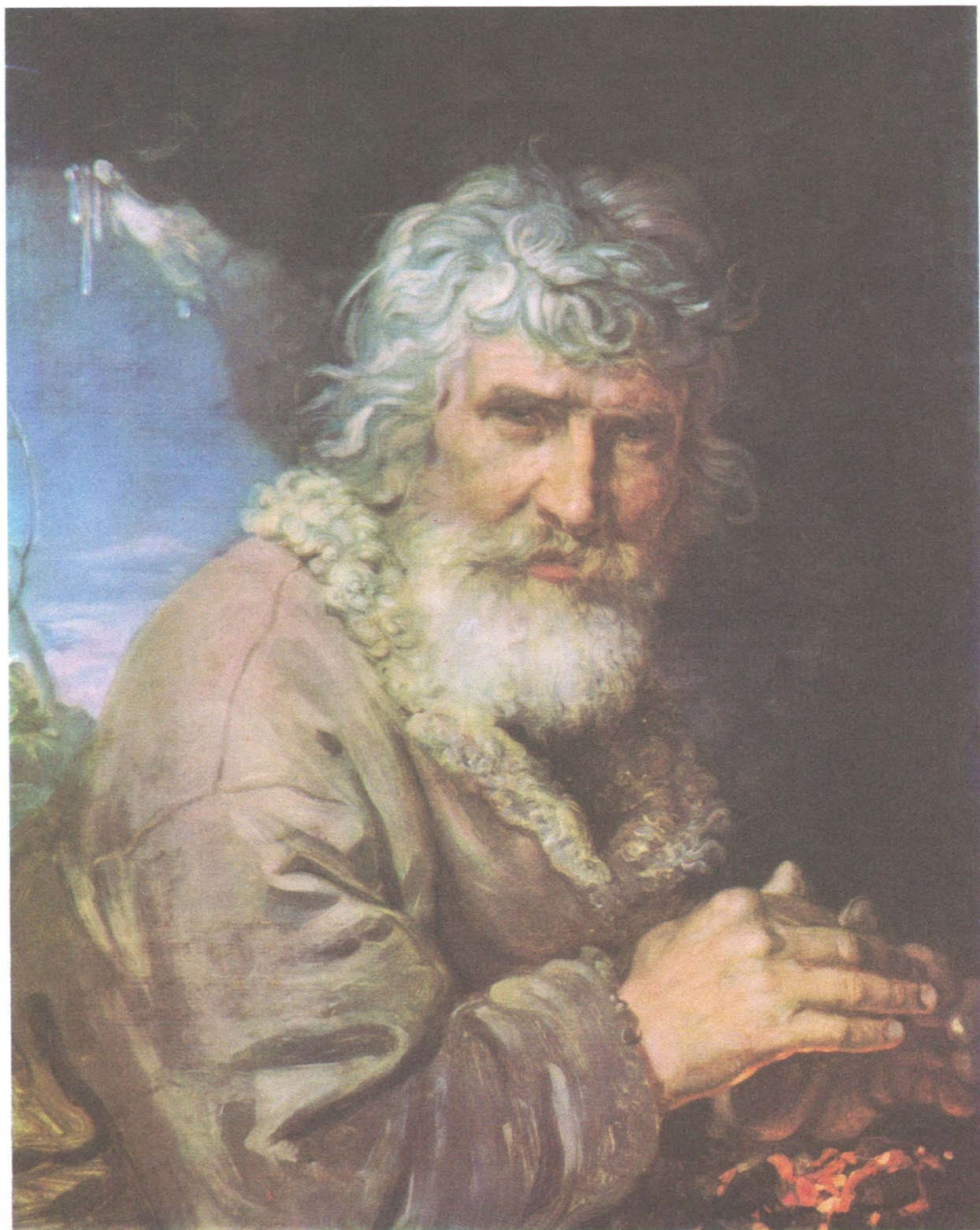
Е. КОЖЕВНИКОВ.

Теплый вечер (акварель).
Фрагмент.



Портрет Г. Р. Державина. 1795.

**Из произведений художника Владимира Лукича БОРОВИКОВСКОГО.
1757—1825.**



Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего руки у огня. 1806.



Портрет М. И. Лопухиной. 1797.



Портрет крестьянки Христины. 1795.

ЮНОСТЬ 8

Индекс
71120

Цена 70 коп.